

Енисей

№ 1
2017



Красноярский литературно-художественный
и краеведческий альманах



Енисей

№1 * Красноярский литературно-художественный
2017 * и краеведческий альманах

Михаил ТАРКОВСКИЙ главный редактор

заместители
главного редактора:

Александр Ёлтышев по прозе

Сергей Кузнечихин по поэзии

Владимир Замышляев по публицистике и литературоведению

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Александр АСТРАХАНЦЕВ прозаик, член Союза
российских писателей

Леонид БЕРДНИКОВ краевед, председатель
историко-патриотического
общества «Краевед»

Иван БУЛАВА прозаик, первый секретарь
Сибирского представительства
Союза писателей России и Белоруссии

Иван КЛИНОВОЙ поэт, член Союза российских писателей

Марина МОСКАЛЮК доктор искусствоведения, профессор,
ректор ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный институт искусств»

Михаил СЕВЕРЬЯНОВ заведующий кафедрой отечественной
истории Гуманитарного института
ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет»,
доктор исторических наук, профессор

* Красноярск
ИД «Класс Плюс»

ББК 84 (2 Рус = Рос)

Е 63

Альманах выходит благодаря
финансовой поддержке министерства
культуры Красноярского края.

Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов.

В оформлении обложки
использован фрагмент картины
Александра Клюева «Деревня».

Адрес редакции:
г. Красноярск, пр. Мира, д. 3,
Дом искусств

Вёрстка: Олег Наумов
Корректор: Андрей Леонтьев

Подписано в печать: 20.06.2017
Тираж: 500 экз.
Формат: 70 × 100 / 16
Объём: 16,9 + 0,33 вкл. усл. печ. л.

Изготовлено в ИД «Класс Плюс»
г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 65
(строение 23) | т. (391) 2-59-59-60
e-mail: info@kacc.ru

ISBN 978-5-905791-60-4

Содержание

ПРОЗА

Сергей Смирнов

А помнишь, Серёга? 5

Мария Шурыгина

Стихи для лешего 19

Анатолий Янжула

Помочь 27

Анастасия Горобец

Морж, лаптевский подвид 50

Александр Новосельцев

Частота шестнадцать-семьдесят 52

Евгения Зуева

Лоскутки 60

Юрий Костров

Рассказы 65

Мария Ионина

«Купи слона!» 71

Альбина Мамаева

Рассказы 81

ПОЭЗИЯ

- Николай Вдовин 98
Ольга Гуляева 111
Рустам Карапетьян 118
Дарья Лысенко 123
Виталий Овчаренко 126
Екатерина Малиновская 130
Вячеслав Тюрин 133

ПУБЛИЦИСТИКА

- Андрей Антипин
Две реки. Две судьбы 138

ВОСПОМИНАНИЯ

- Анатолий Байбородин
Поле брани Виктора Астафьева 157
Валентин Курбатов
Жизнь назад 192
Авторы 203

ВЫСТАВКА

- Сказание о Красноярском крае 208

Сергей Смирнов

А помнишь, Серёга?

— Подожди, не пой... я вспоминать буду...

КОЛЫМСКИЙ ЗАКОН

Всё, что стоит на столе, принадлежит сидящим за столом.

Можно налить сколько хочешь и выпить в одиночку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

у колымского закона есть производные.

Поехали мы с тобой к Сане Скотникову, он тогда живой был, мудрый, свёклу и капусту на колымских кочках выращивал. Две жены у него было — Скотникова Татьяна, красавица юкагирка, и казачка Людмила. По весне на кривом «Буране» приехали в гости, печка тёплая, а Сани нет в зимней избе.

Он для себя своё примитивно-охотничье обустроил, а для козы, гусей возил кирпич в этакую даль, печку для них поставил. Дух в избе был животный, чистый.

Приехали, а Сани нет, в Анюйск уехал.

Сковородка полна ножек ондатровых. Сладкие они, вкусные. Ты, Серёжа, после «Бурана» и мороза устал, осоловел, спирт мы с тобой по дороге выпили.

А у Сашки, простой души, всё на виду. Вьетнамская водка тогда на Колыме ходила, по сухому закону. Эх, взяли из ящика полупустого бутылочку — колымский закон.

А как он даётся?

Переспали, ондатры наелись... Утром — как вертолёт гудит.

Ох, Колыма ты моя, Колыма, не даёт пропасть. Едет Скотников с друзьями и гостями, а тут мы, прихлебатели пустые...

Обнялись, поцеловались. Саня из Анюйска ещё привёз.

— Серый, как про бутылку сказать?

— А не говори, он не заметит.

Через полгода я Сашкиной Людмиле дарю огранённый сердолик, камень счастья. Она: это ж дорого. Дорого, когда от души с одной и с другой стороны.

Я про колымский закон думаю, а Саня молчит.

— Люда, вы ж уезжаете, возьми...

— Нет,— говорит,— лучше б вон те серёжки.

А серёжки — из рекламного набора, жалко отдавать.

Посмотрел на Скотникова, а он так влюблённо на Люсю свою смотрит — и что в ней такого нашёл? А серёжки те и правда к лицу ей. Мусолил, мусолил, так и не отдал серёжки. Пожалел.

Разошлись они с Сашей, посконно русским, саратовским мужиком. Она, казачка, с тем камнем счастья и уехала. Может, выбросила, а Саня потом помер в своей зимней избе.

Татьяна Скотникова мне малахай юкагирский подарила, когда я с Колымы уезжал. Его потом дура-баба чужая на кусочки порезала.

Вот так, Серёга...

КАК УМИРАЛ АСПИРИН

Весна на Колыме никогда не бывает ранней. Ждут её, ждут, а приходит она когда захочет. Ещё с осени лёд на Пантелеихе гладкий, можно сквозь лёд смотреть, но не увидишь, что там, в глубине. Синь и глубина.

А той весной Аспирин, отслужив свою собачью работу и биографию, лежал на проталинах. Первострелы голубые, потом синие пёрли из отмякшего грунта. Лапы у него болели, выкручивало суставы натруженные. Скулил. А на солнце весеннем и полегче. Сколько ж нарт перетаскал, кто ему упряжь надевал, не помнилось. Ну, может, был человек один, так давно его уже не видно. А суставы... да не суставы, лапы болят, ломит их, как у живого. Аспирин на Серёгу поглядел: пойду, слушай, на лёд схожу, весна же. Хрен с ним, что лапы болят, лёд же! Хромает Аспир, а сам думает: вот сейчас весеннею весною подойду к майнам, где чебака ловят. Полежу, посмотрю, как они, нынешние собачата, своим служат.

А Серёга сверху смотрел, с бугра, как Аспирин умирать будет. Время пришло, Аспир и сам это понимал. Откуда знал? Да не знал — чувствовал.

Колыма — простор широкий. Что их, лихих дураков, занесло туда, на Пантелеиху? Два раза крючок дёрнули, на забаву, как там дробь выскочит.

Аспиру хорошо стало, не болят лапы, в щенка молодого превратился.

По весне запах крови — как человеку с лимоном: морду корёжит. Истома весенняя — возвращаться нужно, пьяному.

Серёга только что и успел в глаза Аспирину посмотреть.

Тут Аспир и заплакал.

Чо им дома-то не сиделось?

ЛЮБОМИР

Откуда такое имя на Колыме? Так его все и звали: Люба. Любо, братцы, любо...

Один глаз у Любы был стеклянный. Стрелял Люба целко. Сохатого так сохатого. Подошёл обдирать, а лось рогами дёрнул — и Любомуру в глаз. Потому и стекляшка.

Жена Любина спилась и по морозу сгинула, замёрзла.

А Люба любил её, избу такую построил, что любо-дорого глядеть. На втором этаже — теплица. Колымский мороз отступает. Там огурцы можно выращивать, опылять только нужно пальцами, мухи нет.

Как жена замёрзла, Люба пить начал и сам бы замёрз, когда изба сгорела. Кореша за шкурками приехали и нашли его полутрупом.

Люба однолюб был. Другую избу построил. Но без теплицы, не нужна она уже была. Приговаривал: якут траву не ест. Блин, неуёмный какой-то.

И эта сгорела.

Кореша его в посёлок свезли, а он: везите обратно.

Когда в 1991 году мы с тобой, Серёга, приехали к Любе на тоню, у него «Казанка» с булями две тонны ряпушки приняла, благо на берегу стояла, но прокисла свеженина, потому что тёплая осень была, а совхозный катер не успевал улов собирать. Хотя что ж, на приваду ж тоже надо, тогда Люба ещё живой был, промышлял. И глаз стеклянный ему не мешал. Кстати, глаз был правый, прицельный.

А Любомир и с левого валил как хотел.

Что мужику баба? Что он, сам себе и ей еды не припасёт, не наготовит? А вот замёрз, пошёл за ней тихой смертью.

ШКВАЛ

Вот поехали мы как-то с женой в июле в деревню Пантелеиха. Жара была на Колыме, как в Сочи. Я письмо от отца получил, думаю, по дороге почитаю.

Лодка «Сарепта» ничего не боится. Борт озёрного класса, шестьдесят пять сантиметров, винт пластмассовый, с регулируемым шагом. Жена в сарафанчике с бретельками, на восьмом месяце. По Пантелеихе вверх всего-то двадцать пять кэмэ. Там искупались, сетку проверили, «пятиминутку» муксунячью заделали, так хотелось. А в жаре синие тучи появились. Затихло всё.

Отец писал, что всё хорошо у них, огород сажают и поливают. Ты-то, сын, как там, на Колыме?

Едем обратно, я в майке.

Морок кругом; кто на Севере бывал, тот знает: ненастье будет.

Пантелеиха перед выходом в Колыму делает резкий поворот влево, перед сопкой.

И тут — с чего бы? — у Вовы Калиничева шпонки срезает на «Вихре».

Кричит:

— У тебя бронзовые есть, чтобы гвоздь не рубить?

— Да, — кричу, — есть.

Шпонки отдал, а сам на середину Пантелеихи, чтоб мухи не заели, жена ж в бретельках. Кружу.

Тишина-то тревожная. У Любашки глаза... Похолодало. Майку с себя снял — и на неё.

А впереди сопка, река поворачивает влево к Колыме. Над сопкой пыль уже завевается.

И ветер в харю, река вздулась, пришлось рядом с берегом идти, в двух метрах.

Кричу:

— Любашка, ложись поперёк лодки, не вдоль!

Восьмой месяц же.

Хотя какая, к чёрту, разница? Лодка уже как лошадь скачет. А у берега... сети, мать их! Пошёл на середину, прямо на стоячие валы, в глазах — темень. Не растрясти бы младенца.

Ветер навстречу страшный, холодный, обвалом. Повернули к Колыме, Вова сзади...

Снег пошёл.

У Вовы в лодке бабушка-тёща сидела, так она уже в пальто, а нам и надеть нечего.

Пристали к тебе, Серёга. Бабушка скорую вызвала, «уазик», она там работала. Всё на берегу бросили...

Вот так, Александра, ты почти и родилась.

Колыма за те двадцать минут, пока шпонки меняли, вскипела.

И четырёх человек в себя приняла. Не подавилась.

Мы никогда не знаем, Сашулька, почему мы живём.

А в ноябре того 1993 года, на праздники, случилась авария в котельной, и батареи стали остывать очень быстро, мороз уже под сорок. Только свет был в лампочках.

Тебе, Сашуля, и двух месяцев не было. Любашка тебя к себе прижала, я вас двумя одеялами накрыл. Сам свитер надел водолазный, непробиваемый. В окно смотрю, а лампочка горит жёлтой спиралькой, потому что все обогреватели включили. Достая теплоизоляцию газопроводную, это дядя Лёша мне подарил. Ещё хуже, спираль вообще тухнет.

Тут ты звонишь, Серёга Давыдов с Пантелеихи, между нами четыре километра. Трамваев и электричек на Колыме не бывает.

Не, говорю, подождём. Ждали часов двенадцать. Я, что ли, не мужик, не могу семью обогреть?

Ты же, Серёга, не выдержал, авто к подъезду. Коляску в багажник, Сашульку в одеяло, носик красненький. А у Серёги с Аней печка кирпичная, отдали они нам свою широченную кровать... А тепло такое, мягкое... Девочку колымскую поближе к красным кирпичам.

Как же ты, Сашулька, этого не помнишь, улусная девка?

А ведь Колыма отнять тебя у нас с Любашкой хотела...

КРАСИВАЯ ИСТОРИЯ

Перевод английской речи — вольный.

Ты, Серёга, не был ещё в те времена профессором, знатоком парниковых газов, только подбирался к теме. Не было ещё твоих публикаций

в «Science». Ходил в таких штанах с начёсом, философствовал, жил вообще в бочке, как Диоген.

Границы наши северные несуществующие тогда открылись. Иностранные учёные, японцы и американцы, сразу к нам хлынули, те, кто хотел понять наш Север как источник парниковых газов для всей планеты и узнать, что мы за люди, что нас там, на северах, припекает.

Тогда всё человечество боялось озоновых дыр, хотели даже спреи на основе фреона запретить.

Кто-то и приборы стал привозить, оборудование для мониторинга, а кто-то с видеокамерой, чтоб запечатлеть наши серые героические будни... А мы все велись на иностранщину. Серёга Тяжов отдал одному из голливудских кухлянку новую просто так, а тот: нет, ты мне дай потёртую, с пролысынами от ремня ружейного и колымской моли... Ну, на, из старого сарая.

— Good! — и видик за этакое старьё.

Уклад наш колымский, туземный, и закон не понимали. А мы думали: во, жизнь какая наступила! Нам бы, главное, по видуку отхватить. Тоже кое-что забывать стали... про производные колымского закона.

Еду было за пятьдесят, привёз с собой кучу блестящих ящиков, настоящее голливудское кино, по-взрослому, «без трусов». Сто седых косичек, чёрная кожа и умные глаза.

Ты мне, Серёга, звонишь: приезжай на Пантелеиху, как с этим чёрным говорить, не понимаю ничего. А Эд — негр, и косички у него седые, и в Штатах уважаемый человек.

Приехал, конечно. Ты чай наливаешь колымский, в двух банках варенье, клоповник и лимонник. От лимонника сердце сразу к горлу, выпрыгивает. А клоповник успокаивает, истомляет, не даёт бежать куда глаза смотрят.

Живём полчаса как на качелях: то вверх, то вниз. Кружка чая то с клоповником, то с лимонником.

Эд с косичками говорит: я из Лос-Анжелеса, из города ангелов. С самого Голливуда. Прилетел снимать дикую колымскую природу.

И рассказывает вдруг историю, а она у него, у Эдика, как американская мечта. Красивая.

— Заработал денег, — Эд говорит.

Мы с тобой, Серый, смотрим на него и думаем: а у нас-то и ума палата, и без мяса не сидим, а денег заработать не можем.

И решил вот Эдик на эти деньги дом себе купить. Поехал в пригород города ангелов, там дешевле...

— А что поехал-то, что квартиру не купил? — ты у меня спрашиваешь, чтоб я ему перевёл.

— А-а, мы, американцы, очень ценим недвижимость, если она у нас есть. А мне, — Эд говорит, — захотелось как раз такого, как у тебя, Серж: в бочке пожить, философию жизненную почувствовать. А то у нас одни деньги на уме.

Ладно. Эдик до того на клоповник налегал, а тут лимонника хватанул — и понеслось.

— Красное дерево, секвойя, у вас на Колыме не растёт. А его даже древесный жучок не ест. В девятнадцатом веке пол-Америки бы жучки съели, если б не секвойя. Нахожу место, где все дома из красного дерева, старые, по сто пятьдесят лет. Хочу купить, а соседи у виска крутят: охренел, старьё брать, всё белой краской покрашено, — это у нас, американцев, основное — внешний вид. Смотрел-смотрел — и потихоньку всё лишнее убрал и увидел, каким построили его хозяева, и купил. Мы с женой краску ободрали, а под ней и красное дерево, и изразцы на печке (он сказал: на камине), и витражи. И у хозяина всей этой махалí, квартала, стали американцы покупать другие дома и так же очищать от лишнего.

— И вам сразу подняли плату за воду, электричество, газ, — это я уже порадовался за капиталистов.

Эд на меня вытаращился:

— Почему подняли? Наоборот, тэксиз нам снизили. За то, что мы дали хозяину дополнительный доход, он с нами поделился.

Тут мы с тобой, Серёга, на него вытаращились: у нас в России такого не бывает.

А я сижу и думаю, чем же Эду отомстить. И придумал, примеры же на каждом шагу:

— Послушай, Эд, как у нас всё устроено. Смотри, говорю всего одну фразу, и ты всё поймёшь. На реке встречаются две баржи, гружённые песком, одна идёт вверх по течению, другая вниз.

Эд опять вытаращился, не понимает. Я повторил, но он не засмеялся. Наверно, не поверил.

Наша-то история покрасивей будет. Вот как мы с тобой американцев уели, а?

ДВА ПАТРОНА

Честные мы были геологи и упёртые. Уже геологии-то самой не было, а мы всё сопли морозили, не хотели северá покидать, за горизонт рвались. Кто в грузчиках, кто в бичах, азарт и фарт водкой заливали.

Я к тебе, Серёга, пришёл, десять отгулов в «Колымторге» заработал.

— Дай «Буран» до Гальгаваама доехать, всего-то пятьсот вёрст.

Ты говоришь:

— Охренел, что ли, в одиночку ехать, да на казённом аппарате? А если что?

— Поехали тогда вместе, меня Москва попросила газовую съёмку сейчас по апрелю сделать.

...Через день укатил я со Стасом, прикомандированным москвичом. Здоровенный мужик был, мосластый, гириями качался, у тебя все дрова, листьягу, за сутки переколот, секса гигант.

Но на северах первый раз. А ты ехать не захотел. Вот и пришлось мне дрожь в коленках унять, Стаса на задник нарты усадить и двинуть в белое безмолвие.

Любашка на меня смотрела... блин, как в последний раз. Но молчала, знала, что отговаривать бесполезно, жена ж геолога.

А мне тридцать семь — возраст самоубийц. Стасу пятьдесят, но тоже, смотрю, безбашенный. Куда с добром?

Через полтора суток мы уже на берегу Колымского залива были, прошли Чаячьей протокой. Полсотни проб снега взяли. Днём тепло, солнечно, «Буран» греется. Я ему, бедняге, снега на цилиндры накидаю, он пыхтит, шипит, плюётся. А сам в сумерках еле сапоги заледенелые от носков отодрал, валенки надел. В унтах на Колыме только фраера ездят.

Холостым ходом до устья Большой Чукочьей часа три, через залив. Едем, на застругах прыгаем. Стас сзади в нарте, в пыли снежной, как грузчик в муке, за растяжки грузовые держится, терпит, зубы сжал, молчит, как олень. И пар изо рта не пускает.

Посредине залива антенну раскинул и в рацию:

— Здорово, Гвоздь! Что у вас на ужин?

Там на льду топографы стояли, промерщики, на будущую навигацию работали, там меляки везде, осушки.

Коля Гвоздѣв пробубнил из тепла:

— Я тебе, шальный, ведро с солярой зажгу. На него от Чукочьей и езжай. Там всего двенадцать километров. Смотри мимо не проскочи.

А в заливе темно, хоть и звёзды светят, и сияние зелёное.

Стас в куржаке, на полусогнутых:

— Давай ружьё соберём.

— Зачем?

— Знаешь, вдруг я по дороге выпаду?.. А тут, сам же говорил, медведи белые роятся, в оврагах...

А я думаю: если с нарты свалится, ружьё точно сломает, тогда мы даже застрелиться не сможем.

— Ружьё,— говорю,— Стас, в чехле на шею повесь. Вот тебе два патрона, пулю в нижний ствол, а картечь в верхний. Если с первого выстрела не завалишь, картечью застрелишься.

Постоял мужик, подумал, патроны в карман положил, ружьё на шею и сел на нарту.

Послушный, мышцой не играл. Понял, во что попал.

С устья Большой Чукочьей хорошо огонь виден, и рядом как будто, а в залив не могу уйти, торосы вдоль припайной трещины с двухэтажный дом. Свет от фары по ним скользит, и про медведей не думается, тут стена непреодолимая, это хуже.

А шестнадцать часов за «Бураном»? Рукавица к «газульке» примерзла, я уже ладонью на неё давлю из последних сил.

Что вот, углеводородов, нефти и газа у нас в СССР не хватает, чтоб так мучиться? Не могу же ледяные эти горы перелететь, и «Буран»

казённый, Серёга, погубить. Хороший ослик-то, тяговитый и ест мало. Такого редко встретишь.

Прыгнул я, полуживой уже, с заструга, он твёрдый, не хуже льда, лыжа хлопнула — испугался, не сломалась бы,— и ослик наш умолк. — Ночуем, Стас.

— Где? — москвич этот долбаный спрашивает.

Чай варить сил уже нет, не Стас же это будет делать, ещё сторит, это ж не дрова колоть. Кое-как палатку на ящик из-под холодильника набросил, в нём бензин в канистрах, пробы в стеклянных баночках от детского питания, сало, примус, бутылка спирта; удачно заглохли, субширотно,— ветерок с севера тянул низовой.

Ты, Серёга, помог нам тогда, к «Бурану» dóхи дал и штаны из меха зимнего оленя, Татьяна Скотникова их шила. Только маленькие они, блин, юагиры. Мы со Стасом богатыри против них, да ещё если поверх ватных брюк и телогрейки натягивать — совсем коротко получается.

Всё нам, северянам, не так: то рубашка короткая, то хер длинный.

Очнулся я, Серёга,— где? Не могу ничего понять, усы к дохе примёрзли, волосинки оленьи бьются травинками заиндевелыми под неслабым ветерком. Ощущаю морозец, по предположенью, под тридцатник.

Минут десять соображал, пока звук неуместный на льду не услышал. Бляха-муха, это Стас храпит! А эхо в торосах гуляет, заблудилось.

Встаю, качаюсь. Стас с южной стороны лежал, его сразу холодом обдало, он глаза открыл, почмокал, как ребёнок, и захрапел опять, ладошки под щёчку.

Меня потом прошибло: поднимать его надо, он уже туда пошёл, к юагирским праотцам верхним. Пинка ему в зад. А «Буран»-то заведётся на тридцатнике с ветерком? Или паялкой греть придётся? А лыжа как там, пополам?

А соляра гвоздёвская горит, сияет маяк, двенадцать километров до него. Гвоздь не дурак, верхонки старых в ведро накидал, они больше суток гореть будут. Видно, как ветром огонь расплёскивает.

И опять та же мысль: чего дома-то не сиделось?

Стас уже стоит в позе замерзающего, руки к груди, себя, любимого, обнимает. А я вспомнил: он же жениться собирался на двадцатилетней. Как вернусь, говорит, с Колымы, так и женюсь. Не зря он на дровах тренировался. Ну-ну. Вернись попробуй. Сначала вон палатку собери, уложи, брезент каляный затяни и на правильный узел завяжи, чтобы потом ногти не ломать, развязывая. Я тебе не дам фал капроновый резать.

Говорю:

— Бегай вокруг нарты.

Побежал, конечности, как у куклы, болтаются вокруг тела. Гляди, щас отвалятся.

А сам к ослику нашему. Ну, подсос, рывок?

Да, Серёга, не зря мы с тобой столько водки вместе выпили. И колымский закон нас не осудил.

Биноклем прошёлся по горизонту — балок с чёрным дымом! Рядом — трактор! Двух километров, блин, не доехали! А от того балка Гвоздь трактором пúтик через торосы проломил и вешки даже поставил. Это ж не кто-нибудь, а топограф Николай Гвоздév, брат по разуму.

Любашка, жди мужа-геолога, он вернётся, обещаю. У нас же дети...

После гвоздévского борща и жареной оленины — в сон. Мы ж пока эти двенадцать километров проехали, я три раза чуть с «Бурана» не упал. А так туда хотелось, в сладкую смерть.

Так оно бы и состоялось, промедли мы чуть-чуть. Апрель — ветренный мужичок, Пургею свою наслал, она двое суток нас охаживала, лезла, дрянь, во все щели, песни пела — заслушаешься, и то плечиком приложится, то коленкой, а то и грудкой своей колкой холодненькой навалится — не вздохнёшь. Ловко бы она нас прихватила у Большой Чукочьей, залюбила бы насмерть.

Вверх по Чукочьей в десяти километрах изба, конечно, была, да попробуй найди её, занесённую...

Пока дуло да свистело, я, Серёга, «Буранчик» твой посмотрел, пружинки-мружинки, сломанные об колымский лёд, поменял, звёздочки те же беззубые заменил, кулачки поприжал, а то щёлкали они как-то не разом, один за другим. Непорядок это в такой ситуации.

Стасу всё показал:

— Вдруг, Стас, я с «Бурана» упаду, ноги-руки переломая, что делать будешь сам-один?

А до Гальгаваама ещё километров триста пятьдесят, и гаку сорок. Страна же нефти и газу хочет, а мы тут, с москвичами...

Хотя она, страна, в тот момент совсем другого хотела — свободы, демократии. А у нас, у колымчан, всего этого было хоть завались. Колымский закон же действовал, и мы что хотели, то и делали.

...Следующее пристанище мы со Стасом нашли легко, хотя, кроме горного компаса, чтоб направление по нулям держать, ни карты, ни аэрофото не было — бесполезно это, только на удаче. Ехали вдоль берега залива, он кокорами чётко отмечен, они, чёрные коряги, из снега и льда торчат полосой метров в пятьсот, пробы брали, нормально работали.

Стас опять стал медведей бояться. Я одного увидел, так тот оленем оказался и на лёд перед «Бураном» выбежал, поворачивать стал, поскользнулся, бедолага, грохнулся. Стас сразу осмелел, орёт сзади: бей его! Среди москвичей тоже, гляди, азартные попадают.

А я смотрю на телка безрогого, одной рукой за руль, под мышкой ружьё, и стрелять не могу, люблюсь, и жалко мне его, как он оконфузился. А если б волки были? Не пожалели бы.

Стас телесами своими мохнатыми навалился: что, гад, не стрелял?!

Беда с ними, с прикомандированными.

Пришлось объяснить туристу московскому, что «Бурашка» ещё восемьдесят килограммов груза не потянет, а если обдирать — час минимум потеряем. Не мог же я ему прямо сказать, что живое намного красивее, чем мёртвое? Мы же не голодные, и спирт у нас есть, и надо пробы брать, чтоб страна дальше жила, и балочек ещё не нашли.

Где он, а?

Вот когда печку в нём затопили, супцу на сале заварили, спирту по соточке, до Стаса дошло. Вынул из кармана два патрона, что я ему посреди залива дал, положил на изрезанный ножами стол. А я уж забыл про них, про патроны эти...

Глянули мы друг другу в глаза, и смех пробрал, хохочем, нет сил остановиться. Ну, видать, каждый по своему поводу.

— Прости меня, — Стас говорит, — я всё понял. Возвращаю патроны.

...В общем, Гальгаваам нас дождался, оставалось-то до него всего сто пятьдесят вёрст. Работу мы со Стасом завершили, пробы в детских баночках нормально доехали, не побились, Стас их потом с собой в Москву увёз, и аномалии газовые были обнаружены.

Жалко, Стас так и не женился: вернулся с Колымы, а невеста его к московскому парню ушла. Быстрые они тоже, москвичи, но у них другие понятия о геройстве.

Мы со Стасом обратные эти пятьсот километров легко сделали, катились, как с горки. Я только тогда понял, что если на север идёшь, то, как в гору, тяжело идти, с напрягом. Что-то в голове там напрягается, то ли от страха, то ли от полей электрических и магнитных, хрен его знает.

Ты, Серёга, когда меня увидел и «Буран» целёхонький, как бы и муха не сидела, говоришь, этак посмеиваясь:

— А я уж думал, не увижу тебя больше, Серёга.

Бляха-муха, ну ты, Серый, даёшь. Дать бы тебе в глаз.

Но не смог на тебя, Серёга, обидеться, нет... Ты тоже хорошо на язык острый, да и рад был, ясный пень, что я вернулся, пошутить решил, понятно. «Буран» твой прошёл больше тысячи километров по тем местам, что и космонавтам не снились, и, главное, работу сделал, ослик наш, не чихнул, не пёрнул.

И Любашка дождалась, любовь же у нас была и дети общие. Не мог я не вернуться.

И мы с тобой на сутки загудели... Любашка потом неделю со мной не разговаривала.

Скажи, было же и у нас с тобой о чём поговорить?

ПОНЮХ ТАБАКУ

Пришла как-то на Колыму старуха с сумой и говорит нам, безработным геологам:

— С голоду вы, конечно, здесь не померёте, олень кругом бегаёт, рыба плещется, грибы-ягоды; вам бы ещё голову чем-нибудь занять, совсем бы вам цены не было.

А голова — совсем дурная стала, бежать хочется, не даёт ногам покоя, а куда бежать — не знаем. Конечно, куда глаза глядят.

И мы с тобой, Серёга, начали ходить на помойку. Это за Зелёным мысом, мимо страшного озера Восьмёрка, где ещё в двадцатых полковник Пепеляев стрелял латышско-эстонских комиссаров, а в тридцатых уже комиссарские потомки, став конвоирами, мстили за отцов, стреляли врагов народа на плоту, чтоб у раненых надежды не было. Место неприятное, гнилое, туда ещё и фекалии поселковые сливают, зато там вечная мерзлота тает, вода её подгрызает и подъедает, потому и мерзлота называется «едомой». А в едоме полно плейстоценовой фауны, останков животных, травоядных и плотоядных, что жили в совсем недалёкое геологическое время.

Самое простое и дешёвое, точнее, никому не нужное, — это черепа, челюсти, зубы и другие кости гиппарионов, ископаемых лошадей. Потом идут лобные кости, иногда и с роговыми чехлами, быков лонгикорнисов, они, хоть и выглядят эффектно, тоже дешёвка, потому что их было очень много, как и лошадей. Затем мамонтовая фауна, самое дорогое из более-менее доступного — бивни мамонтов. В длину они могут достигать и трёх, и четырёх метров.

И в те времена их только-только начали принимать в обмен на видики и телевизоры.

У нас в посёлке за один такой бивень убили человека. Подвесили за шею. Как будто он от несчастной любви удавился. Никакой фантазии...

А дальше в ряду плейстоценовых ценностей идут всякие там раритеты, пещерные ужасы с гигантскими клыками: медведи, тигры и львы, леопарды даже. Особенно ценится, например, львиная пятка: попробуй-ка найди её в чёрной вонючей жиже, так их и найдено одна или две штуки во всём мире... И то, видимо, случайно.

А те, кто Башмакова повесил, потом у экспедиции Академии наук тушу шерстистого носорога украли, почти свежую. Так её бы и не нашли, если б они её не подбросили на Билибинском тракте, но уже без головы. У носорога второй рог, волосяной, самый ценный. Намного дороже, чем человеческая жизнь...

Ходили-ходили мы с тобой по помойке, нашли пару обломанных бивняков и, на чистом месте, череп какого-то горного козла. Думаем, мало ли, может, колымчане уже своих домашних питомцев есть начали, но взяли череп с собой и показали его Андрюше, главному специалисту по плейстоценовой фауне Крайнего Северо-Востока Евразии.

Андрюша в этот череп вцепился, из рук не выпускает и говорит: — Я его у вас забираю и вам его обратно не отдам!

— Как это не отдашь?

— А вот так! Это череп предка снежного барана, достаточно редкий экземпляр.

— Если редкий, давай нам за него сто долларов, и мы в расчёте.

— Ладно... потом...

Анна Ивановна, твоя жена, над нами посмеялась:

— Эх вы, костоловы. Ничего вы от него не получите.

Ну, раз не получилось с костями, я тогда нанялся «шерпом»-охотником к тому же Андрюше в экспедицию, добывать для них мясо и сопровождать пожилых профессоров в маршрутах на междуречье Колымы и Индигирки, в районе реки Хомус-Юрях.

Межень была большая, Хомус-Юрях сильно обмелел, и мамонтовые бивни, плохой, правда, сохранности, валялись на косах, как причудливо изогнутые брёвна. Понятно, Андрюша такие не брал, занимался только коллекционными.

Забрать с собой в вертолёт я ничего не мог (мы потом, когда улетали, от земли-то еле оторвались), но всё время шарил по дну реки. Это уже мамонтовая лихорадка была.

В завалах бивни определял, проводя по стволам ногой в болотном сапоге, и однажды нашёл тонкий, изящный «женский» бивень. Андрюша опять вцепился в него, как в тот козлиный череп.

— Ты нашёл пару к прошлогоднему бивню! Такое везение бывает очень редко! Это была молодая слониха, — зачем-то добавил он.

Я и так знал, что это была молодая слониха.

За ужином он объявил мне благодарность и подарил три щепотки старого трубочного табаку, уже превратившегося в пыль. К тому же пах он одеколоном.

На следующий год мы с тобой решили сами попытать счастья на Хомус-Юряхе. Так зарядили такие дожди, что все свои богатства Поющая Река упрятала под четырёхметровой толщей стремительно несущейся воды.

Но были, конечно, и другие приключения. Смутно помнится, что мы тащили с тобой километров пять какой-то невероятно тяжёлый бивняк, причём по сырой тундре. Только спина это хорошо помнит.

Куда он делся, я не помню. А ты?

Зато помню, что ты забыл взять из дома ложку и ел вначале крышкой от жестянки, а потом руками. Благо мяса у нас было вдоволь.

Нам повезло, что на фактории «Аграфена» оказался человек, за которым в конце концов прилетел вертолёт. Раненый медведь там ещё бродил, страху нагонял.

От той поездки остался огромный череп ископаемого быка, я нашёл его в озере, он завис на тонких тальниковых веточках и мог сорваться в глубину в любой момент.

Теперь он стоит на каминной полке в твоём с Аней доме.

А Андрюшу мы больше не видели и костей больше не искали.

И вообще, кто его так в детстве обидел, что он начал друзей и товарищей надежды лишать, кидать через понюх табаку?

А с другой стороны, никто нас не просил кости эти собирать, так ведь, Серёг?

ОГНИВО

И чо нас дёрнуло в декабре к Сашке поехать? Спирту опять взяли. Мороз был страшный, рыба в озёрах не ходила. Мы её «Бураном» погоняем, потом сети смотрим. Руки в майну сунешь — тепло. Пять-десять кэмэ, Скотникова опять дома нет, на ловушках, значит. Едем обратно, я уже в нарте задубел.

А уезжали из тепла, «Беломор» гаснет, спички нужно иметь.

Приехали в Парижево, там развалины и гул от недожитого, как будто провода электрические гудят под напряжением. Ты же, Серёга, сам это строил, знаешь всё.

А покурить? Спирту ещё было немного. На морозе, хоть залейся, не берёт. Ты давай тальник ломать.

Лучше б дома остались.

Зажигалка в кармане, в ней сжиженный газ. Рукавицы не сняты уже. А ты всё тальник ломаешь. У тебя это просто. Это ж твоя изба. Вы там детей растили.

Три семьи. Кого-то и нет уже.

Но место хорошее.

— Серёж, я кончаюсь. Дай покурить напоследок.

Вспомнил я тогда историю про двух корешей. На Большой Тонé они жили, на лёднике, рыбу принимали и складировали. Боялись сгореть, поэтому, когда запивали, печку не топили.

— Серёга, спичку дай мне, щас замёрзну. Губы уже не гнутся.

И спали они, когда пили, возле печки. Не, один на печке, другой на дровах. Так теплее.

— Серый, бляха-муха, газ, блин, замёрз.

Ну и стали печку топить, хоть и пили.

— Да нет у меня, Серёга, спичек!

Полыхнула тоня, один в трусах обгорелых — в ночь. Не, не в ночь — в оранжевый сполох.

Вот, думаю, на хрен оно мне нужно было — спички дома забыть? Лоханулся, как негр.

А возле тони посёлок, все на пожар. Да нечем его на северах залить, вода же на девять месяцев замерзает.

А я уж и папиросу достать не могу, портсигар-то пластмассовый, индаптечка оранжевая.

Как бы на печку залезть?

Стоят рыбаки вокруг пожара в лужах. В трусах который — плачет: Колька, мать, три рубля тебе должен... Где ты?

— Серёга, я пойду на печку лягу!

Стоит Ваня и плачет: Ко-о-оля, шарф у тебя такой красивый был...
И, ладно уж, заначка от тебя была. Ты б ни за что не догадался.

Плачет.

Народ шапки снял, чо-то невесело.

Я уже засыпать, замерзать начал. Пока стоя. А ты, Серёга, всё тальник таскаешь к печке.

— Серёга, дай, блин, огня...

Тут Колька босой из огня вышел: я тебе, гад, эту заначку ни за что не прощу!

Серёжа, вот и огонь уже...

И где же ты его взял?

Норильск, июль — август 2016

Мария Шурыгина

Стихи для лешего

Дорогой читатель, перед тобой рассказ, обсуждавшийся на семинаре «Дорогами русской прозы», проходившем в рамках литературного фестиваля «КУБ». Рассказ, который... Да что «который»? Другие авторы альманаха пусть скажут.

«Прочитал. Великолепный рассказ. Чистый, ясный, очень поэтичный, тонкий. По-своему философский, с неожиданностями. И написанный умелой рукой, с чувством слова, ритма и т. д. Женщины сейчас пишут часто лучше мужчин. Вот и я, читая рассказ Марии, понял, что не смогу так».

Андрей Антипин

писатель, Иркутская область

«Талантливо... Радуют наблюдательность и точность передачи деталей. Они даже «довлеют», как прежде говорили. Потенциал автора очень большой, детали наблюдаемых мелочей — почти совершенны. В общем — впечатление как от лоскутного одеяла: каждый лоскуток прекрасен. Безусловно — талантливый автор».

Александр Новосельцев

писатель, Елец

«Понимаю, почему послали мне рассказ. Просто счастье хотелось разделить. Что вот как ни тешься нынешняя словесность (бессловесность!) над словом, а приходит „с улицы“ человек с чистым сердцем, не оглядывающийся на забивших книжные полки „мастеров“, и пишет „как ни в чём не бывало“. И слово, само истомившееся по чистоте, радостно раскрывается и оказывается свежо и молодо, как только родившееся. Вот и у меня день сразу посветлел — „как бы хрустальный, как бы хрустальный...“ И на целый день счастье! Спасибо».

Валентин Курбатов

писатель, критик, публицист, Псков

Пожелаем Марии Шурыгиной новых произведений, а читателям — хорошего вдумчивого чтения.

Михаил Тарковский

Рыжая Калуша исчезла со двора, а Лена и не заметила. Может быть, это случилось ночью, когда хозяйева спускают своих собак с цепи размять лапы, а может, рано утром, когда направление в тумане угадывается только по звуку коровьего ботала. Умчалась ли бестолковая Калуша за симпатичным кобельком или решила податься в пастушьи собаки, было неизвестно, но так или иначе этот несносный комок вычесанной, чисто вымытой шерсти надо было спасать. Без людей в окрестных полях и лесах горожанка Калуша не выживет. Да и как жить без Калуши?

Словом, если бы не собака, Лена за околицу и не вышла бы. И когда выходить? Уезжая на неделю в отпуск в родные Боровки, она тесно распланировала дела: убрать огород, накрутить оставшиеся соленья-варенья, заклеить рамы,— да мало ли занятий в деревне на исходе сентября?

Вот и крутилась-вертелась по двору да в кухне, за ограду носа не казала, даже с соседями, приехав, почти не перемолвилась. Так и прошляпила собаку, а городскому псу от лесных манких запахов долго ли голову потерять?

Утро вы́седило быльё у заборов: стояли серебряными пиками отцветшие в лето дикая редька, чертополох и прочий травяной народец. Казалось, холод поднимался из глубины земли, будто зима дожидалась своего времени не где-то в сказочных ледяных чертогах, а вот там, внизу, под густым слоем грязи и мокрой листвы, а теперь выползала потихоньку, охватывая нижние брёвна домов хрусткой корочкой инея. Лена зябко поёжилась и с сомнением глянула на ноги: сапоги, что ли, надеть? Да далеко она не уйдёт, околица-то вон виднеется... Можно и в калошах сходить, что так по ноге пришлись в домашней да огородной беготне — новые, на малиновой подкладке. Резиново поскрипывая, Лена двинулась на поиски, то и дело посвистывая и окликающая беглянку по имени.

Калуша не откликнулась. Лена нерешительно потопталась у дома Савельича — крайнего по улице, через поле уже и лес виден. Из-за ограды послышались тёплое меканье и копытный перестук. В заборную дырку просунулся козлиный нос, с нитяным треском потянул жухлую траву с улицы — она там всегда вкуснее. «Прогуляюсь... недалеко же», — подумала Лена и зашагала через поле.

Голая, измотанная битвой за урожай земля, словно роженица с развороченным акушерами нутром, ждала снежного забвения. Лена быстро пожалела о своей опрометчивой прогулке к лесу: скакать по застывшим земляным буграм в спадающих калошах — дело непростое. Вот ведь, жизнь прожить — не поле перейти, да и поле перейти — умаешься. С облегчением доскакала до первых осин — как из бурного течения выбралась на ровный да гладкий берег.

«Калуша...» — позвала нерешительно. Странно показалось кричать в этой тишине. Посёлок с его утренней суетливой разноголосицей

отступил перед простотой и ясностью осеннего леса. Деревья стояли застывшие, с напряжённо выпрямленными спинами и вскинутыми к небу руками, словно прислушиваясь к приближению того, что вот-вот должно произойти — большое, жутковатое в своей неизбежности, значительное, с именем коротким и веским — Зима.

Что-то рыжее мелькнуло за деревьями, замельтешило промеж стволов у самой земли. «Калуша! Вот негодница!» — ахнула Лена и бросилась за ней.

Неверный рыжий отблеск то вспыхивал, то гас среди кустов, сливаясь с желтизной листвы. Стараясь не терять его из виду, Лена расталкивала стволы, поднимала руки, будто вброд переходя еловый молодняк, поскользывалась на листвяной подстилке, едва удерживая неуместную, норвящую сбегать обувку. От бега сердце бұхало где-то у горла, лицо заливало жаром до кончиков ушей, лоб же, напротив, почему-то ломило от холода, и студёным воздухом остро обжигало лёгкие. Наконец закололо в подреберье, и Лена, тяжело дыша, остановилась. «Калуша!» — крикнула ещё раз. Тишина в ответ, словно и не было собаки. Да может, и правда не было, померещилось? За кем гналась?

Взмокшая спина быстро остывала, под куртку забирался холодок. Перед глазами перестали прыгать красные пятна, и Лена оглянулась: куда её занесло? Лес как лес. В детстве она, казалось, весь его исходила, и до сих пор, думалось ей, завяжи глаза — выйдет, да ещё и грибов по дороге наберёт. Прикинув, куда её могла завести погоня, Лена прислонилась к старой осине — надо передохнуть да домой отправляться. Может, бестолковая Калуша уже там?

Прикрыла глаза. После напряжённого бега покой медленно входил в неё, кружа пространство за закрытыми веками. Вдохнула глубоко, до мурашек в затылке. Странно, все эти запахи — древесная труха, преющие листья, оседающие от долгих дождей грибы — ведь всё это распад, тление, умирание. Почему же так легко дышится?

Лес погружал её в непривычное задумчивое состояние. Обеспокоенно встряхнувшись, Лена пустилась напрямки, отгоняя нахлынувшую вдруг досаду. Она приучила себя не размышлять особо о жизни, как да что устроено. Живёшь — и живи себе, нечего задумываться, от этого только меланхолия да язва образуются. Она привычно заворачивала себя в дела, закутывала, прятала, жила минутой, рутиной и суетой. Не останавливаться, главное — не останавливаться, чтобы, не дай бог, не впасть в пустые размышления, вроде «вот, могло бы сложиться, а не сложилось»... Но здесь, в прозрачном осеннем лесу, тишина вдруг поймала Лену в силки — не выпутаешься.

Жизнь у неё не задалась, как не задаётся тесто — не поднимается, но и вылить жалко. Видимо, тот, кто замешивает человека, был тогда крепко не в настроении, творил без огонька. Вроде всё как у людей, как положено: муж, работа, детей нет — но какие её годы?

и в сорок рожают... А всё мимо, без радости. Жизнь проходит, как пейзаж за грязноватым стеклом вагона: за окном какой-нибудь длинный нескончаемый лес, и сумерки всё плотнее, смотреть скучно, в купе душно, тягостно, а до нужной станции ехать и ехать — не выйдешь же в чистом поле, где ни родных, ни знакомых? Да и какая станция — нужная? Билет потерялся...

Чего ей надо, чего неймётся? Лена сердилась на себя: вот, опять взялась перебирать! Лесная ясность разбередила что-то глубинное, тщательно скрываемое от самой себя. Такая ясность была в юности: она только что поступила на архитектурный, переехала в город и была уверена, что впереди — ширь неохватная, и чисто, и ярко, и правильно всё в жизни сложится. А теперь сидит в маленькой строительной конторке, умножает одну колонку цифр на другую — изо дня в день. Когда заплутала? И как выбраться?

В городе ей всё время хотелось спать. Нет, не как хотят уснуть глубоко уставшие люди, а просто уйти в сон, спрятаться. Там, в спасительной дремотной темноте, не приходят тоскливые мысли, там мягко, уютно. Она бродила в тепле своих неясных, незапоминающихся снов и каждый раз совсем неожиданно натыкалась на холодное утро. То вставало перед ней серой бетонной стеной, и она обречённо брела вдоль неё, чтобы войти в такой же серый день. Разве нормально в её-то возрасте всё время хотеть спать?

Но кому какое дело до чьей-то неясной маеты? Муж не спрашивал, да и она виду не подавала, что всё не в радость. Только Лёха-Чума — водитель, с которым она ездила одно время в командировки, — это однажды заметил. Был он рыжий, лихой, гонял по городу и вне так, будто сам чёрт ему не брат — ибо он превзошёл нечистого в лихости и утверждал, что ему некогда соблюдать правила дорожного движения. Видимо, за многочасовые молчаливые поездки по трассе отрастил он себе какие-то антеннки, которыми улавливал состояние-настроение пассажира. Расспрашивать не стал, просто однажды на каком-то глухом отрезке трассы затормозил резко и приказал: «Выходи». Она удивилась: «Очумел, Лёха? Ехать ещё часа два». Но вышла. Была весна — не цветущая, распрекрасная, победительно шествующая по земле, а ползучая, больная, грязная, словно исподтишка задумавшая навредить зиме. Лена зябко ёжилась на обочине, но подошёл Лёха, развернул её лицом в сторону обрыва, голосом, не терпящим возражения, скомандовал: «Смотри! Дыши! Глубже!» Она вдохнула так, что голова поплыла. «А теперь — кричи!» — «Зачем?» — спросила и осеклась. И так ведь понятно: чтобы выбросить из себя этот ком в груди, выbleвать его в крике. Чтоб легче стало, чтоб жилось — не гнилось. «А-а-а-а...» — несмело крикнула, словно пытаясь подстроиться под какую-то мелодию. Прислушалась — фальшиво получилось. «Не так, дура! От нутра!» И заорал, распяливая широко рот, — аж сороки с ёлок сорвались. «Поняла? Вот, давай вместе на счёт „три“». И заорали,

и с каждым разом получалось всё лучше. И легче стало тогда, она даже из командировки вернулась будто отдохнувшей. И потом во всех поездках Лёху спрашивала: «Поорём?»

А теперь и не с кем. Чёрту, которому Лёха-Чума был не брат, видимо, надоело насмешливое превосходство шоферюги, и нечистый заграбастал его к себе: просто завертел однажды машину на гололедице да и выбросил с трассы. Ей казалось, что Лёха с тех мест и не ушёл: бродит его дух вдоль дорог, смущает редких остановившихся водителей; может, и помогает кому выплеснуть боль-печаль в крике Лёха-леший.

С тех пор она запретила себе задумываться. Живёт по правилу: «Моешь чашку — думай о чашке». Так-то.

Шишка внезапно тюкнула её по затылку, отскочила, спряталась в траве. Сбила ход мыслей, вывела из тоскливой какой-то дремотности. Лена с удивлением заозиралась: вот ведь, шла, ноги будто сами несли...

Где это она? Место показалось ей совсем незнакомым: темно от хвойников, и лес старый, дряхлый даже. И тишина здесь была иной, не ясной, почти звенящей, как на кромке леса, а словно в затхлой, заставленной мебельной рухлядью комнате. Всякий звук, казалось, тонул в лишайниках, кутавших ветки, как чехлы дачную люстру. Брошенное место, оставленное.

Тропы под ногами не было. Встревожившись, Лена осмотрелась и, приметив неясный от перечёркивающих веток просвет, двинулась в его сторону. Но он оказался лишь маленькой опушкой, прогалом между столпившихся, словно для тайного совещания, елей. Куда теперь? Лена, внутренне усмехаясь (чего встревожилась? рано!), постаралась вспомнить разрозненные сведения, как вести себя заблудившимся.

Памятная из школьных учебников примета — мох с севера — тут не работала: он облеплял деревья со всех сторон, и плевать ему было — север, юг... Что там ещё? Вызвать МЧС и оставаться на месте... Она ошупала карманы большой, не по размеру, куртки — телефон остался дома. Что-то звякнуло под пальцами, и она выудила из недр отсыревшей ткани маленькую фляжку. Удивилась: с лета лежит, брала капелюшку с собой по грибы на случай дезинфекции, да позабыла... В жестянке слабо булькнуло, но звук вдруг показался неожиданно громким. В голову начинала лезть всякая чертовщина, байки деревенских, как «дядьку Семёна леший водил-водил, да бросил». Может, правда, Он и завёл, заманил, прикинулся рыжей псиной меж деревьев? А она, дурочка, погналась. Поёжившись от тревоги, Лена отвернула крышку, коротко хлебнула. Вспомнила вдруг деда Терёша, как он крестил самогон поперёк кружки и приговаривал: «Сгинь, нечиста сила, останься гольный шпирт!» — и вкусно выпивал, подставляя ладонь ковшиком, чтоб ни капли мимо. «Сгинь, нечистая сила...» — повторила она шёпотом. Лес молчал.

Она снова вспомнила, как ещё у поля её удивила тишина. Но там она была наполненная, не пустая: едва слышно сходил с ветвей

жухлый лист, где-то в отдалении стучал деловито дятел, мягко капало с деревьев. А тут — ничего.

И тёмным унылым духом в неё вполз страх.

Теперь вся она была — слух. Но нечего было слышать. Лес — будто на паузу поставленный: ни шороха, ни ветерка. Казалось, смотрит на неё кто со стороны, сверлит недобрым взглядом, следит каждое её движение. Готовится. К чему? Она заоглядывалась перепуганно. Никого.

«Хэ-э-э-э...а-а-а», — скрипучий протяжный стон. Станный, не горлом человеческим выдохнутый. Но живой. Жуткий. Дерево какое старое скрипит? Так ведь ветра нет.

«Туп...» — пауза. И опять: «Туп...» Мягкий, на грани слышимости, звук, будто тяжёлый кто ступает по мхам... а копыта жёсткие до камней, под мхами спрятанными, достают... «Туп...» — ближе.

Вдруг сорвалась птица — и Лена птицей порхнула с места, кинулась сломя голову, дороги не разбирая! Всё рациональное, дневное в ней вдруг умерло — как не бывало, осталось дикое, ночное и страшное, всё, что живёт в это жутком месте да ещё прячется у человека где-то возле сердца. Нет страха глубже таёжного, ему и смелые подвластны. Встаёт за спиной что-то древнее, тёмное, и нет сил ему сопротивляться — только бежать! А лес не пускал: хлестал наотмашь мокрыми розгами, вцеплялся колко в волосы, оплетал колени травой. Но неслась — не оглядывалась, да и страшно оглянуться! Хрустел валежник то ли под ногами, то ли где-то сзади — близко, совсем близко! Сквозь ельник, сквозь мокрые веснушчатые папоротники, через какие-то выворотни, без мысли — вся страх, вся слух! — бежала в панике неведомо куда.

Вдруг нога соскользнула, и Лена, вскрикнув, кубарем покатила в овражину, отчаянно цепляясь за траву и кусты. Наконец замерла — глаза закрыты, лицом к земле, — в ужасе ожидая, что вот-вот Он настигнет, кинется... придавит. Леший навис над ней, тяжело ворочая ветками, влажно дыша в затылок. «Он рядом... — поняла Лена. — Замри!» Ходит вокруг, и опять скрип этот жуткий: «Хэ-э-э...а-а».

Чего Он ждёт? Запалённое дыхание успокаивалось, кровь перестала стучать в ушах. И Леший, казалось, поутих. Притаился? Лена, трепеща, поднялась на локтях, охнула — руки саднило от царапин. Огляделась боязливо, щурясь от неожиданного света: тёмный ельник остался позади, а навстречу ей холодно сияло маленькое озерцо и, ярко-жёлтые на фоне серых воды и неба, стояли берёзы.

Лена с трудом поднялась. Леший, казалось, замер на краю поляны, будто не допущенный в круг золотого берёзового сияния. Там, в тени, в буреломе, где на ещё не пожухшей, длинной и блестящей, как вымытые волосы, траве фарфорово белеют поганки, — там его власть. А здесь... будто другое царство.

Она подошла к озерку: совсем маленькое, не озеро — лужица метров десяти в длину. Вода прозрачная, у берега покрытая сеткой побуревших листьев. Лена отвела их — порскнула в сторону сонная водомерка, — зачерпнула воды, умылась. Усталость навалилась на плечи, сил не осталось даже на страх. Она закрыла глаза и будто пропала. Время остановилось.

Над головой захлопал кто-то крыльями, задел ветки, и на Лену дождём обрушилась дождевая влага. Она вскинулась, будто очнувшись: сколько же так просидела? А Он где? Все ещё караулит? Вокруг было по-прежнему тихо.

Лене вдруг показалось, что тишина эта неспроста, что она — часть неведомого, большого, задуманного кем-то действия. Будто Лена — на маленькой светлой сцене, какие в парках отдыха бывают, и лес-зритель чего-то ждёт от неё. Стояли, напряжённо замерев, берёзы, готовые всплеснуть ветками и захлопать или же, наоборот, зашелестеть негодующе. А она, растерянная, в золоте осенних софитов — и нема как рыба. Нет у неё таких слов, что ни скажи здесь — всё не к месту будет. Деревья дышали в ином ритме, и человек со своими перепуганными скачущими мыслями в него не попадал. «Я — не с ними. Лес — вековой, он всегда будет, а человек уйдёт», — она впервые почувствовала эту отъединённость. Человек проходящ, а деревья, озеро, небо постоянны, неизменны, как понятия о добре и зле. И почему-то от мысли, что есть в неудобном мире что-то незыблемое, будто обтекаемое временем, ей вдруг стало спокойно, ровно на душе. Ведь по этому же лесу и бабка её ходила, и прабабка, и многие другие пра-, которых она и не знала вовсе. А значит, если вдуматься, деревья ей здесь как односельчане — поздоровайся да спроси: «Помнишь бабку Устину?» — закивают обрадованно. Это человечья память короткая, а они-то не забывают. Выходит, и заблудиться невозможно, кругом знакомые. Лена улыбнулась: хорошо. Может, и по жизни так же, да мы не замечаем? Блуждаем, теряемся в трёх соснах...

И вдруг, внезапно совсем, пришли слова. Не её, чужие, Лена даже не вспомнила чьи — что-то из школьных времён. Но показались они такими здешними... Может быть, этого от неё и ждут?

...Весь день стоит как бы хрустальный...

Строка повисла, выдернутая из памяти, и Лена удивилась её прозрачности — будто акварелью по мокрому листу написано. Напряглась, вспоминая, и сипловато от долгого молчания медленно-медленно вымолвила в лесную глубину:

Есть в осени... первоначальной...
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит... как бы хрустальный...
И лучезарны... вечера...

«Лу-че-зар-ны...» — повторила она поражённо. От неожиданных слёз перехватило горло.

И пошёл снег — первый. И не было его тише. Сходила белая небесная тишина на землю, оседая на траве, расслабляя спины деревьев, путаясь в волосах. Снежное молчание вошло в неё, и стало совсем покойно, легко. «Снег во мне, — подумала Лена. — Во мне. Идёт. Снег».

И слабой тенью, заворожённо притихший, стоял неразличимый за сеткой ветвей огромный неведомый Кто-то. Уже не страшный.

Лесные тропы будто сами стелились под ноги. А вот и знакомое поле, и краешек леса, и дымком потянуло — жильём, домом, теплом! И околицу уже видно, плутать не пришлось. Оглянулась на лес — словно чей взгляд почувствовала. «А может, правда Лёха — леший? Может, он меня и гонял, чтоб о жизни что-то поняла-вспомнила? И скрипел так... поговорить хотел?»

Она выступила из тени деревьев и даже зажмурилась — так светло на белом свете! Деревня встречала её принаряженная, в блестящих кокошниках побелевших от снега крыш. «Надо же... уходила — в золото, возвращаюсь — в серебро. Заживём!»

«Заживё-о-ом!» — вдруг сама себе крикнула, как тогда, с Лёхой. И рассмеялась. Смех тут же отозвался, да не эхом — лаем. Это счастливая Калуша, повизгивая, трусила навстречу по опушке, а в отдалении стоял и улыбался ласково чёрный кобелёк. Лена вдохнула глубоко, вбирая в себя весь этот день: и серебро, и золото, и бег, и страх, и те стихи... Бережно несла она из леса лучезарную осеннюю ясность — не расплескать бы! И отчего-то казалось: ширь впереди необъятная, и всё теперь будет хорошо, светло и радостно.

Анатолий Янжула

Пóмочь

Победитель краевого литературного конкурса имени Игнатия Рождественского в номинации «Малая проза»

Подвал был совсем ни к чёрту. Вторая снизу перекладинка подломилась, и Полина Фёдоровна чуток не ухнула вниз вместе с ведром, яко грешник в преисподнюю. Лестница сгнила окончательно, и рыжие пятна плесени уже потянулись не только по стенкам, но и по перекрытию.

Кое-как вылезла, присела на ляду. После сырости подвала солнышко грело ласково, птички пели райски. Посидела, бездумно перебирая уже начинавшую расти картошку. «Хорошо-то как, Господи... Но подвалу капец, это уж точно. Надо что-то делать». Подхватив ведро, медленно пошла в избу.

— Толька, Люська, ись будете?

Баба Поля — моя двоюродная бабушка. Люська ей внучка родная, а я, выходит, двоюродный, и Люська часто спекулирует этим. Подойдёт, помылится, прижавшись к ноге: «Моя баба...» — а мне украдкой язык кажет. Девчонка, что с неё возьмёшь? Баба Поля часто сокрушается, горестно вздыхая: «Мамой балована, а папы нет, чтобы ремнём жигануть». Папы у Люськи действительно нет. Дядю Васю, мужа её мамы, тёти Лиды, Люська не называет никак. Баба Поля шпыняет её украдкой, чтобы называла хотя бы «дядя Вася», но Люська, отворачивая голову, тянет губы, кривляясь.

А дяде Васе на всё начихать! Весёлый, рыжий и беззаботный, приходя с работы, он шумно моется на огороде под умывальником, съедает всё подряд, не разбираясь, что ему ставят на стол, и уходит играть в футбол. Он футболист! Настоящий футболист! В хозяйственной сумке носит бутсы с круглыми шипами на подошве, зашорканую майку и трусы. На красной линиялой майке — полусъеденные трудовым футбольным потом буквы: «ДОК». Он работает на деревообрабатывающем комбинате и играет в заводской футбольной команде правым нападающим. Ноги кривые и волосатые, колени и локти, как и положено настоящему футболисту, сбиты до коросты. Когда вечером идём купаться на речку Базаиху, он прямо с плотины ныряет в воду обратным переворотом через голову. Говорит, что в армии служил в парашютных войсках и там его научили кувыркаться. Баба Поля считает, что насчёт парашютных войск он врёт, потому

как иногда и по-лягушачьи в воду шлёпается. Может, и врёт. Но всё равно здорово врёт!

Сегодня он забрал свою сумку прямо с утра и разрешил мне прийти на тренировку команды к шести часам, на заводской стадион. Но мудрая баба Поля ещё утром, как только он ушёл, предупредила, чтобы я здорово губу не раскатывал:

— Слушай ты его, боталу. Набрехал, поди, с три короба.

— Так он же сумку сразу забрал.

— От того, что он сказал, и до того, как он чегой-то сделает, быня родится. Он забрал... Ох-хо-хо... Он много уже чего забирал... Брать оне все... специалисты-футболисты. Приносить тока некому.

Я вижу, что она его шибко не жалует. Зря, наверное. Хороший мужик, весёлый. С ним жить да радоваться. Тётя Лида вон как довольна, только и похохатывает. Если на улице не сыро, они спят на сараюшке и по вечерам гогочут там, как кони. Баба Поля ворчит: «Всё бы ей хи-хи да ха-ха. Нашла чёрта рыжего». Чего он ей не нравится? И хохочут они весело. Тётя Лида вообще весёлая женщина, вечно рот до ушей. Люську как начнёт терюшить, так у той только головёнка мотается. Вообще-то баба Поля тоже весёлая бабушка. Это она уж так, скорей для порядка, ворчит. Глаза всё равно смеются. Глаза у неё замечательные. Чёрные и глубоко посаженные, они всегда где-то в глубине хранили смешинку. Маленькую, остренькую, чуть заметную... Казалось, что вот сейчас она скажет чего-то, и все тоже засмеются.

Здесь, на улице Каштачной, я житель временный. Мама приболела и сдала меня на пару недель бабе Поле. Я вообще обязан ей жизнью. Когда мне было от роду четыре месяца, маму положили в больницу с тяжёлым плевритом. Был сорок седьмой, послевоенный и ещё голодный год. Моя родная бабушка отказалась водиться со мной, рассудив по-крестьянски, что раз Бог дитя дал, то и всё остальное в его руках. Добрая душа, баба Поля была не так набожна и привезла меня к себе домой, в маленькую хибарку на станции Енисей. Отец добывал всякими правдами и неправдами манную крупу, а она, прикупая у соседки по бутылке козьего молока, варила на нём жидкую кашу и кормила меня. Когда же я орал во внеурочное время, то, чтобы отвлечь меня, она совала мне свою пустую грудь, приговаривая: «Побалуйся, робёночек, побалуйся. Как мамка выздоровеет, настоящу титьку даст». Она это часто вспоминала позже, рассказывая при всех, как я плевался от её пустой груди и орал ещё шибче. А я краснел от стыда и убегал, когда все смеялись. Божьими и бабы-Полиными усилиями я выжил, её средняя дочь Нина стала моей крёстной, «лелькой», и я считал бабу Полю своей родной бабушкой. Но это я так считал. А Люська всякий раз показывала язык и предлагала мне идти к своей родной бабе Шуре, а не вязнуть к чужим.

— Ну что, архаровцы, натрескались? — баба Поля вытерла тряпкой край стола, где Люська пролила молоко. — Люська, жуй шибче. Не наешь тело — будешь как щука волобная.

«Волобная щука» — худая, безгрудая женщина. Я нечаянно подслушал, как в разговоре с матерью она так называла тётку Людмилу, действительно худую и вечно злую. Но из Люськи вряд ли выйдет «волобная». Мордень у неё красная, ушей из-за щёк не видно. Сидит, лыбится, рожи мне строит. Строй, строй... Сегодня тётя Лида сказала сводить её в доковскую поликлинику, к зубному врачу. Не понимает, дурочка, что такое зубной врач. Я там уже был и на её месте так бы не лыбился. Вот сейчас и обрадую дурочку.

— А тебе к зубному сегодня...

И тут же получаю лёгкий подзатыльник:

— Чё разбрыкался? Доел кашу — беги на улку. А ты, красотка, долго ещё выламываться будешь?

Но Люська уже насторожилась. Скорей всего, её насторожил не сам факт похода в поликлинику, а мои интонации. Она отодвинула тарелку, надула щёки:

— Не пойду к зубному.

— Чё ты, дурочка, чё ты?.. — Баба Поля пыталась делать беззаботное лицо. — Ну и чё? Посмотрит тётя доктор тебе в ротик и скажет: «Ах, какая красивая девочка к нам пришла. Пряма лампасейка, не девочка. И зубки твои посчитает. Сколь у тебя зубиков? Дай-ка я взгляну. А... Раскрой ротик.

— Вот ты и посчитай, а к тётке не пойду, — Люська развалила рот, забитый непрожёванной кашей.

— Ой, тошнёхонько, да я и неграмотная, — баба Поля картинно всплеснула руками, всеми силами пытаюсь хоть как-то сложить безжалостно порушенную мной идиллию похода в поликлинику. — Вот пусть тётя и посчитает. Она учёная, институты кончала.

— Не пойду... — Люска заревела во весь голос, и каша поплыла по бороде.

— Тошно мне! Вот ведь дура, — за спиной погрозила мне кулаком. — Вот Толька совсем недавно был, и ничего. Скажи ей: что там делают с маленькими детьми?

Сказал бы я ей, «что там делают с маленькими детьми». Зубы там сверлят «маленьким детям»! Но раз нагрел — надо изворачиваться. — Да ничего и не делают. Там стульчик такой красивый, ну как в парикмахерской. Ты была в парикмахерской, где одеколоном брызгают?

— Была...

— Тебе понравилось?

— Не-а...

— А почему?

— Волосы за шиворот насыпались.

— А здесь не насыпятся. Здесь лампочку включают, и тётя врач тебе в ротик заглянет...

Всё, больше врать не могу. Сейчас я ей всё скажу, чего там дальше делают! Но кулак бабы Поли за Люськиной спиной опережает меня. Бабу Полю я уважаю. Ладно, Люська, прощаю тебе твои пакости. Порадуйся жизни ещё немного.

— Посмотрит, зубы посчитает и скажет: «Всё, иди, девочка, играй в свои куколки».

— А не врешь? — Люська смотрит недоверчиво.

— А чего мне врать? — делаю беззаботное лицо, и мне, вероятно, это удаётся. Мне-то не идти к зубному. Я сегодня вечером на стадион махну, к дяде Васе. — Чего мне врать? Всё как есть.

Люська рот закрыла, баба Поля немного расслабилась:

— Ну чё, дети, наелись? Идите на улку играть. Толька, ты к деду Якову сбегай, скажи, что я его зову. А ты, Люсенька, иди, родименькая, посиди на скамеечке.

«Иди, Люсенька, иди. У тебя сегодня все радости ещё впереди».

Дед Яков ходил в чудных штанах-галифе, во втоках и на заднице обшитых кожей. Когда на него смотришь сзади, кажется, что он всё время идёт нараскоряку. Баба Поля говорила, что он служил в кавалерии и им там такие штаны давали, чтобы дольше не истирались в седле. Как он в них не парился всё лето, уму непостижимо.

Дед Яков шёл неторопливо, потому что калоши на босу ногу хлопали задниками и всё норовили соскочить. Ещё не войдя в калитку, он громко закричал:

— Ну чё, старая карга, опять зовёшь? Соскучала, небось?

— Заходи, Яков Палыч. Проходи вот в тенёк. Толька, кваску нацеди деду Яше, там в сенях, под лавкой. Яков Палыч, дело есть.

— Коль дело, так чекушку ставь, а не кваску.

Дед, крихтя, основательно уселся на скамейку, почесал волосатую грудь.

— Чекушку, говорю, ставь, старая, — крикнул громче, думая, что баба Поля не услышала его намёк.

— Не ори, слышу. Будет тебе чекушка, как дело сделаем.

— Како тако дело? Говори последовательно.

— Подвал у меня, считай, накрылся.

— Чем накрылся? — дед хитро глянул на соседку.

— Чем, чем... Тем. Медным тазом, вот чем. Обвалился, считай.

— Дак пора. Годов десять как ему уже.

— А ты откуда знаешь?

— Откуда... Оттуда. Мишка его копал, как с войны в сорок шестом пришёл. А я ему помогал. Брагу, помню, пили прямо в ём. В прохладку, значит, — дед опять ухмыльнулся, вспоминая Мишкину брагу. — Лагушок, считай, и выдули. Еле потом вылезли.

— Вот потому и обвалился. По пьянке что подвалы, что дети — все недоделаны получают.

— Не мели! По пьянке... У его контузия была, снаряд ему прямо в голову попал, вот и пил, как собака. А всё было по уму сделано, без булды. Мишки, прикинь, уже года как три нет, и меня вот всего скособенило, а он стоит. Все бы подвалы так стояли. Чё позвала?

— Посмотри, какого и сколько материалу надо для ремонта, чтобы всё заранее приготовить. А я потом мужиков созову, да всё и сделаем разом.

— Разом, говоришь?.. — дед, кряхтя, поднялся, разогнул спину. — Ох-хо-хо... Как лом в... в эту самую забили.

— Пчелу поймай да на спину и посади, Пожалит — всё как рукой и снимет.

— Чё я, мальчик — за пчёлами бегать? Кажи подвал! Нековды мне тута у тебя прохладжаться! — дед неожиданно разозлился. — Пойдём!

Дед долго шарился по подвалу, было слышно, как один раз даже долбанулся головой о балку и матюгнулся. Баба Поля стояла на коленях и, опустив голову в тёмный провал, напряжённо ждала приговор.

— Ну, чего там, Яша? Пропал, что ли?

Из ляды показалась голова, измазанная на лбу плесенью. Отдуваясь, дед Яков сел на край подвала и перевалил ноги наружу. Одной калоши на ноге не было.

— Толька, слезай, достань галошу. Соскользнула, курвина, в самый момент.

Когда я вылез с калошей, дед уже сидел с бабой Поле на скамейке, и она своим платком утирала ему измазанную плесенью лысину.

— Не хрен тама ремонтировать, Полина. Всё сгнило к едрене фене. Всё надо выбрасывать.

— Обрадовал, сосед, хоть пляши.

— Пляши не пляши, а всему свой строк. Мишка-то клал из всякого хламу, что потолок, что стены. Где в сорок шестом хорошую плаху найдёшь? А ты вот листвягу заготовь. На сто лет хватит.

— Хватил тоже... на сто лет. Сколько материалу надо?

— Чего толку тебе говорить? Ты мне Ваську свово рыжего пошли, я ему и растолкую, чего и сколько надо. Материал-то ему выписывать.

— Кому больше?.. Ему, — баба Поля вздохнула, горестно покачала головой. — Вот ведь и не хочешь, а пойдёшь к чёрту на поклон.

— Не жалуешь зятя. А заздря. Парень он хороший, незлобивый. И в футбол здорово играет. Как зафиндилит мячик — тока его и видно.

— Во-во... Зафиндилить он может. Так зафиндилит... Что мячик, что деньги.

— Ладно, не зуди, как муха. Присылай свово Ваську, я ему всё чин чинарём и растолкую.

— А мы сегодня с ним в футбол идём играть, — похвастался я, чтобы хоть как-то обозначить свою приближённость к обожаемому дедом футболисту.

Но, как видно, опять не в строку. Баба Поля так выразительно развела руками и поглядела на деда Якова, что ему оставалось только крикнуть. Он поднялся со скамейки и медленно, враскоряку, двинулся на улицу. У калитки обернулся:

— Как наиграется, так пусть и заходит. Я долго не сплю. Посылай зятя и не печалься, подруга дней моих суровых.

Непонятные эти взрослые. Одному он нравится, другому нет. Непонятно...

Люська орала как резаная. Бант сбился набок, вся мордаха в слезах и соплях. Баба Поля тащит её за руку с одной стороны, я с другой. У бабы она побаивается выкручивать руку, а у меня крутит. Фиг ей. У меня не выкрутишь, держу крепко.

— Кончай орать, дурочка с переулочка, люди вон оглядываются. Ишь моду взяла — орать на всю улицу. И делов-то — только зубы посчитать. Молчи, оглашенная, в ушах свербит.

Баба дёргает её в очередной раз за руку, но эта припарка уже не помогает. Тогда она решительно останавливается, поправляет Люське бант, вытирает морщинистым и скрюченным указательным пальцем соплю. Платочек, аккуратно уложенный в карман Люськиного платья, бережёт до доктора.

— Ну чего разоралась? Мамка сказала что сегодня конфеток купит, получка у их. А будешь орать — фиг тебе, а не конфетка.

Люська недоверчиво смотрит на бабушку, по инерции тихо подвывая:

— А не обманываешь?

— Да вот те крест, — баба Поля, не перекрестившись, хитро смотрит на меня. — Да вот и Толька подтвердит, как она утром всё хлопотала, как бы не забыть детям карамелек с полочки купить.

— А я чего не слышала?

— Храпела ты, как трактор доковский, вот и не слыхала. Толька, правда мать про конфетки говорила? — баба Поля, повернувшись ко мне боком, незаметно подмигнула, чтобы я невзначай опять не опарафинился. — Правда?

Я молча кивнул. Чтобы не подводить бабушку. Врать не хочется, да и Люську уже жалко, тем более что я знаю, чем это пахнет. А о конфетах я и слыхом не слыхивал. Ругалась утром баба Поля, что огород некому полоть, заросло всё, как в тайге. А о конфетах что-то не помню... Ну да ладно. До больницы уже рукой подать, а куда идти с таким рёвом?

— Говорила, точно говорила, что её Люсенька карамельки любит, «Слива» называются. Любишь «Сливу»?

— А не врѣшь?

— Вот те крест, — повторил бабушкину клятву. — Чтоб мне провалиться.
Врать так врать.

Как Люська орала на обратной дороге, это уже отдельный роман. Баба Поля невозмутимо и с чувством исполненного долга шла впереди шагов на десять, всем своим видом показывая полную непричастность к дико орущей на всю улицу девочке. И только когда завернули на свою Каштачную и прикидываться незнакомкой не было уже никакого смысла, баба Поля остановилась, дождалась, пока воющая Люська дойдѣт до неё. Прижала к себе, подолом юбки утѣрла слѣзы.

— Ну ладно, внуча. Не плачь уж. Не рви душу. Эта тѣтка, сатана, обманула. Сказала, что только посчитает твои зубки, а сама давай там чего-то ковыряться. Ух, сатана, ей бы так в зубе поковырять той железякой. Не реви, внуча, скоро пройѣт. Через два часа, как она сказала, уже можно конфетку мусолить. Мать как раз подойѣт. Я вот Тольку наперѣд пошлю, чтобы он ей про конфетки да и напомнил. А то ить и забыть может. Чтоб прямо у магазина и словил. Пойдѣшь? — А меня дядя Вася на футбол ждать будет.

— Ага, разевай рот шире. Ребѣнок весь в слезах. Ему журавля в небе пообещали, он и поверил.

— Не журавля. Он сказал, что я тренироваться вместе с ними буду. Футбол настоящий попинаю.

— Иди потренируйся. Он тебе наврал с три короба, футболист... Ну ладно. Если не наврал, так сам будет до ночи его пинать. Вот и напинаешься, — украдкой подмигнула. — Ребѣнок обещену конфетку ждѣт.

— Ладно, встречу.

Я так думаю, что и мне кое-чего перепадѣт. А с конфеткой в кармане футбол пинать ещѣ интересней.

Тѣтю Лиду я перехватил прямо на остановке. Как мог объяснил ситуацию. Она долго хохотала, потом взяла меня за руку, и мы пошли в магазин. Она купила кулѣк «Сливы», отсыпала мне горсть в карман шаровар. Когда я сказал, что иду к дяде Васе на тренировку, она удивлѣнно пожала плечами:

— Да нет у них во вторник тренировок. Может, какая внеочередная. У них скоро соревнования, — ещѣ раз пожала плечами. — Ну иди...

Бабушка была права. Я долго шатался один по пустынному и кочковатому полю, сидел на скамейке, но никого, кроме козы в кустах акации, на стадионе так и не появилось. А я всё ждал. Может, по работе чего задержались или тренер даѣт какие указания. Так хотелось попинать настоящий кожаный футбол. Крепкий, звонкий, с аккуратной шнуровкой! Я уже начал придумывать, как замочу вратарю гол

в «девятку» и мужики будут меня хлопать по плечу, хвалить на все лады и говорить, что из меня получится настоящий хавбек.

Просидев так не меньше двух часов, я медленно пошёл со стадиона. Постоял ещё немного на углу... Нет, надо уходить. Обидно, хоть плачь. Я и поплакал немного. Самую малость.

Когда я вошёл в калитку, то упёрся во взгляд бабы Поли. Она стояла на крыльце, горестно подперев щеку рукой. Мне стало стыдно... будто я сделал что-то плохое. Стыдно, что меня обманули.

— Ну что? Я тебе что говорила? Ись хочешь, футболист?

— Не-а.

Я прошёл во двор, сел на краешек штaketника.

— Не хочу. У них, наверное, отменили тренировку.

— Ага, отменили! Лида! — крикнула в глубину комнаты. — Обманул ведь парнишку охламон твой.

Тётя Лида вышла на крыльцо, весело посмотрела:

— Ну и что? Подумаешь. На следующую тренировку сходишь, лето длинное.

— Чего ребёнчишко-то обманывать? Мужик ведь уже, а дитё дурит.

— Да ладно, баба Поля. На следующий раз пойду, больше попинать дадут.

— А мы его накажем, — тётя Лида, словно вспомнив что-то очень смешное, расхохоталась. — Чтоб ему nepовадно было. Сейчас.

Быстро ушла в комнату. Баба Поля, недоуменно поджав губы, посмотрела вслед. Через минуту тётя Лида вышла на крыльцо и развернула на руках... новые полосатые гетры. Новейшие!

— Бери. Пусть в старых бегаёт и вспоминает, что будущего футболиста обманул. Так ему! — и снова весело расхохоталась. — Это он к соревнованиям готовил. Бери, бери, они твои.

— А он тебе не накостыляет? — баба Поля, по-прежнему поджав губы, недоверчиво смотрела на дочь. — Казённые, поди. А ты раздаёшь.

— Мам, да ты что? Да он... У него душа доброго и доверчивого ребёнка. Он и штаны последние отдаст, если кому надо будет. Мам... Ну чего ты так о нём? Он хороший... — тётя Лида, неожиданно покраснев щеками, смутилась, махнула рукой и быстро ушла в комнату.

— Бери... — баба Поля задумчиво покачала головой. — Чёрт их знает, молодых. Зубы им тока скалить. Во как за молодых замуж выходить. Хороший он, и всё. Ладно, бери! Носи на радость, выкобенивайся!

Вот тебе и «футболист». До конца недели, считай, за неполных три дня, дядя Вася навозил досок столько, что можно было ещё одну избу построить, не только что подвал. Когда мужики разгружали последнюю ходку, баба Поля поймала зятя за рукав, оттянула в сторону:

— Кажи, Василий: не ворованы?

— Да что вы, Полина Фёдоровна? Всё чин чинарём, вот и наряды при мне, — дядя Вася полез в карман за бумажками, вытащил их, провёл

кругалём у тётчи перед носом и быстро засунул обратно.— У меня без булды, всё как положено, получи-распишись.

— Вижу, что врёшь, вражина. Придут архангелы, повяжут под белы ручки. И меня, старую дуру, вместе с тобой. Ох, Васька, связалась я...

— Не волнуйтесь, мамаша,— сзади подошёл дружок дяди Васи, совершенно бандитской наружности парнишка.— Если и упёрли чего немного, так он ни при чём. С нас с Серёгой спрос. А с нас с Серёгой как раз спросишь! И спрашивать больше не захочешь. Не волнуйтесь, мамаша. Как ваш зять голы забивает, так его на руках носить надо, а не тока что пару лишних досок натибрить. Не волнуйтесь, мамаша.

— А я и не волнуюсь. Я жизнь прожила, ничего не тибрила. И не надо мне ваших досок. Сраму на старости...

— Да пошутил он, Полина Фёдоровна,— дядя Вася вновь достал из кармана пачку бумажек.— Всё тут без воровства. Просто вместо необрезной хоздоски они с Серым кинули немного обрезных. Самую малость,— он незаметно подмигнул тому, с бандитской рожей.— Не беспокойтесь, всё по-нашему, по-советски.

— Как бы тебя вместе с твоим Серым на нары не кинули по-советски. А что, он у вас в почёте?— как бы между делом спросила у парнишки, кивнув на любимого зятя.

— Мамаша! Таких форвардов на ДОКе он тока один, в городе и пятерых не наскребёшь, а по Советскому Союзу от силы с десятков. С-с-сука буду,— парнишка ударил себя в грудь.

— Ну, ты при старухе-то не сучись. Тоже мне урка.

— Прошу прощения за выражение. По-другому тут не скажешь.

— Ладно... Скидывайте побыстрей да валите отсюда, пока милиционеры всякие не нагрянули. Согрешишь тут с вами... с футболистами,— баба Поля махнула рукой и быстро ушла в избу.

Вечером они долго шептались с тётей Лидой, подсчитывая, сколько надо зазывать работников на «помочь» и сколь готовить угощения. Помощью — когда собирают родню, друзей и соседей для разовой работы — у нас в Сибири много чего делают. Надо сруб на дом поставить — созывай помочь, за день поставят. Колодец ли выкопать, деляну раскорчевать, да мало ли чего по-крупному приспичит сделать? Коли ты хороший человек и в обществе тебя уважают — только свистни да стол накрой, а работников валом навалит. Работу гужом ломанут, а потом ещё и погуляют вволю.

— Шурик Гришин, Шурик Ефимов, Андрюха, Виталя, твой футболист,— перечисляла, загибая пальцы, баба Поля.— Ну и хватит. Пять мужиков — за глаза.

— Мама, да чего людей беспокоить? Вася дружков созовёт, они тебе не только подвал выкопать — они тебе всю избу на крышу могут поставить.

— Вот то-то и оно, милая. Они поставят. Они чё хошь на крышу поставят. А мне надо подвал ладненько поставить. И чтоб надолго. Я твоих футболистов знаю. А наши мужики, пуртовские, уж как сделают, так сделают. У всех руки не из задницы выращены.

— Ну хорошо. Давай родню соберём, да заодно и погуляем. В этой избе, на Каштачной, ещё не все и были.

— Погуляем-то погуляем. Денег у нас с тобой нежирно. Шибко не разгуляешься.

— Да брось ты горевать. Картошки наварим, винегрету наделаем, соленуха ещё есть. Водки надо бутылки четыре...

— Щас! Четырьмя ты их уговоришь как раз. У одного Витали норма — ведро, и ведром по голове. А ты — «четыре бутылки». Само мало штук шесть надо.

— Мам, так мужики же не придут порожняком. Считай, каждый по бутылкú прихватит. Не много будет?

— А ты бутылки в чужих карманах не считай. Свои надо иметь. А что принесут — это я и не сомневаюсь. Наши, пуртовские, никогда крохоборами не были. И бутылки принесут, и еды всякой, да ещё невестки друг перед дружкой будут форсить, кто басче. Это я всё знаю. Но на это и не рассчитываю. Раз созываешь людей — своё имей, — бабушка вздохнула. — Ладно, может, чего и придумаю. Завтра вот в город поеду, на воскресенье и созову мужиков.

— А ребятишки с кем останутся?

— Да сами посидят. Толька уже большой. Хороший парнишка, послушный. За Люськой присмотрит.

Я лежал на сундуке за перегородкой и сквозь вязкую полудрёму слушал, как меня хвалила баба Поля, какой я хороший и домовитый, и представлял, как соберутся мои дядя, родные и двоюродные. В нашей пуртовской родове Сашек — как собак нерезаных. От кого пошла мода называть парнишек немудрящим именем Саша, сейчас уже не выведаешь, но только в ближнем окружении их было человек пять, а то, может, и более. Чтобы не путаться в родне, их дополняли приставками, кто чей Саша. Мой родной дядя, мамин брат, был «наш Шурка», в родне он прозывался «Шура Гришин» — значит, сын моего деда Григория. «Ефимов Шура» — сын деда Ефима. У двоюродной бабушки Ксении Фёдоровны, по-домашнему — Сины, тоже был сын Саша. Но он как служил на Дальнем Востоке, так там и остался жить, и в редкие приезды на родину его звали «Синин Саша». Ещё три или четыре Саши насчитывалось по дальней родне.

Из общего ряда моих дядьёв выбивался Витя, или, как его звали, Виталья, мой двоюродный дядька, большой любитель погулять и побазлать по пьянке хулиганские песни, — сын бабы Тани. Любили его в родне за шептливость, задиристый, но совершенно беззлобный характер, за песни, которые он пел до слезы. Душа у мужика была

шире свету. Глаза, немного навькат, с лёгкой сумасшедшинкой, были столь бесхитростны и просты, что этим многие пользовались без меры и совести, отчего ему частенько перепало совсем не по своей вине. Широко жил, широко шагал, не оглядываясь, порой и не думая, каково тем, кто с ним рядом. Такой уж уродился мой двоюродный дядька, орёл-мужик Виталя, которому совершенно не шло благостное имя Витя. Кстати, своего сына он тоже назвал Сашей. Мало ему было в родне Саш.

Вот поди ты свежему человеку и разберись, кто есть кто. Но чужому и не фиг разбираться, а свои и так не запутаются. Когда они собирались все вместе, дружной компании не было. Что пить, что работать. Чтобы меж собой чего поспорить — Боже упаси. Но уж если кто под горячую руку подвернётся — тоже мало не покажется. Вломят так, что долго потом будет недруг этот двор седьмой верстой обходить. Единственный, кто мог немного покочевряжиться, так это Виталя, но и то только для куражу и яркости красок в гулянке. Набравшись за красную черту, он мог себе позволить поскрипеть зубами и, исподлобья поглядывая на застолье, спросить, не хочет ли кто в морду. Мой дед Гриша в таких случаях говорил: «Хорош человек, да водка в ём дурна». Но, зная его безобидность, на него никто не обращал внимания, и он, поскрипев зубами и на всякий случай ещё спросив пару раз, «не хочет ли кто в морду», тихо засыпал, аккуратно уложив голову между тарелок. Именно между тарелок. Выросший в бедности и прошедший фронт, он даже в самом пьяном виде не позволял себе испортить «за так» еду. И в пьяном кураже надо меру знать.

А ведь и ему я в некоторой степени обязан своим появлением на свет. В сорок первом году, уходя на фронт, он на вокзале кричал плачущим женщинам: «Не ревите, дуры! Фашистов всех перебью, живой вернусь, а сеструхе ещё и жениха привезу. Жди, Лидка, с женихом!» И ведь привёз! Привёз с собой фронтового друга, хохла Андрюху, который отказался ехать в свою разгромленную Хохляндию и, соблазнясь рассказами Виталя о красоте и просторах Сибири, приехал с ним в Красноярск. Волею судьбы первой из родни, кто встретил их в городе, была как раз баба Поля. Ожидая на красноярском вокзале «мотаню» на станцию Енисей, она сначала услышала, а уж потом увидела Виталя Пуртова. Пуртовы вообще от природы горласты, но у Виталя глотка лужёная, что у дьявола. Базлая на весь вокзал и обнимая бабу Полю, Виталя шепнул ей на ухо, что стоявший рядом невысокого роста парень и есть обещанный для сестры жених. Баба Поля, добрая душа, плюнув на «мотаню» и домашние дела, рванула на Качу, в дом моего деда, сообщить, что Виталя привёз жениха для её любимой племянницы. Пока обсуждали новость, с улицы прилетел младший брат Колька и заорал на всю избу, что по мосту идёт Виталя и ведёт с собой какого-то ефрейтора.

Он вёл моего будущего отца для знакомства с моей будущей мамой.

В воскресенье я проснулся рано. Полежал тихо. На кухне было слышно, как баба Поля мяла тесто на пироги. Тесто сердито пыхало и, глухо шлёпаясь на стол, фыркало. Я вышел из комнаты и сел на тёплый порог открытой в сенцы двери.

— Разбудила?

— Не-а. Я выпался.

Видно, что баба Поля умаялась с тестом. Капельки пота дрожали на бровях, и она быстро утирала их рукавом платья.

— Фу-у... Есть пироги легче. Вы с Люськой с утра в палисадике уберитесь, а потом гостей будешь встречать с автобуса. Избу новую ещё не все знают. Вот такое тебе будет моё партийное задание. Понял?

— Чего не понять. А ко сколько будут?

— Сказала, чтоб к десяти подтягивались. Люську буди, нечего дрыхать.

— Пусть спит, я сам приберусь. А тётя Лида где?

— На станцию поехала, на рынок, овощу прикупить. В нашем-то огороде ещё ни фи́га не растёт. Назьму, поди, сроду не видел. Старые хозяева, говорят, не любили в земле ковыряться, вот и запустили. Морковка толком вылезти не может.

Умятое тесто улеглось в большую кастрюлю и затихло до поры, изредка сыто попыхивая. Пришла тётя Лида, меня быстро накормили, и к десяти часам палисадик, где, по замыслу бабы Поли, мужики будут курить и обсуждать мужские дела после того, как выпьют, блестел чистотой и порядком. Старой метлой я вымел весь накопившийся мусор, даже с-под кустов смородины, где курицы нагребли кучи, устраиваясь в тёплой земле. За стайкой нашёл дырявую кастрюлю и поставил её впереди скамейки, чтобы не бросали окурки куда попадя. Баба Поля от удивления всплеснула руками, увидев мои старания.

— Господи! Да палисадик от рождения такой чистоты не видывал. А кастрюля зачем?

— А чтобы окурки бросать. Чтобы культурно было.

— Тошнёхонько мне. Лида... Лид, иди быстрее! Смотри, чего внучек придумал. Как в парке отдыха и этой... культуры.

Тётя Лида подошла, взглянула, заулыбалась:

— Во элемент. Да, Толька, быть тебе начальником. Порядок любишь.

Что такое «быть начальником», я не понимал, но мне всегда нравилось, чтобы было чисто и каждая штукovina лежала и стояла при месте.

— Ну что, я пошёл встречать.

— Иди, милоч, иди. Ты там на бугорку сиди, на дорогу не выбегай. С бугорку хорошо видно, кто от остановки идёт.

Сидеть «на бугорку» и смотреть, как внизу пацаны в Базаихекупаются, — сушая пытка. У меня уже мелькнула предательская мысль сбежать и быстро скупнуться. Но... чувство долга не позволило. Интересно будет, если провороню мужиков. Так всё с утрачка хорошо началось, не стоит рисковать. Ничего, потерплю.

А пацаны на речке орали как резаные. Вода со старой мельничной плотины толстой прозрачной струёй сваливала вниз и, пенно разливаясь, успокаивалась, неторопливо крутя буруны и бурунчики. Нырять в кипящую воду было приятно и страшно до холодка в животе. Но интересно! Воздушные пузырьки приятно щекочут тело, и когда в воде откроешь глаза, они, крутясь снежными вихрями, тянутся вверх, где светлой рябью видно небо. Баба Поля рассказывала, что в старое время, когда Базаиха была большой рекой, здесь стояла мельница, с плотины по лотку степенно стекала вода и неторопливо крутила здоровенное колесо. Мужики на помол занимали очередь ещё с вечера, всю ночь на нижнем плёсе жгли костры, варили кашу и рассказывали страшные истории. По осени на омуте ставили донки и между делом ловили пузатых и скользких налимов. Мельницы давно уж нет, мельника, говорят, как нетрудового элемента сослали в далёкий северный край, и без хозяина кормилица рассыпалась в прах в первую же весну. По большой воде некому было открыть сброс, вода попёрла через край, разнесла верхнюю опояску плотины, а заодно и выворотила крепление колеса. Поставить всё это обратно никому вроде бы уже и не нужно, и мельница, долгие годы кормившая всю округу, тихо умерла.

Первый, кого я увидел на остановке, был «наш Шурка», мой крёстный, дядя Саня, мамин брат, паровозный машинист. Что мне в нём нравилось больше — он сам или то, что он ездит на паровозе, сказать сложно, но меня к нему тянуло здорово. Первый раз он взял меня в поездку, когда мне не было ещё и семи. Какой ему был интерес таскать за собой пацана, который суётся в каждую дыру, неизвестно. Но, прокатившись на паровозе один раз, я влюбился в железную дорогу раз и навсегда. На всю жизнь. Если по большому счёту — он наградил меня судьбой. Но это отдельная история.

— Ну, чего, паря, встречать отправили?

— Не-а, я сам пошёл.

— Молодец. А то я уже хотел расспрашивать, где тётя Поля живёт. Ну, веди, Иван Сусанин.

— Кто?..

— Не знаешь, кто такой? Вы в школе ещё не проходили?

— Не-а.

— Мужик такой в истории был, провожатым подрабатывал. За что потом и пострадал.

— А за что пострадал?

— Привёл мужиков прямо в болото. А они его и кокнули.

— Так он что, специально их в болото повёл?

— А чёрт его знает. Может, просто заблудился, а они подумали, что специально. Сильно разбираться не стали, время было военное. Рубанули саблей — и готово. Производственная травма.

Дядя Саня одет в новый шевиотовый костюм, новую, с топорщащимся воротником, рубаху и замечательные хромовые «прохаря», слегка

обжатые вниз, в гармошку. Под мышкой держал пакет, завёрнутый в газету, сквозь которую проглядывалось горлышко бутылки. Я довёл его до угла, показал на дом и бегом рванул обратно к остановке. И не напрасно. На углу, озираясь, стоял отец. Увидев меня, торопливо пошёл навстречу.

— Ну, чего, кто уже пришёл?

Отец одет тоже празднично, от него пахло «Шипром», в руках тоже узелок. Мама не приехала, значит, приболела серьёзно. По его виду я определил, что он не в настроении.

— Только дядя Саша.

— Ефимов Шурик, что ли?

— Нет, наш дядя Саня.

— Ну, вот видишь, никого ещё нет. А мать всё торопила меня. Ладно, встречальщик. Показывай, куда идти, и дуй на свой пост.

Последним, конечно же, пришёл Виталя. Как и положено в воскресенье, слегка навеселе. Жена, тётя Зина, сзади, на подтычках. Во двор вошёл с рёвом и матом:

— А растудыт твою... вся гоп-компания здесь, меня лишь, раз...ая, не хватает! Тётя Поля, дай я тебя поцелую, так уж давно не видывал!

Полез целоваться, баба Поля давай отбиваться, тётя Зина за штаны тянула его в сторону.

— Иди ты... чёрт, всю обмослюкал. С утра уже пьян. Зинаида, ну где он так рано выпивку находит? — баба Поля, утираясь, ругала непутёвого родственничка.

— Свиныя грязи где хошь найдёт и когда хошь, — Виталя сам и ответил на вопрос. — Ну а вы чего сидите, хмыри болотные? — прошёлся колесом по двору. — Мы сегодня работать будем или выпьем и пойдём? — Прижми задницу, работник, — отец сегодня был не в настроении, и Виталины шуточки его не развеселили. — Сядь, покури. Сейчас разберёмся, что к чему, вот тогда и отличишься.

— Ша, молчу, Андрюха! Как скажешь. А я что? Я так, для настроения. Тётя Поля, есть что погрязней, а то я при параде?

— А ты куда шёл, на гулянку аль на работу?

— Да я же знаю, что ты тётка хозяйственная, уж чего-нибудь найдёшь.

— Всё-то ты знаешь. На, выбирай, — баба Поля вынесла заранее приготовленный узел со старой рабочей одеждой. — Ищи себе порты по вкусу. Размером только не ошибись, а то мотня лопнет.

— За мою мотню, тётя Поля, не боись. Виталя дело туго знает.

— Мужики, а вы не обидитесь, если я деда Якова приглашу? Он тут у меня главный советчик.

— Да какой разговор, тётя Поля, зови.

— Давай своего советчика. Крепкий ещё дед?

— Крепкий, если ветру на улице нет. Такая же развалина, как и я.

— Ой, вы уж и развалина. Да кто вам...

— Скромничаете. . .

— Тётя Поля, давай своего деда, мы и ему нальём.

— Виталя, лешак! Тебе бы всё наливать,— баба Поля хлопнула его по загривку.— Зина, чего это он разбаловался у тебя?

— А. . .— тётя Зина горестно махнула рукой.— Дня нет, чтобы не приложился. С шофёров уже сняли.

— Виталя?! — отец вопросительно посмотрел на друга.— Правда?

— Да, Андрюха. Такой вот коверкот получился. Ничего, права я верну! Падла буду, верну!

— Говорил же я тебе, обалдую!

— Ладно, Андрюха. Не ругай его. Хороший он мужик, расхолобай только. Ну что, деда Якова зовём да и начнём с Божьей помощью. Толька, беги за дедом. Я и вправду ему чекушку пообещала, как дело сделаем.

Когда развалили перекрытие, растащили в стороны землю и гнилые доски и все стали кругом расхабаренной ямы, то убогость старого подвала была очевидна.

— Ну, робя. . . Это не подвал, а яма под сортир.

— Да. . . Одно название.

— Умные вы больно,— дед Яков присел на кучу свежеразрытой земли.— Бывший хозяин этого подвала, Мишка Бажков, пришёл с фронта весь израненный на куски, голова контужена. Какой хрен был с него копатель? На скору руку мы с ним и счечурили. А вы — «яма под сортир». Эта яма вон сколь лет людей кормила, овощ всякий берегла. А вы — «сортир».

— Не обижайтесь, дядя Яша. Мы к тому, что новый надо копать, больше. Зять вон сколь материалу напёр.

— Васька молодец,— дед сразу оживился, коль разговор пошёл о его любимце. Кряхтя, стал подыматься с земли.— Васька, он. . . ух! Как даст по мячу — штанги звенят!

Дядя Вася весь день держался в тени, вперёд не вылезал, в разговоры не вступал. Почти все видели его в первый раз, и ему очень хотелось понравиться пуртовской родове. От дедовой похвалы он зарделся и стал ещё рыжéй.

— Да, материал добрый. Вась, тут листвягу-то много?

— Да, считай, с половины. Мне кореша специально для подвала подбирали.

— Тётя Поль. Ну что, копаем три на четыре?

— А по мне, хошь шесть на девять. Материалу бы хватило.

— Да, молодец твой зять. Всё с запасом.

— Ну, валяйте три на четыре.

Прошло уже много лет. . . Я сам сегодня старше мужиков, копавших тот подвал, но я до сих пор отчётливо, порой до мелочей, помню, как они работали. Песня, а не работа! Столько в них было радости

оттого, что молодые, здоровые, что можно работать так, что черена у лопат гнутся, что это работа на людях, а от этого сил ещё больше прибавляется. Мужики попарно, сменяя друг друга, принялись копать так, что земля летела вверх, как с транспортёра.

Виталья успевал везде. Хмель уже прошёл, остался только гонор, и он крутил в нём все пружины и рычаги до упора и звона. Ухватив за пилу, бросился с дедом Яковом пилить бруски на стойки. Таскал пилу, что у деда только голова моталась.

— Ты, чёрт заведённый, руки мне оторвёшь вместе с пилой.

— А ты шевели мотнёй. Пилить — не водку пить, стараться надо.

— А я и когда водку пью, стараюсь.

— Ты думаешь, я не стараюсь? Ещё как.

Напилив стойки, пока дед отпыхивался, сидя на досках, Виталья схватил лопату и стал отбрасывать глину от ямы.

— Виталья, пружина в заднице лопнет! — баба Поля принесла кувшин с квасом. — Охолонь, попей кваску.

— Некогда, тётъ Поль. Когда работа в радость, даже и водочки не хочется.

— Робята, перекур, кваску попейте.

Мужики сели рядком на досках, кувшин пошёл по кругу.

— Ох, квасок...

— Да, знатный...

— А я вот помню, однажды одна бабуся нас бражкой угощала, — Виталья бросил лопату, тоже присел. — Ох и бражка была!

— Кто про что, а вшивый про баню.

— Да иди ты. Я же не про бражку. Ну так вот, слушайте...

— А сколь той бабусе лет было?

— И не про это. Слушай, орясина, не перебивай. Ну так вот, пили мы её, пили и добрались до гущи. Я и спрашиваю бабку: «А чего там, на дне-то?» А она: «Хмелю, сыночки, хмелю это». А у нас один кореш попался сильно умный, это значит, пьёт больше меня, так вот он зенки свои вылупил, пригляделся да как заорёт, да как бежать за угол.

— А чего он бежать?

— Как чего?.. Травить побежал.

— ???

— Он разглядел, что там за «хмелю» было. Там тараканы были. Бабуся четверть открытой держала, они на халяву полезли туда побухать да и попадали в пьяном виде. А бабка-то слепая... Вот и говорит: «Хмелю, хмелю».

— Ну ты и гад, — дядя Саня отставил кувшин с квасом и поморщился, поглядывая на туалет.

— Я те как дам щас этим кувшином по башке, ирод! — баба Поля схватила кувшин и занесла его над Виталиной головой. — Люди как люди, а ты всё... как хрен на блюде!

— Тётя Поль, так я чего?.. Я ничего... Я это так, для смеху.

— Очень смешно получилось, — отец встал, плюнул длинно, охлопал верхонки о край доски. — Ладно, мужики, давай за работу. Солнце уже на перевал пошло.

Крёстный копал на пару с дядей Васей, а отец — с Ефимовым Шурой, то есть сыном деде Ефима. Ефимов Шура если и говорил пару слов в час — и то хорошо. Не горластый, не в пуртовских, он и внешне походил на мать. Невысокий, кряжистый, немного косолапый, с широкими, как лопата, ладонями, жил он несуетливо, говорил мало и делал всё основательно, с расчётом если не на век, то уж надолго — это точно. Копал сосредоточенно, неторопливо, но земли из ямы вылетало не меньше. Дядя Вася же, наоборот, горячился, стараясь, чтобы всё у него получалось не хуже, чем у других. Земля часто срывалась с лопаты и падала то ему на голову, то и отцу.

— Василь, не торопись, — отец, усмехаясь, хлопал его по плечу. — Земля не любит спешки. Мне вот на фронте приходилось целиком «зиска» своего в одиночку закапывать. Правда, один только раз. Сказали бы раньше, что я смогу такую яму выкопать, — убей, не поверил бы. А как прижало — и выкопал. Но самое обидное знаешь что было? Только выкопал, припёрли мне пушку в прицеп, и с ней четыре пушкаря. И морды у тех пушкарей — шире зисовского радиатора. Они бы эту яму без лопат, руками выгребли. А я один волохал. А, да чего только не было. Так что не спеши, паря, копай вразумительно.

— Да я хочу как лучше.

— Я вижу, — отец понизил голос, наклонился к уху дяди Васи. — Не тушуйся, мужики оценили твоё старание. Думаю, и тёща оценит.

— Пока не оценила.

— Шустрый ты больно. Тёща — она и есть тёща.

Женщины на кухне готовили обед, и баба Поля ласточкой летала между кухней и накрытым в комнате столом.

— Бабы, а что, если мужикам по стопочке для веселья плеснуть, а?

— Нет! — тётя Зина бурно запротестовала. — Мой только отдышался, много ему на старый запал надо?

— На твоего глядеть, так и другим дорога завязана. Я ему много не налью.

Баба Поля быстро напластала ножом кусок сала и хлеба. С-под тумбочки выдернула за сургучное горло бутылку.

— Мужики, по стопочке для промочки горла.

Виталья, услышав клич, сразу бросил пилу, и дед Яков, держась за другой конец, с маху сел на землю.

— Етит твою мать, этого пилильщика! — дед, как жук на спине, махал в воздухе ногами и никак не мог перевернуться на четвереньки. — Дал же Бог помощничка. Помогите хоть встать, обалдуй.

Ефимов Шура, подав деду руку, выдернул его из неудобного положения.

— Прости, дядя Яша, руки заняты, — Виталя уже держал стопку. — Некогда тебя подымать. Серьёзное дело подвернулось. А чего ты вставал? Так бы и лежал. Я бы тебе и лежачему налил.

— Тебе самому-то ещё нальют или нет, наливальщик хренов?

Мужики, конечно, отказываться не стали и устроились на досках в рядок. Стопка была одна, баба Поля рванула было ещё за стопками, но её остановили и сказали, что пить будут по очереди. Было бы что, а выпить можно и с одной. Потому как она была у Витали, а отобрать её у него можно было только вместе с руками, ему первому и налили.

— Ну, тётя Поля, за тебя пью. Ты у меня самая лучшая тётка на свете, — Виталя с маху хлопнул стопку, поцеловал доньшко. — А хошь, и тебя ещё поцелую?

— Иди ты, барбос. Хороший ты мужик, Виталя, вот люблю тебя от души, но ты барбо-о-ос. Истинный Бог, барбос!

— Согласен на «барбоса». Я мужик простой, меня как хошь называй. Уважай тока! Вот уважение, — Виталя затряс кривым указательным пальцем, — уважение — в первую очередь. Вот уважай меня как человека, и я тебя буду уважать. Вот я тебя, тётя Поля, очень уважаю! Ну прям не знаю, как уважаю. Ух как уважаю. Вот за это ты мне ещё стопаря и плеснёшь.

— Ты чё? Во барбосина! Мужикам ещё и по первой не налито, а он уже на вторую набивается. Ну-ка давай сюда. Налей ему вторую... Щас, раскатилась под горку, — баба Поля отобрала у него стопку и передала её дяде Сане. — Шурик, держи.

Мужики выпили по стопке, зажевали салом, закурили. Виталя вопросительно смотрит на бабу Полю. Она, стоя с бутылкой в руке и стопкой, старательно пытается не замечать его взгляда. Но где тут утерпишь, когда взгляд жжёт?

— Да на, на! Пей! Думаешь, мне её жалко? Тебя, дурака, жалко. Зина вот увидит, настукает по затылку за тебя, барбоса. У-у-у, смотри мне, — наливает ему неполную стопку. — Да закуси хорошо. На вот сала ещё.

Пока мужики копали яму, дед Яков с помощью заводного Витали напил досок и сколотил боковые щиты для обшивки стен. Доски были листовые, гвозди старые, и пока щиты сколачивались, они слышали много ласковых слов из неистощимого фольклора деда Якова. А так как кухонное окно в огород было приоткрыто, то невольными слушателями оказались и женщины. Когда дед в очередной раз вспомнил поимённо некоторых апостолов, а их он помнил, как позже выяснилось, добрый десяток, баба Поля не выдержала и с треском распахнула окно:

— Яков Палыч! Красиво ты материшься, но уж больно пакостно. Боженьку-то с боженятами не трожь. Они-то тебе чего плохого сделали?

— Ты вот за них заступаешься, а чего они тебе хороших гвоздей не послали? Я бы тогда их и не тревожил.

— Ну чё ты мелешь, старый хрен?! Не Божье это дело — гвозди добывать. А где я тебе их возьму? Какие есть, те и бей. Новыми-то и дурак собьёт. Ты вот старыми сумей.

— Ладно, закрой окошко. Много ты понимаешь в гвоздях. Не лезь в мужские дела, — окно с треском захлопнулась. — Тоже мне прораб. «Новыми и дурак сможет». Дурак, он ни старыми, ни новыми ни хрена не сможет. Так я говорю, Витёк?!

У Витькá после двух стопочек на старый квас прыти поубавилось, и он периодически придрёмывал в удобные для этого моменты.

— А? Чего, дядя Яков?

— А того. Дуракам, говорю, что старые, что новые... Да чего тебе толковать. Тащи, говорю, щит ближе к яме. Да не так! Чёрт косорукий! Той, говорю, стороной. Разворачивай, говорю!

— Ты, старый, не командуй. Я не пальцем строчен, чтобы ты тут кырмовал надо мной. Сам не хуже тебя знаю, какой стороной разворачивать. Раскомандовался... Шурка! Подмогни-ка мне! Во, во... подтягивай свой край... Ну вот и молодец! Мы и сами с усами. Ну чё, архаровцы, вы ещё долго тут колупаться будете?

— Расчирикался... — отец подмигнул Шурику. — Дядя Яков, а ты дай ему затрещину. Или ремнём вдоль спины, чтобы старших уважал.

— Пусть евонный папа его лупезит, — дед вытряхивал глину из своего вечно спадающего чирика. — Я ему не родитель, чтобы уму-разуму учить.

— Вить, а тебя в детстве часто лупили? — отец по доске с набитыми поперечинами полез наверх.

— Нет, всё пряниками кормили. Дядь Яков, да ты не обижайся на меня, дурака. Это я так, с запалу. Хошь, я тебе один свой стопарь уступлю?

— Всю ночь потом плакать будешь.

— Даже не вздрогну.

— Не надо, Виталья. Ты пей свои стопари, а я — свои. Чужие глыкать не приучен.

— Ну чё, не обижаешься?

— Как на тебя, чёрта кручёного, обидишься? Давай таскай доски, мужики яму уж скоро закончат.

Пока мужики докапывали яму, ставили щиты и клали перекрытие, баба Поля наливала им ещё несколько раз. Держала их, так сказать, в тонусе. Виталья был в ударе. Он успел пару раз разозлить деда Якова так, что тот поимённо перечислил всех остальных боженят, правда, оглядываясь на окно. А Витале на всё наплевать. Он, самолично перетаскав тяжеленные листовые доски на перекрытие и сев на перевёрнутую рассохшуюся бочку, во всю широкую пуртовскую глотку спел похабную частушку о неразумных девках, которые высоко

качались на качелях и сверкали своими прелестями. Так, с Виталиными песнями и дедовыми матюгами, срубив творило и насыпав перекрытие, закончили часам к четырём. Бабу Полю пригласили на приёмку объекта, она, слазив вниз по новой лестнице, осмотрев всё, вылезла в полнейшем восторге.

— Вот это да! Ну мужики! Ну молодцы! Ну мастера! Так там же танцевать можно! Да за такой подвал!.. Ух, чего за такой подвал!.. Быстро умываться — и за стол.

— Тётъ Поль, давай сразу ларь под картошку сколотим.

— Нет! За стол! Ларь мне и зять сколотит, — коротко и слегка смущаясь своей сентиментальности, взглянула на дядю Васю. — Я думала, он тока по мячику пинать мастер, а он вишь какой работяга.

— Ну, Васька, пиши пропало! — Виталя хлопнул его по плечу. — Рассекретился ты... на все сто. Вот щас тётца и возьмёт тебя в оборот.

Дядя Вася от похвалы покраснел, как маков цвет, и его рыжая голова засветилась солнцем. Опустив голову, он старательно отскребал глину с рук, но я видел, как он украдкой, искоса взглянул на отца, и тот ему одобряюще подмигнул. Мне тоже было приятно, что баба Поля похвалила его. Я видел, как он старался.

Умывались мужики прямо на огороде. Дядя Вася приносил воду из дождевой бочки, а я ковшиком поливал им на спины. Вода, настоявшая за день, тёплая, как парное молоко, чуть припахивала бочкой. Мужики ухали, когда вода попадала по спине в штаны, и просили полить и на голову. — Мужики, айда на речку!

— Мойся здесь. На столе уж всё накрыто. Ух, варнак! Нет на тебя упокою, — баба Поля шутя хлопнула Виталю полотенцем по голове. — Мойся, мойся, барбос чумазый. Чего ты грязней всех?

— Ну так работал, тётъ Поля, не увивал. Дядь Яков, скажи?

— Молодец! Здорово работал. Порядок бы ещё кто у тебя в голове навёл, цены бы тебе не было. И как ты на войне не пропал? Дисциплины никакой.

— Потому и не пропал. Дисциплинированных-то знаешь сколь там лежит. А вот таки баламуты и выживали. Где дурью, где везеньем, а где и крученьем. Согласно правил да уставу целые полки в окруженье попадали.

— И то прав, — дед Яков, вытирая мокрую голову полотенцем, присел на остатны доски. — Я моложе был, тоже не хуже тебя куролесил. Это уж сейчас задницу прижал. А раньше-то — у-у-у...

— Ну всё, мужики, за стол! Картошка стынет, — баба Поля, накинув Витале полотенце на шею, повела его, как бычка на привязи. — Тебя, пока не стреножишь, не утолкёшь.

Потом была гулянка. Обыкновенная, каких я видел немало. Пока мужики набирали градус, Виталя успел даже слегка приспнуть и иногда, поднимая голову и глядя осоловелыми глазами, спрашивал:

—А, робя... кому в морду надо?

Его со смехом посылали куда подальше, и он опять аккуратно бұхал головой промеж тарелок.

И всё-таки это была необычная гулянка! Спроси меня: чем необычна? А Бог его знает. Искренность её веселья была так чиста и звонка, что сейчас, по прошествии многих лет, я с мельчайшими подробностями помню всё, что тогда происходило.

Я гляжу на них откуда-то высоко... Я огромный, старый, мудрый... А они?

А они?

Они молодые, весёлые, душа нараспашку! Хохочут, пьют водку, поют... А чего не петь? На войне уцелели, семьи завели, одежонку кой-какую справили, на столе не пусто, а жизнь впереди — немеряна.

Мне сверху всё видно...

...Баба Поля хлопочет, ласточкой носится то на кухню, то в сени за каким припасом, чтоб на столе не пустело. Вот присела коло тётки Зины, обняла за плечи, уговаривает не журиться, говорит, что Виталя её — хороший человек. Бог его любит за широку душу. Ведь всю войну прошёл — и даже не раненый. А счастливый, Богом любимый Виталя спит безмятежно промеж тарелок, свистит носом. Спит счастливый и ничего не желает знать. Не знает, что к шестому десятку проклятая водка догонит и долбанёт его предательски в спину. Обе ноги оттяпают по самое... как говорится... Чуркой будет лежать почти десять лет. Ох и намается... А дети его не кинут... И тётка Зина... Терпеливо будет нести свой крест и не роптать на судьбу.

А рядом его друг закадычный, мой отец. Вот Виталя проснулся, отец что-то говорит ему... Хохочут... весёлые... У отца рубаха нараспашку, шея загорелая, крепкая. Молодой, глаза чёрные, блестят.

Отец всю жизнь проработал на одном заводе. Без двух месяцев пятьдесят лет. Слесарь был — экстра-класса. Ближе к семидесяти стал забывчивым, постоянно всё что-то искал. Но руки... Руки знали своё дело с точностью хорошо отлаженного станка. Ему последнее время и платили какие-то копейки, зная, что старик роптать не будет. А он и не роптал. Когда я возмущался, что такому специалисту столько платят, он меня успокаивал: «Да плюнь ты. Я же не для них на работу хожу. Я для себя. Я и сам бы приплачивал, чтобы туда ходить».

Одна административная сволочь не дала ему доработать до пятидесяти лет на заводе всего два месяца. Уволили за один день и спасибо не сказали. Но самое страшное случилось, когда он через неделю, переломав в душе свои обиды, решил всё-таки сходить в свой цех, попрощаться со старыми друзьями. На проходной его не пропустили. Режимный завод, вдруг какой секрет старик разболтает, хотя к тому времени завод уже почти весь растащили, военных заказов не

было, и выпускали всякую дребедень. Пятьдесят лет ходил через эту проходную... а тут не пустили. Придя домой, он плакал, как ребёнок. Через неделю на медкомиссии в госпитале ему сказали, что у него был инфаркт. Протянул он потом не больше года. Тихо уходил памятью в прошлое и часто, подходя к окну и глядя вдаль, говорил о чём-то своём, нам порой и неведомом. Умирал почти в полном беспомоществе, маленький, потухший, словно с памятью ушли и все его жизненные силы.

А сейчас... Молодой, здоровый... Хохочет, рассказывая что-то Витале. Тот отмахнулся, тряхнул головой, встал, расправил грудь и реванул во всю широку пуртовску глотку свою любимую: «Ревела буря, гром гремел... Во мраке молнии блистали...» Реванул так, что бумажные цветы на божничке зашуршали.

«Наш Шурка», мой крёстный, дядя Саня, хоть и был тоже горласт, петь совершенно не умел и в лучшем случае мог только кивать головой, словно поддакивая поющим. Орать громко он приучился ещё и на паровозе, от шума. Если в трезвом виде и пытался говорить тише, то по мере нарастания выпивки тормоза отпускались, и он, наращивая голос всё громче и громче, со временем переходил на крик. «Шурка, да не ори ты»,— пытались очурать его. Он, виновато улыбаясь, согласливо кивал головой, на время прижимал громкость, но через пару минут опять орал так, что жилы на шее надувались. Втянул он меня в железнодорожное дело накрепко ещё с пацанов и, работая уже машинистом электровоза, часто брал с собой в поездки. Лет около пятнадцати, давая ночью поспать помощнику машиниста, я уже мог уверенно выполнять его обязанности. По ночам, под мерный стук колёс, крёстный рассказывал мне длинные истории о нашей большой и сложно перепутанной пуртовской родне, порой и сам запутываясь, кто кому и кем приходится. Замечено, что машинисты, выходя на пенсию и не найдя себе другой работы, живут недолго. Крёстный же ничего делать, кроме как классно водить поезда, особенно не умел и, оставшись без любимого дела, быстро зачах. Растволтел, стал одышливым, навалились болячки. Его положили в железнодорожную больницу, и там выяснилось, что он уже обречён. В тот его последний день я собирался проведать его после работы, но где-то ближе к обеду душа заныла так, что я, не утерпев, бросил все дела и поехал в больницу. В коридоре у двери палаты увидел плачущую тётю Дину, его жену. Я опоздал всего на пять минут.

Всё это будет ещё очень не скоро. А сейчас...

Виталья орёт: «Ревела буря...»

Крёстный, улыбаясь, кивает, поддакивая ему, и машет в такт песне вилкой...

Отец смеётся, приглаживая растрёпанные волосы...

Господи, сделай так, чтобы это продолжалось бесконечно!

Сделай так, чтобы они всегда были такими!
Останови этот счастливый миг...

Никто мне не ответит...

Нельзя остановить неумолимое время. Нельзя остановить текущую воду. Останавливаясь, она теряет силу жизни. А зачем нужна бесконечная, но холодная и пустая жизнь?

Пусть всё остаётся так.

Это и есть жизнь...

Анастасия Горобец

Морж, лаптевский подвид

Победитель краевого литературного конкурса имени Игнатия Рождественского в номинации «Малая проза» среди участников до 18 лет

Вот и наступила весна в нашем северном крае! Пригревает наше недолгое северное солнышко. И хотя я больше люблю холод, лёд и мороз покрепче, но иногда хочется погреть бока в его тёплых лучах. Приятно вынырнуть из воды и, зацепившись клыками за кромку льда, покачиваясь на волнах, смотреть, как играют солнечные зайчики в наших тёмных и холодных водах. Я люблю наблюдать за ними. Порой мне кажется, что солнечному зайчику холодно у нас, и он, прыгая с волны на волну, пытается таким образом согреться.

Мы живём небольшой общиной. Как-то я пробовал посчитать нас всех, и у меня получилось голов сорок восемь — пятьдесят. Но, кажется, в это время не все были на берегу. Часть моржей была в море — обедали, выкапывали из ила и песка моллюсков. Мы, моржи лаптевского подвида, как называют нас люди, питаемся придонными морскими животными, которых выкапываем при помощи своих толстых длинных клыков. Эти клыки — основной наш помощник: и еду добыть, и за кромку льда закрепить. Вон неподалёку лежит мой сосед — Рыжебокий. У него в драке с моржом из другого стада сломался один клык. Это большая беда, трудно теперь придётся моему приятелю.

Мне очень нравится плавать под водой. Там так красиво! Не то что на суше — один только лёд, по которому не очень-то удобно передвигаться нам, ластоногим неуклюжим здоровякам. Но мы, в отличие от тюленей, не ползаем по суше, а ходим на мозолистых конечностях. Не удивляйтесь, что мы любим плавать и практически живём в такой холодной воде. Всё дело в большом подкожном жире. Его на нашем теле очень много, больше пятнадцати сантиметров. Поэтому мы и не мёрзнем.

Моя самая большая любовь — это моя семья. Мой сынок родился в прошлом году. Он уже подросток и пытается всё делать самостоятельно. До года его кормила мать своим молоком, а сейчас он уже лакомится моллюсками. Помню, осенью мы перебирались на зимнюю стоянку, и мой малыш устал плыть. Недолго думая, он забрался сначала ко мне на спину, а потом перебрался на Рыжебокого и так и не слезил

с него до конца пути. Мы очень любим своих детёнышей, охраняем их всей общиной и никогда не делим на своих и чужих. Так же мы поступаем и с охраной нашей территории. Обязательно выставляем часовых, которые в случае опасности предупредят всё стадо, и мы успеем скрыться от врага в море. Заныриваем и не всплываем как можно дольше. Под водой лично я могу находиться больше десяти минут. А потом набираю воздух в воздушные мешки и плаваю вертикально в воде. Я даже так спать могу.

А врагов у нас вроде и немного, но они очень опасные. Очень часто на наши колонии нападают белые медведи. Эти свирепые хищники коварны. Они быстро бегают, у них острые и длинные зубы и когти. Если попался к ним в лапы, то живым уйти очень трудно. Намного реже на нас нападают косатки в море. Но главный наш враг — человек, или «пахнущий дымом», как мы его называем. Человек хитёр, ловок, у него есть оружие, которое стреляет с большого расстояния. Слышал я, что люди любят истреблять всё живое ради собственной выгоды. Говорят, что люди, которые живут в нашем регионе, заготавливают мясо моржей на всю долгую зиму, жир используют как источник света, из шкуры делают верёвки и обшивки для лодок. А из клыков — различные поделки и сувениры.

Я не осуждаю людей. Наверное, так определено природой, что выживает сильнейший. Но, люди, подумайте! Через несколько десятков лет, а может быть, и раньше, если вы не прекратите по-варварски обращаться с природой, что у вас останется? Животных, живущих в дикой природе, вы будете показывать своим детям только на картинках. Слышал я от своих братьев из других общин, что нас, моржей лаптевского подвида, осталось не больше десяти тысяч голов! Ещё несколько лет назад я стал замечать, что толщина льда сильно уменьшается. Причём как раз в тех местах, где нам удобно устраивать лежбища и где удобно добывать пищу. Это опять, как я думаю, влияние человека на природу. Не убивайте нас! Не разрушайте мир, в котором мы все живём! Подумайте о нашем будущем уже сегодня! И хотя мои друзья и называют меня Болтуном, я считаю, что нельзя молчать, когда тебя истребляют! Мы хотим жить с вами на одной планете в любви и дружбе!

Александр Новосельцев

Частота шестнадцать-семьдесят

Долог поздней осенней ночью сон в избушке в енисейской тайге. Уж не один пересмотрен, и даже с продолжением, когда с вечера жарко протоплена избушка, и кажется: то ли от духоты ворочаешься, то ли от мыслей — долгих, стародумных, не раз перебранных памятью. Одну пробежишь лишь мысленно да и оставишь на потом, а другую — её опять пережить-перебрать надо и разрешить что-то или уж наверное определиться, да так, чтоб не снилась, не тревожила больше ночами... Оттого и ворочаешься, ища то ли его разрешения, то ли того самого долгожданного сна, за которым всё забудется. Тянутся эти минуты бессонницы, всё тянутся... И уж лежалось-то, и перелёживалось не раз с боку на бок, и думалось-передумывалось всё это не раз... Поворочаешься в эти долгие, бессчётные минуты, всё ожидая, когда ж свет-то да и утро, чтоб наконец за делами забылись эти долгие думы. Поворочаешься, да потихоньку и выйдешь из избушки: жаркий, пропаренный печным неугарным теплом.

После томной жары избушки даже сильный мороз кажется благом. Глянешь — а вокрут-то! Лёгким стоячим дымом над печной трубой разделено небо надвое. Крупной солью рассыпались над чёрными верхушками елей звёзды, привычно гремит ручей, пробиваясь сквозь ледяную лохматую наморозь на камнях. Вернёшься, чуть прозябнув, и отметишь: руки липнут к дверной ручке — ага! значит, прибавляет мороз-то. Войдёшь в избу, укутаешься в благодное тепло спальника и так же, во благе, заснёшь — уже счастливый отчего-то...

Проснёшься, когда в окошке чуть брезжит светом, который много значит сейчас здесь, в енисейской тайге: каким будет день? Что он предвещает охотнику — таким он и сложится. Тепло восходит к потолку, холод подкрадывается к сложенным под охотничьи нары-полати, ещё по осени завезённым вещам-хохоряшкам; медленно, настойчиво ползёт выше, заставляя обитателей зимовья плотнее кутаться в спальные мешки. Но всё синее свет в избушке, всё отчётливее видны полки с книгами и охотничьими принадлежностями. Самое время вставать. А неохота — из тепла-то...

Утро в промысловой избушке — обычное. Анатолий, её хозяин, тихо встаёт, пошарит под нарами сапоги, привычно опустит в них ноги, прошаркает по половицам. Потом наскоро, чтобы не выстудить тепло, скрипнет дважды открывающаяся дверца, и слышится тихая возня у печи; через полминуты пахнёт дымком берёзовой коры, за ними

медленно потянется во все углы запах разгорающихся дров. Через полчаса, когда гул дров стихает, избушку заполняет плотное, надёжное тепло. От него — только раскутываться и вставать. Что ж — встаём, ведь чайник уже посвистывает.

В этом тепле избушки, у совсем ободнявшегося окошка, — короткий завтрак. Нас в избушке трое. Хозяин Толян — кряжистый, основательный, у которого всё в избушке под рукой, что готов достать с закрытыми глазами, и его напарник — элегантный спортивный Петрович, у которого на все случаи есть всё из того «городского» быта, но всё так пригождается, уместно и удобно здесь, в тайге. Я — не охотник, я — рыбак. Сегодня мороз, и не мой день «на щуку или тайменя»: мороз около семнадцати, отчего все бахтинские затоны-сардонарии, в которых стоят щуки, затянулись звонким чистым бирюзовым льдом, способным удержать не только собаку, но и человека. Замёрзли почти все свалы на порогах, где стоят обычно таймешата. Остаётся только незамерзающее устье ручья, впадающего в Бахту, где крутится юркий хариус. Но уж он-то от меня не уйдёт: вот подготовлю всё по дому и бане и схожу к ручью, «как в магазин», как сказал Толян, знающий, что за полчаса в устье ручья можно наловить до десятка хариусов. Так оно и есть — и мною тоже проверено неоднократно, а потому я прикидываю лишь, к которому часу тот хариус, что плавает ещё, будет приготовлен возвращающимся охотникам на обед. Сборы охотников всегда молча разрешаются одним и тем же: спокойно, проверив на себе и на полках снаряжение и одежду и последовательно надев на ноги носки, пакульки и сапоги, они уйдут на путики, где уже настрожены пробные капканья и ловушки на соболя.

Они уйдут, накинув ружья, отцепив собак, всю ночь проспавших в своих рубленых, как и само зимовьё, избушках. И снова тихо будет в тайге. Не будет ни обычных утренних хождений со сборами, ни лая собак. Ветер здесь, над верхушками таёжной тайги, — редкость... Тихо... Так тихо, что в избушке будет слышно только потрескивание догорающих в печке дров. И будут свет в окошке над прибранным столом и раскрытая тетрадь, ждущая не написанных ещё впечатлений от вчерашнего трудного дня. А вчера, возвращаясь с верхнего зимовья Ворота, полтора километра пришлось тащить лодку с вещами, собаками и мотором с неисправным винтом по льду от заторошенного от нагрянувшего минувшей ночью мороза устья Бахтинки, от острова напротив неё и до открытой воды по самой Бахте. От острова вниз, куда нам надо было идти, уходил стрежень реки, стиснутый ледяными торосами. И нам бы идти по нему! Но этот чёрный, кажущийся спасительным вал воды через полкилометра скрывался у порога набитым скованным ночным морозом льдом, запиравшим реку на всю её видимость вниз по течению. Оценив обстановку с биноклем, Толян и Петрович решили бурлачить вдоль левого берега. Слава Богу, лодку мы протащили до открытой воды, хоть не без усилий и не

без приключений: Петрович, бравший, как обычно, на себя самые тяжёлые вещи, провалился по неверному у камня льду, залив в сапоги бахтинской ледяной воды...

Но всё это мне предстояло вспомнить. А пока в избушке — шум радиации. Рация — это старый, ещё советского времени, небольшой ящик с четырьмя ручками сверху — единственное, что соединяет людей в пространствах громадной, не поддающейся определению простого «европейского» человека тайги. И в эту пустоту пространства вдруг входят живые голоса людей, для которых связь со своими родными, ушедшими в тайгу, — единственное средство общения.

Вчерашним вечером мы должны были условиться по радиации с племянником Анатолия Иваном о дне встречи, чтобы забросить ему продукты, переданные его матерью, и кое-какие мелочи, так необходимые в тайге в долгие дни промысла, — зимой мелочей в тайге не бывает. Иванов участок выше по реке километров на сорок, где у него стоит старая «базовая» избушка на Молчановском пороге, срубленная почти шестьдесят лет назад. На связь вчерашним вечером Иван от чего-то не вышел: наверное, бережёт аккумуляторы и батарейки, — и мне поручено Толянном вызывать его в утреннее условленное время и передать ему на словах всё, что требуется, а главное — уточнить, когда он будет на месте и что ему привезти. Рация трещит, попискивает, и за всеми этими шумами слышны разговоры. Частот приёма на всю тайгу лишь две: шестнадцать-сорок и шестнадцать-семьдесят, — и все говорят и отвечают на этих волнах одновременно. Оказывается, в этих радиодialogах трёх или четырёх пар никто никому не мешает, а каждый слышит лишь того, с кем разговаривает. Это и разговор охотников с разных участков между собой, и наставления матери сыну-промысловому, и жены с мужем. Пока пили чай, Иван на связь всё не выходил — время было ещё неурочное, но Анатолий, пока пил кружку, дважды — на всякий случай — брал микрофон и вызывал: — Молчановский, Молчановский!

Чуть помедлив, повторял:

— Молчановский! Ваня! Ваня!

Ваня не отвечал, но и посторонние разговоры не умолкали. Мне предстояло остаться в избушке «на хозяйстве и стряпне» и выполнить поручение связаться с Иваном.

Когда Толян и Петрович уходят, рация остаётся работать. Провожая их и попутно делаю «хоздела»: подковка дров, разделка рыбы... Заношу в избушку дрова, рация теперь просто шипит. Обычно часам к девяти разговоры сначала разрежаются, потом совсем умолкают — все расходятся по своим делам: таёжники — по таёжным, их домашние — по домашним делам.

Пока подрубаю дрова, думаю, как бы не забыть вовремя связаться с Ваней, и вспоминаю, как Толян, отвечая на мой вопрос: а как далеко берёт рация? — отвечает: «Ну, километров сто пятьдесят — двести

будет». Теперь, подколол дров для бани, затопив её в ожидании охотников и печку в избушке, заносу дрова, складываю их у печки и слышу, что жизнь в радиции снова ожила.

— Дак а ты чо — давно заехал?

— Да четвёртый день.

— И как там у тебя — соболь есть?

— Да пока тихо. Следочков пару видал. Белка пошла.

— А! Ну, ежели белка, то и соболь следом пойдёт.

Из коробочки радиции — шипение... На посторонний слух кажется: теперь всё, у кого-то пропала связь. Но нет, это просто иссякла тема разговора, и решалось, о чём бы ещё спросить. И — снова голос «старшего»:

— А у тебя мой сотовый телефон есть?

— Нету... Я свой утопил.

— Ну дак запиши.

— Да нечем.

— Чего так? В избушке-то карандашик где-то воткнутой...

— Да нету: тут медведь пару раз заходил. Пошарился и порядок свой навёл.

— А, ну тогда понятно... — треск радиции.

Через минуту:

— А снег-то есть?

— Да сантиметров пять.

— А у меня чуть поменьше, с три... У тебя ж далеко участок? От дома?

— Да... как сказать?... Километров с пятьдесят от дома.

— Это ж к западу?

— Нет, к северо-западу. От Сарчихи километров двадцать.

— А-а... ну понятненько... понятненько. Ну давай!

— Давай.

Но, видно, «старший» никак не хочет бросать разговора, и через пару минут в радиции снова слышен его голос. Тема охоты уже исчерпана, и он переходит к «наводящим вопросам»:

— А ты не женился ещё?

— Пока нет.

— А сестра твоя, Ленка?

— Не, не Ленка она, а Светка.

— А! Ну да — Светка! И как?

— Да второй год замужем.

— В Мирном?

— Нет, в Бору...

— Ага... Понятненько, — и спохватывается: — А ты вечером-то на связи будешь?

— Не. Я через полчаса пойду до верхней избушки. Проведаю. Завтра вечером вернусь.

— Ну понятненько... Понятненько... Давай.

— Давай, дядь Миш.

Шипение... Теперь долгое, иногда прерываемое поисками своих:
— Чулково!.. Чулково!..

— Сухой! Сухой!

Кто-то пытается вызвать потом:

— Буровая! Буровая! — перемежаясь с позывными:

— Двенадцатый! Двенадцатый!

— Сухой!

Но не отвечают сейчас ни «Сухой», ни «Буровая», ни «Двенадцатый»... День... А днём все — в тайге. Позывной Толяна — «Метео». Почему — о том я у него потом спросил. Он пояснил: неподалёку от зимовья Холодный на речке Нимэ, что по-эвенкийски означает «рыбная», напротив красных бахтинских яров, после войны была метеостанция, и там жила семья. Метеостанция «умерла» в семьдесят девятом году. А позывной Толяну достался.

Толян знает их всех — тех, кто слышен в этом невообразимом радиусе эфирного пространства среди глухой тайги: от матерей и жён, живущих по Енисею, до дальних промысловых избушек, часто разорённых набегами медведей или пожарами... И это неведомое для человека, меряющего таёжные эти края своими пространствами европейского обывателя, сибирское пространство трудно соизмеримо и часто непредставляемо. Участки у охотников-промысловиков, по «европейским» меркам, — с их государства. Бывают и чуть поменьше. Границы и соседей знает каждый. Не только ближайших, по границе-меже охотничьих участков, но и за три-четыре соседа во все стороны.

Заброс охотников на их зимовья в этом году на верховья реки Бахты был как никогда сложным. Лето было сухим, и воды в реке для её прохождения к верховьям и её притокам — Бахтинка, Тынеп, Хуринда — было мало. Оттого для всех охотников-промысловиков главным было подняться по притокам батюшки-Енисея через обнажившиеся грозные пороги и дойти до своих избушек-зимовий с лодками, полными продуктов, топлива и техники — снаряжения на всю долгую промысловую зиму. Потому темы разговоров в эти дни касаются именно заброски в тайгу и всех сложностей, с ней связанных.

Утром, пока пили чай, весёлый и хмельной голос из рации радостно общал кому-то из промысловиков-соседей, что в речке воды совсем почти нет, да и становится она уже — почти всю льдом забило; вверх к избушкам уже не пробиться; пришлось бросить лодку и таскать хохоряшки до зимовья. За два дня натаскался так, что «сутки из избушки не выйду».

Толян, пока идёт эта радостная хмельная трепотня, весело смотрит на нас с Петровичем и показывает на рацию:

— Это Олег. С Тынепа.

— Далекое это? — спрашиваю.

— Да километров сто двадцать по прямой, — и, дождавшись секундной паузы, берёт микрофон: — Здорово, Олег!

Через пару секунд замешательства голос в радиии прибавляет «мажора»:

— Толян!! Ты?!

— Я. А ты, похоже, уже с утра принял...

— Да завёз сюда пятилитровую баклажку спирта. Я позавчера поднимался, и пришлось лодку бросить у большого порога. Он же почти сухой, без воды. Я и так его, и слева пробовал — куда там! Только винты у мотора побил. Ну, бросил лодку и таскался два дня!

— Да я уже слышал. Ну и чо, как спирт-то?

— Да он, зараза, рот сушит! Хотя выкинуть его куда-нибудь с этой баклажкой. Надоел! Я, Толян, зимовал тут прошлый год с такой же баклажкой спирта и с бидоном бражки. И до того мне эта баклажка надоела, что я отошёл подальше от избушки, нашёл где снег поглубже и закинул её в сугроб. Хрен с ней, думаю, весной вытает. Или будет чем заняться, ежели соскучусь по ней: возьму лопату и буду искать. Вернулся обратно, а бидон-то с бражкой стоит!

— И что, взялся бидон осваивать?

— А как ты думал?! Так ты слушай, Толян! Надоела мне эта бражка через пару дней. Его-то — бидон — не выкинешь так-то, чтоб не найти! Бросил я избушку и пошёл от неё и от греха подальше в другую избушку, вверх по Тынепу.

— Ага, понял. И чего? Ушёл от неё?

— Да куда там! Ты не поверишь! Взял рюкзак с харчами, что мне жена наложила. Прихожу в верхнюю избушку, довольный, что ушёл от бухалова. Пока шёл — дурь выпарилась, полегче стало. А как в избушку-то зашёл, печку затопил, чайник на неё поставил, думаю, надо подхарчиться с дороги-то. Сымаю рюкзак, думаю: чего ж там жена мне положила? А там — прямо за буханкой хлеба, луком и куском сала — полторашка лежит. Нюхнул — а эт жена самогонки положила! И ведь не сказала ничего! А?

Сквозь треск радиии долго раздаётся хриплый смех тынепского промысловика.

— Толян!

— Я здесь, на связи.

— Щас я за её здоровье ишо стопарик хлопну — и лягу... Я ж двое суток таскался, Толян. Всё, давай!

— Отдыхай, Олег!

Всякая хозяйка по традиции провожает своего мужа на промысел «под рюмочку», чуть из которой непременно отливается — батюшке-Енисею. А иная положит на дно коробки или рюкзака и такой сюрприз.

Ещё один голос пожилого человека в радиии. С треском, шумом, но понятно, что он разговаривает с кем-то из своего дома. По разговору чувствую, что этот дед из радиии не дома сидит, а в тайге.

Толян узнаёт его сразу.

— О, слышь — это дядя Миша. Ты знаешь, сколько ему лет? — спрашивает он меня. — Во-о-осемьдесят семь! И в тайге.

— Так он и сейчас на охоте?

— Ну да. С сыном заехал.

Дед Миша только что закончил разговор с кем-то из домашних — кажется, с дочерью. Толян, с утра поупражнявшийся в связи, прижал кнопку микрофона, от которого идёт болтающийся виток ещё «советского» шнура:

— Дядя Миша!

— Да, я... Кто это?

— Метео, Метео!

— А! Толя! Доброе утро.

— Здравствуй, дядь Миш. Как жив-здоров? Как дела?

— Да ничего.

— Обстановка как?

— Да как... Горели.

— Много?

— Да от устья Бахтинки сгорело. Километров шесть-семь. И в длину километров десять примерно.

— Да, у меня тоже по Бахте, по правому берегу, сгорело километра с четыре...

Все сходятся в том, что виною этим пожарам — «турики», как здесь промысловики называют туристов. Нынешняя техника — лодки, моторы, «Хиусы» — делает доступными ранее непроходимые для обывателей таёжные места.

Оказалось, не только у Толяна и у дяди Миши горело.

Пожар в тайге — беда двойная: на пожарищах нет леса, а потому и нет зверя, за которым промысловик ходит в тайгу. Разоряются зимовья со всем налаженным бытом, избушками и запасами продовольствия. Большую часть продовольствия хранят в железных бочках, подвешенных на деревьях, чтобы не пограбил медведь или тот же соболь, мыши или другое зверьё. Для надёжности крышки к ним приворачивают болтами. Но вот пожар... Трудно приходится охотнику, добравшемуся до пожарища...

В динамике рации — неразборчивый позывной и расстроенный женский голос:

— Ты добрался?!

И сразу — отзыв:

— Да, тут я.

— Да что же такое, мать же твою перемать?! Мне передали, что у тебя всё сгорело! Все продукты! А? Это что же такое — без продуктов-то в тайге?!

— Да ничего. Огонь много тайги пожёг, вся сопка голая. А избушка цела. Метр до неё огонь не дошёл.

— А продукты-то, продукты?! Я ж тебя про продукты спрашиваю!

— Да цело, кажется, всё. В бочке пока ещё не проверял, может, там ещё чего-то осталось, она на берёзе висела. Глухарей ещё полмешка.

— А ты хоть ел?

— Да два дня шёл по гари. Одежда вся чёрная от копоти. Пришёл, пиццу поджарил, стал есть её, а меня рвёт от этой гари. Три раза брался — не могу, выворачивает. Дыму наглотался, оттого и не могу.

— А в верхней избушке как продукты?

— Да я сразу к ней пошёл, а она вся медведем разворочена. Сейчас тут, на гари, разберусь — пойду избушку делать.

— Ну, ты, ежели совсем будет худо, тогда к Лёше иди.

— Да ничо. Буду по новой венцы избушки собирать.

— А то хоть и к Лёше иди. За сутки-двое доберёшься. Хоть вдвоём там будете.

Разговор перемежается вздохами матери и молчанием сына, которое он прерывает словами:

— У меня батарейки уже садятся.

— Ну ладно тогда... Ты тогда замени их, я в три тебя вызову... Слава Богу, продукты хоть целы... Давай я опять свяжусь без десяти три.

— Мне сходить ещё надо хоть воды принести. Попить.

— Ну ладно, иди. Я без десяти три буду на связи...

Разговор закончился. Но через минуту тот же обеспокоенный голос матери снова пробивается сквозь шипение:

— Мирный, Мирный...

И опять:

— Мирный, Мирный! Лёша!

Это мать беспокоится уже за другого сына. Он тоже на промысле. Там, в тайге.

Вертолёт за нами прилетел «санрейсом» — так называют здесь, по Енисею, непредвиденные, внерейсовые полёты, когда надо срочно забрать кого-то в районный центр, на Подкаменную Тунгуску. Он, слышный своим стрекотом ещё за десяток километров, низко прогремел над нами, сделал обычный круг над Бахтой и зимовьем, оценивая обстановку. Вернулся и, тяжело зависая жёлтым брюхом, присел на галечник, поднимая винтами снежную круговерть. Через минуту под нами уплывали крыши зимовья, машущий нам рукой Толян и бурлящее устье ручья, впадающего в Бахту. Позади остались зимние предстоящие заботы Толяна, его охотничья удача, а ещё — множество историй, так открыто рассказанных в общем для простора Енисей-батюшки радиоэфире на частоте шестнадцать-семьдесят.

Бахта, зим. Холодный, 17 октября 2016 — Поньгома, 20 декабря 2016

Евгения Зуева

Лоскутки

Господи, прости меня за увиденное, услышанное и понятое!

Этот двор был длинный и узкий, как кишка... И кишка у меня была не тонка проходить каждый день из начала в конец и обратно, неся на плечах тяжёлый портфель — эдакий горб моих гипотетических знаний. Советские песочницы, яркие детские домики — таинственные островки ребячьей наивности и взрослой бесшабашности, привычный асфальт, исцарапанный белым мелом, и много-много зелени, прятавшей то, что было так очевидно. Говорят, когда-то тут было кладбище... Жильцы, роя очередной погреб, то и дело находили кости и пугали себя и других жуткими легендами о мифических призраках. Я не боялась смерти, потому что никогда не видела её лица. Я только знала, что так бывает, но как это случается — не ведала... Мне было семь, и жизнь рисовалась лёгким звонким шариком, прозрачной капелькой, тоненьким голосом и беззаботным днём, длившимся вечность... Кто-то должен был мне показать другую сторону жизни.

Его звали то ли Авдей, то ли Гордей, то ли Матвей — я не помню. Он всегда заходил к моей соседке за солью, но это был лишь предлог. Петровна знала об этом. Она приглашала его, угощала горячими щами и рябиновой наливкой. Он ей нисколько не мешал — тихий, порой задумчивый, сидел в углу маленькой кухни. Петровна возилась с домашними делами, напоминая старую усталую черепаху, а он развлекал её своими тихими рассказами и байками из прошлой жизни. Радист на флоте до последнего дня сохранил привычку слушать и слышать. Усталый от жизни бродяга поэтично повествовал Петровне о том, как звучат времена года.

Зима пела завыванием ветра, хрипела треском оконных рам, дребезжанием стёкол, хрустом упругого снега и истеричным дрожанием больных безвременьем карнизов...

Петровна реагировала на его абстрактные рассуждения обывательским брюзжанием:

— Вот, Сашка капусту не убрал, просила же, а солить всё это кто будет? Что за ребёнок, третий день дома не ночует... Поди связался с дурной компанией...

А он ей о своём...

Весна звучала разбивающимся хрусталём капли, раздражающим чавканьем талого снега, командным голосом нагловатых ветров, в которых чувствовалась римская порода Марка Аврелия, зорко следившего за их статью с пьедестала своей давности... А майские птицы галдели так, будто стояли в очереди за сказкой и им этой сказки не досталось...

Он уходил вовремя, не мешая ей, неслышно, как умеют уходить тигры на своих мягких лапах. А через неделю снова:

— Петровна, одолжи соли?

И опять Земля вертится, как и должна...

Он всегда выходил рано утром и медленно прогуливался по двору. Я не могла себе представить день без традиционного звонкого «Здрасьте!». Обычный утренний моцион — встать, умыться, одеться, собрать тетрадки, позавтракать, сказать «Здравствуй» то ли Матвею, то ли Гордею, то ли Авдею — и в школу.

— Здравствуй, дочка! — неизменно слышала я в ответ — тихо, медленно, по-доброму...

Он казался мне рассказчиком старинных легенд, прочтённых с плоскости древних свитков. Этот почти незнакомый человек был началом моего дня; барабанной дробью; колоколом, звучащим ранним утром на старинной площади; командой «Вперёд!».

Лето — самое шумное время года. Старый радист научил меня его слышать. Оно шумит, шумит, плещет, течёт, шуршит, шепчет, кричит так, что невозможно не слышать. Лето обрушивается на человечество высоченным небоскрёбом наспех сложенных дней. И уже никому никуда не деться, мы окунаемся в его звуки и запахи — добровольно.

Мужики во дворе не любили его — он был слишком мудрёным для них и постоянно обыгрывал их в карты. Они не слушали и не слышали то, что он говорил им. Его опыт был беспощаден, его язык метафоричен... Они его не слышали... А я как губка впитывала красоту лоскутков фраз и предложений...

— Ты знаешь, Авдей, водка — зло. А тёплая водка и в жару — зло в кубе.

— Что? На Кубе, говоришь?

— В кубе, в третьей степени то есть...

— Ну какое же она зло? Благо! Ностальгия! Высокие матери! Истина, хаотично текущая не всегда в нужную сторону! Помню: Гавана; занюханый бар; жара, липкая, как варёный картофель, в душном вагоне поезда — и ангел-официантка в потасканной юбке, разрешившая мне пить водку вместо их бессмысленного рома. Хемингуэй у виска... Моя пьяная голова лежала на книге и расплёскивала на мысли классика

беленькую. Мариэлена! Что за имя для официантки? Лу, Мими, Ханна — как клички дворовых собак, вертелись в моей голове короткие имена. Крикнул, и вот она уже тут... Но Мариэлена в старой юбке с прокуренным голосом и разбитой губой — цирк в опере...

Он уходил, и последнее слово всегда оставалось за ним, а мужики лишь презрительно смотрели вслед.

Соседке Петровне, скорей всего, надоело слушать витиеватые рассуждения старого бродяги, и он нашёл благодарного слушателя в моём семилетнем лице. Мама просила Авдея приглядывать за мной — чудаковатым ребёнком, испулавшим все свои мягкие игрушки в прибрежных дворовых лужах. С ним я училась слушать Осень...

Осень... Цветные лоскутки... Старая шарманка... Бакалейная лавка... Пыльный чердак... Табачный дым... Старая серая медлительная мышь, еле передвигающаяся в пространстве своих владений и умирающая от тяжести зимнего снега. Звук падающих листьев почти неуловим, как дрожание крыльев бабочек, как колыхание тонкой шторки от дуновения ветра, как шорох подола платья беззаботной девчонки, скачущей по лужам. Шуришание листьев под ногами — привычно нам всем, но расслышать момент их падения способен не каждый; пожалуй, только старый радист, поэты-романтики, которые скорей додумают, нежели услышат, и особо впечатлительные дети... Дети способны на многое... Им ничего не стоит перевернуть этот мир с ног на голову и показать взрослым самую прекрасную его сторону...

И дни тянулись так привычно и так понятно, и как я радовалась этой повседневной предсказуемости:

— Здрасьте!

— Здравствуй, дочка!

А потом школа, прогулки, уроки — и снова всё по кругу:

— Здрасьте!

— Здравствуй, дочка!

Становясь на год старше, в свободное время я шаталась с Авдеем по двору. Он видел во мне то маленькую девочку, то мудрого взрослого человека: то читал книжку о приключениях Алисы в Стране чудес, то рассказывал странные случаи своей жизни. Говорил, что был влюблён в загадочную женщину, и так живо рисовал её портрет. В сказках таких дам не бывает.

Её звали Ада. Она адски обаятельна, с повадками кошки, жутко прямолинейна; она любила красные кленовые листья, мужчин, танго и юбки в клетку. Правду не только говорила в лицо, но и не смущалась, слушая её в свой адрес. Когда мужик говорил ей: «У тебя толстая задница», — она отвечала: «Знаю», — и надевала юбку ещё короче,

убивая наповал правдоговорителя и случайно проходящих мужских особей. Ада регулярно спала с красавцами разного возраста и социального положения. Мужчины не были для неё объектом обожания, они для неё были скорей братьями по человечеству, соратниками по биологическому виду — не более. Она сортировала мужчин по цвету рубашек и делилась своими наблюдениями с молодёжи начинающими стервами. Белые рубашки принадлежали служащим, интеллигентам, бизнесменам среднего звена, а порой и официантам местных забегаловок; синие и все оттенки тёмных цветов носили бойкие спортсмены и наглые мужчинки, напоминающие бойцовских петухов; в рубашках нежных оттенков ходили романтики, страстно желавшие поговорить под звёздами; цветные гавайки носили жиголо и приезжие туристы, случайно появившиеся в доме Ады. Были и те, кто без рубашек, но история умалчивает об их категории.

В третьем классе первого сентября я не пошла в школу. День был пасмурным — нет, даже плаксивым, серым-серым... Его, наверное, не смогли бы раскрасить даже яркие букеты спешащих в школу детей. У меня были новая форма и белоснежные бантики, из которых мама соорудила пышные цветы на моей головке каштанового цвета. В школу хотелось — там подружки и огромный глобус... Авдей рассказывал, что есть красивый город Прага, и мне срочно нужно было отыскать это место на глобусе. Там, далеко, за Карловым мостом, в запутанных сетях серых облаков, под красными крышами миниатюрных пражских домов, в сердцах спешащих куда-то людей, живёт история... Эти слова звучали как заклинанье... Я всё утро была рассеянна, торопилась, надо же ещё успеть вымолвить привычное «Здрасьте!». Егозой скакала по ступеням. Мама несла мой портфель, за дверью подъезда слышались дождь и звуки сирены скорой помощи. Я выбежала на улицу. У подъезда стояла машина, а два врача что-то обсуждали. На асфальте лежал человек... лицо его устремилось в небо... Это был Авдей, в старом чёрном пальто и с букетом листьев в руках. Я по-детски наивно крикнула своё звонкое «Здрасьте» мёртвому телу, а потом снова, и снова, и снова, — а в ответ тишина. Я трясла его руку, а он молчал... Тут подросла мама и закрыла мои глаза руками. В этот миг не было роднее и ближе человека, чем этот добрый старик. Это мне он собирал букет осенних листьев. Он делал это каждый год в первый учебный день. Так зарождалась наша с ним традиция... Мама отвела меня домой, и весь день я тихо плакала вместе с осенним поминальным дождём. Родители ничего мне не объясняли, они знали, что я всё поняла сама. Все опасались, что я замкнусь в себе. Поначалу так оно и было: я сидела в углу, как дикий зверёк, ночами плакала и просила купить мне глобус. Не люблю первое сентября — в этот день осиротела частичка моей души. Я узнала, какой бывает смерть. И некому сказать «Здрасьте»...

*Имеющий уши — услышит...
Имеющий глаза — увидит...
Имеющий разум — поймёт...
Имеющий сердце — простит.
Аминь!*

Юрий Костров

Рассказы

Рукопись, найденная под камнем

Километрах в двадцати пяти к югу от Норильска, на правом берегу какого-то ручья (может быть, это Правый Ергалах?), есть лесок — не лесок, роща — не роща... Пара ёлок и штук пять-шесть лиственниц, несколько берёз, кусты, трава... Когда мы заглушили вездеход и подошли к рощице — набрать дров и вскипятить чаю, — даже птицы там пели...

Мир раньше был огромен. Раньше!.. Хочешь — направо, хочешь — налево! Мало? Можно в землю зарыться! Не, не везде, но во многих местах. Мало? Можешь в небо взлететь — ну хотя бы выше ёлок и лиственниц!

По крайней мере, так рассказывал моему прапрадеду его прапрадед. Я пытаюсь объяснить это своему праправнуку — не получается! О, если б я был образован, как мой прапрадед, — хотя бы! Тот то же самое говорил о своём прапрадеде!

А подруги мрут и мрут. Слабые они...

Ну, так заведено у нас: от прапрадеда — к праправнуку. А кому ещё? Главное — когда? Только так мы можем поддержать свою численность! Вообще — жизнь своего рода! «Размножение, размножение и ещё раз — размножение», — как учил Великий... Во! Не помню! А в детстве, помню, учил!

Род, знания, сивили... целиви... — чёрт, не помню, склероз, наверное... Учёные говорят, что наши дети учатся хуже нас. Ну, дети — в смысле, потомки. А что поделаешь? Наступила екалогия... Нет, экономия... Нет, склероз!..

В общем, Жизнь сократилась! Жизнью мы называем, как нас учили, всё вокруг! Когда хочешь — направо, хочешь — налево! Мало? Можно в землю зарыться! Не, не везде, но во многих местах. Мало? Можешь в небо взлететь — ну хотя бы выше ёлок и лиственниц!

А теперь? Семнадцать тысяч единиц вдоль и, дай Бог, тысяча во семь поперёк! Дальше налево — камни, частью поросшие ядовитым лишайником, а частью — просто покрытые ядовитым налётом.

А вправо — поток. Нет, воду текучую ещё можно пить. Но до неё надо по камням добраться. Перепрыгивать. Летать-то мы уже практически не можем... А уж в заливчиках лучше и не пробовать...

И подруги мрут и мрут. Слабые они...

Вниз — ядовитые камни. Вверх — ядовитые камни.

Да ещё уроды!

Откуда они берутся? Откуда они взялись?

Прапрадед рассказывал, что ему прапрадед говорил, что раньше их и вовсе не было! Раз в какой-нибудь очень длительный период появляются... Да и не вредили вроде по-большому... Ну, разожгут пожар... Что-то возле него поделают... И исчезнут...

А вот прапрадед уже говорил, что уродов сделалось больше, пожары стали чаще, но ещё было терпимо. Хотя Жизнь и сокращалась.

Эх, то ли дело было раньше... Хочешь — направо, хочешь — налево! Мало? Можно в землю зарыться! Не, не везде, но во многих местах. Мало? Можешь в небо взлететь — ну хотя бы выше ёлок и лиственниц!

А потом... Я не знаю, что случилось потом... Я не могу объяснить это своему праправнуку!..

Потом мы разделились. Наши роды и семьи разделились. Не потому, что мы так хотели. Мы же всегда дружили. И подруг брали из других родов.

А подруги всё мрут и мрут...

Просто стало невозможно добраться до другого рода. И мы ушли сюда. Туда, где сегодня наша Жизнь!

Сейчас, когда я пишу эти строки, в нашей Жизни осталось две ёлки и семь лиственниц. Конечно, трава. Конечно, злаки, карликовая берёзка. А у потока — ива и ростки ольхи. Только, наверно, эта ольха уже не вырастет. Сколько я периодов живу, а она всё не растёт и не растёт.

Во — опять грохот! Такой низкий, что мои звуковые рецепторы его почти и не слышат. Но я-то знаю: снова уроды!

Во — идут! По камням перескакивают, не летают! Смешно!

Грустно — мы-то теперь тоже не летаем!

Уселись. Опять пожар будут устраивать! Хоть бы потушили потом... Не, сейчас-то чаще всего тушат. Вот раньше, когда хочешь — направо, хочешь — налево! Мало? Можно в землю зарыться! Не, не везде, но во многих местах. Мало? Можешь в небо взлететь — ну хотя бы выше ёлок и лиственниц! Нет, тогда не тушили...

Я не знаю, о чём это. Мне нечего сказать. А вам?

СЛАБОЕ СЕРДЦЕ

По северам, далеко-далеко от ближайших цивилизованных мест, тоже жили люди. Жили порой годами. Жили в одиночку и семьями. Жили, не видя никаких других людей, кроме редких геологов да вертолётчиков, за бесценок (а часто — за бартер) скупавших у рыбаков рыбу, порой мясо, а бывало, и мамонтовую кость и медвежьи шкуры. А за бесценок — потому что жизнь на Севере очень дорогая и транспорт дорогой.

А завезти надо всё: муку, сахар, соль, чай, крупы, боеприпасы, доски и главное — солёнку. *Солёнка — это жизнь!*

На побережье ещё кое-как (с огромным трудом) можно обойтись плавником, хотя я таких людей не знаю. А уже в нескольких километрах от берега без солярки просто не выжить: ни обогреться, ни сварить чего-нито, ни чайку хлебнуть. О санитарии без солярки тоже говорить не приходится (а на чём воду согреть?).

Вот и везли вертолётчики солярку и продукты (и водку, спирт, естественно), а вывозили — ну, уже сказано.

Некоторое количество лет назад жил в низовьях реки... а впрочем, какая разница, как называется эта река? — жил, короче, Николаич. Это примерно в тысяче километрах от Норильска — на полуострове Челюскин.

Я знал его более двадцати лет, и всегда он был мастером на все руки. Однажды из берёзы вырубил два «полетевших» торсиона (такая деталь у вездехода, без которой он ехать не может в принципе) — и ничего, доехали. Правда, это было значительно южнее, и это совсем другая история.

Жил тут Николаич широко. На главной его точке стоял большой дом из досок, с земляной засыпкой, оббитый рубероидом. Плюс два балка на других пунктах.

Место это было хорошо известно ещё со сталинских времён. Зэки придумали название — «Рыбодел». Рыбу они там «делали» — для себя и для начальства, естественно.

А ещё был у Николаича старенький вездеход — ГАЗ-47. Долго он с ним возился, шаманил — мастер-то, говорю, на все руки, — но сделал. Потом долго просил у «летунов» бензина (сорок седьмой только на бензине ходит). Наконец привезли.

Водила Николаич был не ахти, но ему ведь и ездить-то нужно было недалеко: так, перевезти лодку да моторы на пару десятков километров, ну, ещё, может, на охоту.

Да и безопаснее на вездеходе — и теплее, и от медведя (естественно, белого) в случае чего можно попробовать уйти.

А коли придётся завалить (а бить медведей Николаич не любил), так тросом зацепил и отволок к избушке. А там уж Николаич всегда рубил тушу на куски (шкуру не выделывал) и с помощью всё той же солярки сжигал в бочках. Говорил, при выделке возни много, да и вони тоже. А на запах могут прийти другие медведи или волки.

А теперь о другом. Чтобы потом свести концы с концами.

Овцебыков на Таймыре пытались акклиматизировать давно и несколько раз. Долго у биологов не получалось. Не приживались реликтовые животные, хотя ещё несколько тысяч лет назад огромные стада овцебыков бродили по Таймыру.

Тем не менее, когда в 1974–1975 годах часть животных завезли с Аляски, а часть — из Канады, выгородили им площадь в районе восточной оконечности озера Таймыр (заказник «Бикада»), дело пошло.

Быки прижились. Стали размножаться. В 1984 году их численность перевалила за сотню, а в начале девяностых годов забор снесли, и животные стали разбредаться по Северному Таймыру.

(В скобках замечу: всё было сделано по-советски. Канадские славились не помню чем, а аляскинские — другим. В результате скрещивания не осталось ни того, ни другого. Как это похоже на нынешний день.)

Впереди шли старики и молоденькие бычки. И тех, и других выгоняли из стад за профнепригодность — по старости или по молодости.

Первых овцебыков Николаич увидел ещё в 1993-м. Первого быка завалил в девяносто пятом году. Тогда это были ещё одиночки или сугубо мужские компании.

Позже стали появляться небольшие стада. Николаич, безусловно, браконьерил. Но кто-то рассказал ему, что уже продаются лицензии на отстрел овцебыков, и он по праву местного жителя бил сколько надо. Кушать-то хочется. Не всё ж тушёнку жрать.

А охотиться на овцебыков гораздо проще, чем на оленей, результат же — намного значительнее. Ведь бык — это «не только несколько килограммов ценного пуха, но и триста-четырееста килограммов прекрасного мяса».

Повадки овцебыков Николаич изучал в натуре. Да и геологи с вертолётчиками рассказывали — они-то люди грамотные, учёные. Рассказал кто-то и о том, как охотились в Америке на мускусных быков (их там так называют).

С вертолёта или небольшого самолёта выслеживали стадо, садились неподалёку. Поскольку овцебыки не имеют естественных врагов, они не убегали. Одна собака может удержать целое стадо.

Охотники (если их можно назвать охотниками) подходили метров на пятьдесят и убивали всех взрослых быков. Их место занимали бычки. Убивали бычков. Затем взрослых коров, потом приходила очередь тёлочек. Короче, за раз выбивали всё стадо.

Не помню, чего уж они у них там брали, но не мясо. И улетали дальше.

Но от вездехода Николаича одиночки убегали. Правда, далеко быки убежать не могут — сердце слабое. Не приспособлены они бегать на большие расстояния, в отличие от оленей. А если он заваливал одного из трёх-пяти животных — убегали остальные. Когда в районе базировки Николаича появились первые небольшие стада, он вспомнил эти рассказы. С каждым годом стада становились всё больше. Во главе каждого — пара матёрых шестилеток, пять-семь коров и несколько разновозрастных телят. Стада тоже убегали. То есть вели себя почему-то совсем не по канадским правилам.

Вот мы и подошли к сути повествования.

Прошло довольно тёплое для этих мест лето 2000 года. Николаич гнал вездеход на юг, на базу геологов. Стар он стал. Скучно стало одному и страшновато тоже. Годы... «Вот выеду в Норильск,— думал он,— оформлю пенсию... Может, напарника подберу...»

До геологов оставалось километров семь.

Вдруг в долине какой-то безымянной речки он увидел прямо по курсу здоровенного бычину — до него было метров триста. За ним, подальше, метрах в пятидесяти, пасся ещё один крупный бычара. А ещё дальше мирно щипали травку коровы и бычата, всего голов десять-двенадцать.

«Надо мужикам свежатинки привезти»,— мелькнула у Николаича мысль, в то время как правая рука уже тянулась за карабином. Левой он открыл верхний люк и, не снимая ноги с педали газа, высунулся наружу.

До быка оставалось метров сто. Николаич прицелился. Вездеход трясло по гальке и мелким валунам. Старый рыбак сбросил газ и выстрелил.

Он явно видел, что попал. Но подранок со всех ног припустился убежать, столкнулся со вторым быком, и через несколько секунд они оба смешались со стадом, которое ломануло с места в карьер.

Николаич плюхнулся на сиденье, переключил скорости и вдавил газ. Слишком крупные были валуны — скорость не набиралась. Стрелять в стадо не хотелось. Ведь старик не был браконьером в полном смысле этого слова. По-своему он даже любил животных.

Стадо прижалось к береговому обрыву и заняло круговую оборону. Клацая траками, Николаич медленно приближался, но выбрать цель не мог. И вдруг...

Два матёрых быка отделились от стада и выскочили на обрыв. Вездеход остановился. Николаич смотрел в оба. Быки сблизили головы и слегка бодались.

Позже Николаич клялся, что чуть ли не по губам читал их разговор, расшифровывал их толчки и боданье.

Один говорит другому, подранку: «Слушай, мужик, ты уже ранен. Всё равно не жилец». — «Да ничего, уйдём, убежим, не впервой». — «Все не уйдём. Начнёт сейчас палить — может кого из детишек или баб завалить». — «Да он меня искать будет». — «Вот именно. Поищет немного и начнёт стрелять. Так что уходи. Я уведу стадо, а ты уводи этого», — он мотнул головой в сторону вездехода.

Быки ещё раз сблизили головы, потом отступили на полшага, приподнялись на дыбы и бросились в разные стороны. Угол между направлениями был порядка ста двадцати градусов. Стадо галопом помчалось за одним из них.

Николаич выбрался из долины и помчался за вторым. На каменистой тундре чётко чернели пятна свежей крови. Бык явно уставал и наконец, зайдя в глыбовые развалы, остановился задом к охотнику.

Тот снова высунулся в люк и прицелился. Стрелять было некуда. «Эй, мужик,— крикнул Николаич,— поворотися. Давай быстрее кончать... чтоб не мучиться»,— закончил он про себя. Бык переступил с ноги на ногу и повернулся левым боком.

Грохнул выстрел. У быка подогнулись передние ноги, затем он завалился на бок.

Дальше — дело техники. Николаич сделал контрольный выстрел. Зацепил тушу за рога тросом и поехал дальше.

Мясо было как мясо. Вот печень — большая, килограммов на пять, а то и больше — кто её взвешивал? А сердце — маленькое, как у оленя. Слабое сердце... Не может он долго убежать...

А Николаич меньше чем через год помер в оганерской больнице от инфаркта. От пьянки, честно говоря. Не приспособлен он был к цивилизованной жизни. Сердце слабое оказалось...

Мария Ионина
«Купи слона!»

Отрывки из повести для детей
старшего дошкольного
и младшего школьного возраста

Победитель краевого литературного конкурса имени Игнатия
Рождественского в номинации «Произведения для детей»

ЧАСТЬ I. ФОН

Папа никогда не смотрит мультики. Но мне кажется, это не потому, что он взрослый, а потому, что много работает. Папа — врач. Кроме того, что он лечит больных, он учит студентов тому, что и как нужно делать, чтобы больные выздоровели.

— Пап, я могу стать режиссёром-мультипликатором, как, например, Гарри Бардин? — спрашиваю я его.

Я второй год занимаюсь в детской мультстудии. Мы там придумываем истории, рисуем, фотографируем, озвучиваем. А в начале каждого занятия Ира (так зовут нашу учительницу) обязательно показывает мультфильм и рассказывает, как создавались самые первые мультфильмы, или про режиссёров. В общем, что-нибудь интересное. — Это несерьёзно, — считает папа.

В этот момент мама смотрит на него особенным взглядом, и папа тут же спохватывается:

— Нет, я, конечно, рад, что у тебя такое увлечение, но, понимаешь, детское увлечение вовсе не обязательно должно стать профессией.

Мы втроём живём в обычной двухкомнатной квартире. Бабушка Катя живёт в соседнем доме, а к бабушке Тамаре надо ехать через весь город. Бабушка Катя — папина мама, ей до меня никакого дела. Как будто я ей не внук. Она вспоминает обо мне только в Новый год и день рождения и всегда дарит кружки. На Новый год — с Дедом Морозом и оленями, на день рождения — с цветами или кошками. Бабушка Тамара — дело другое. Она сочиняет сказки, катается со мной со снежных горок на лыжах и санках и всегда к моему приезду печёт ягодный пирог со сливками. Это такая вкуснятина! У бабушки Кати нет дедушки. Он умер ещё до моего рождения. А у бабушки Тамары есть дедушка Толя. Когда-то он был спортсменом, даже входил в сборную России, но однажды сильно упал и повредил спину,

поэтому передвигается только на инвалидной коляске. При этом он не унывает. Вырезает из дерева игрушки, выжигает картины и учит меня играть в шахматы.

Ещё в городе живёт мамина сестра тётя Света с мужем дядей Вадимом. У них есть дочка Янка и сын Павлик. С Павликом мы здорово играем, а с Янкой не очень — наверное, потому, что она девчонка, да к тому же жуткая зануда.

— Купи слона!

— Отстань!

— Все говорят «отстань», а ты просто возьми и купи слона!

— Предложи Ире купить слона, — говорю я, но Аришка не отстаёт:

— Все говорят: «Предложи Ире купить слона», — а ты...

— Максим и Ариша! — Ира подходит к нам. — Максим, давай-ка работай над фоном. Ариша, а ты наконец определилась, про что будет твой мультик? Вы не забыли, что конкурс на носу?

У Ариши тысячи идей. Сначала она решила снимать мультфильм про динозавров. Слепила огромного тираннозавра Рекса и яйцо, из которого должен вылупиться маленький динозаврик. Потом Ариша передумала и сказала, что будет сочинять историю про семью дельфинов. Нарисовала море, песчаный берег с пальмой и рыбацкую лодку, но в прошлые выходные Ариша посмотрела передачу про русалок и теперь думает, из чего же сделать русалкам красивые волосы.

— Ариш, может, тебе объединить все идеи в одну? Получится сказочный мир, где дельфины, русалки и динозавры живут вместе, дружат, общаются, — предлагает Ира.

Но Ариша не согласна.

— Знаешь, — она внимательно смотрит на Иру, — вчера воспитательница в садике рассказывала про собак, которые людям помогают. Я вот уже нарисовала сер... сен... симбернара.

Вообще, Ариша славная. И, быть может, я даже женюсь на ней, когда вырасту, если, конечно, Маша не вернётся из Краснодара, куда она уехала в прошлом году с родителями.

Что до меня, то я в этом году решил не сочинять свою историю. Мне очень понравилось стихотворение Даниила Хармса про кошку, которая порезала лапу.

Я слепил из пластилина трёхцветную кошку, в мультике она у меня будет идти на задних лапах, слепил людей, и воздушные шарик, и старичка-чудака, который принесёт их бедной кошке. Мне почему-то подумалось, что это должен быть именно старичок, такой, вроде Хоттабыча. Мама мне читала про него книжку. Он выдёргивал волоски из своей длинной бороды, рвал их и исполнял разные желания.

Осталось нарисовать фон. Это будет обычный город, как наш, с высокими домами, серыми полосами дороги и тротуара. Леплю я хорошо, а рисовать красками не очень люблю, поэтому фон рисую

долго. Вот Ира меня и поторопила. Мульттик-то к конкурсу должен быть готов. Я хочу выиграть главный приз.

Мама задерживалась, и, пока я её ждал, Ира разрешила мне ещё раз посмотреть мультфильм про спички. Там главные герои — две спичечные армии: спички с синими головками и спички с зелёными головками. Зелёные решили у синих территорию отнять, а синим это не понравилось. Началась война, которая закончилась тем, что все сгорели. Я, когда первый раз этот мульт смотрел, всё думал про Пашку с Янкой. Они вечно что-то делают: игрушки, книжки, конфеты, фигурки из киндеров. Даже кровать делают. Она у них двухэтажная, и они всегда спорят, кто будет спать наверху, а кто внизу. Я рассказал об этом Ире, а она говорит: — Всё начинается с мелочей.

Я хотел спросить, а как это, но тут в дверь заглянула мама:

— Максимка, собирайся, пойдём тебе куртку покупать.

— Мам, может, лучше в магазин игрушек или хотя бы в книжный, а?

— А когда холодно будет, ты книжку на себя наденешь? — засмеялась мама.

Мы попрощались с Ирой и вышли на улицу. На проспекте Мира играла музыка. Возле памятника Пушкину раскинулась ярмарка. Тут продавали всякую всячину: магниты, деревянные ложки, украшения, посуду, мёд. Возле фонтана стоял клоун с воздушными шарами.

— Мам, — дёрнул я маму за рукав, но мама увлечённо разглядывала серёжки из берёсты и не обратила на меня внимания. — Мам, — я дёрнул второй раз, — зачем тебе серёжки? Их у тебя дома целая шкатулка. — Но из берёсты у меня нет, — мама приложила серёжки к ушам и внимательно посмотрела на себя в зеркало, которое перед ней держала продавщица.

Мама странная. Я недавно попросил у неё бластер, а она говорит: «Максим, у тебя оружия — целый арсенал». И тогда я сказал точно так, как она сейчас: «Но ведь бластера у меня нет». Но мама так и не купила мне бластер, а серёжки себе покупает.

— Мам, а сколько воздушных шаров надо, чтобы взлететь?

Мама пожала плечами:

— Много...

Она рассчиталась за серёжки и сложила их аккуратно в карман сумочки.

— А много — это тысяча или миллион?

— Давай чуть позже посмотрим в Интернете, хорошо? — предложила мама. — Я думаю, там найдётся ответ.

— Ладно, — вздохнул я.

И почему эти взрослые так хорошо разбираются в том, что их ребёнку съесть на обед, в какой одежде пойти гулять и во сколько лечь спать, а в серьёзных вопросах они ничего не понимают?

— Пойдём за курткой, — мама взяла меня за руку.

—Мам, а шарик?

—Тебе он в самом деле нужен?

—Да!

—Ладно, выбирай.

Я выбрал зелёный шар с Ёжиком и Медвежонок, под которыми было написано белыми чуть выпуклыми буквами: «Трям! Здравствуйте!»

Ёжик и Медвежонок — мои любимые герои. Все мультфильмы про них я, наверное, раз пятьсот смотрел. И у нас дома есть книга со сказками Сергея Козлова «Всё о Ёжике и Медвежонок».

— Вот если бы у нас было столько шаров, чтобы поднять нас двоих, то мы бы отправились в Тилимилитрядию! — начал мечтать я.

— Ох, Максим, через несколько месяцев в школу, пора становиться серьёзнее. Что бы мы делали в твоей Тилимилитрядии?

— Как что? — удивился я. — На облаках бы катались, небы меняли, а я бы нарвал тебе и бабушке Тамаре по букету ромашек. Ты же любишь цветы?

— Я больше люблю, когда они растут и на них можно долго смотреть, фотографироваться с ними. А сорванные быстро вянут... Всё, пришли в магазин.

ЧАСТЬ 2. РАСКАДРОВКА

— Ему не мультстудия нужна, его в спорт надо отдать, закаливать, тогда и болеть меньше будет! Второй раз за месяц болеет парень! Куда годится?

— Отдали в том году в бассейн, после первой тренировки три недели с отитом дома сидели, после второй грипп подхватили.

— Давай отдадим его на единоборства.

— Вот и займись! — мама повысила голос. — Тебя никогда дома не бывает. Удели ребёнку внимание!

— Я, между прочим, на семью зарабатываю...

— Зарабатывает он, только что-то денег не видно!

— Мам, — позвал я.

— Ну вот, разбудил ребёнка!

— Я разбудил, ага, — хмыкнул папа.

Терпеть не могу, когда родители ссорятся, особенно когда они ссорятся из-за меня. Как сейчас. Раньше я ходил на кружок рисования к Лие Павловне и в студию керамики к Виктору Андреевичу. Потом Лия Павловна ушла на пенсию, а Виктор Андреевич уехал в другой город, и мама нашла для меня мультстудию. Папе мультстудия не нравится, он считает, что это занятие не для мальчика. «Да большинство режиссёров-мультипликаторов — мужчины, — всегда возражает ему мама. — Норштейн, Бардин, Котёночкин...» Папа не против режиссёров-мужчин, но он говорит, что от сидения за компьютером портятся осанка и зрение. «Надо зарядку по утрам делать! Нет, я за него (то есть за меня) возьмусь», — угрожающе говорит он в мамину сторону.

Но пока папа за меня не взялся. Он уходит из дома, когда я ещё сплю, а приходит, когда я уже сплю. И только в отпуске у него находится время поиграть со мной в бадминтон, попинать мяч, поплавать в речке. Поэтому я продолжаю снимать мультики, мне это нравится, и, по правде сказать, мне не слишком хочется заниматься всякой там борьбой, бегом или плаванием.

У Пашки с Янкой всё по-другому. Тётя Света записала Пашку на карате, а Янку — на художественную гимнастику. По выходным они всей семьёй катаются на лыжах и плавают в бассейне. Они просто помешаны на спорте.

— Максим, — мама присела на край дивана, пощупала мой лоб, — как ты себя чувствуешь?

Вместо ответа я покашлял и пошмыгал носом.

— Сейчас папа отвезёт тебя к бабушке Тамаре. Мне обязательно надо быть на работе, не могу я так часто больничный брать. Наденешь новую куртку.

— Зимнюю? Мам, середина октября...

Но мама укутала меня так, что дышать стало трудно. И колючий шарф повязала.

Когда мы сели в машину, я спросил:

— Пап, а почему я никогда не остаюсь у бабы Кати? Она ведь живёт в соседнем доме, а ты везёшь меня с температурой через весь город к бабушке Тамаре!

— Понимаешь, Макс, баба Катя очень боится микробов.

Мне это показалось смешным:

— Они ж маленькие, чего их бояться?

— Из-за этих маленьких мама неделями с тобой на больничном сидит, — заметил папа.

— Она же при этом их не боится?

— Не боится, — вздохнул папа.

— И бабушка Тамара не боится? И деда Толя? И ты?

— Знаешь, в медицине есть такое понятие — фобия.

— А что такое фобия?

— Это когда человек чего-то боится. Очень сильно боится, так, что это влияет на его состояние, на его жизнь. Это такой страх, который практически невозможно преодолеть самому. Есть люди, которые боятся, например, пауков или не могут находиться в замкнутом пространстве.

— Как это — в замкнутом пространстве?

— Например, в кабине лифта или в комнате, где нет окон. Они сразу начинают плохо себя чувствовать, у них может повыситься давление, их может затошнить... Для всех этих состояний есть свои названия. Если человек боится пауков, это называется арахнофобия, а если замкнутых пространств — клаустрофобия...

Что мне нравится в разговорах с папой, так это то, что когда его о чём-то спрашиваешь, он никогда не говорит, что мне рано об этом знать, и не переводит разговор на другую тему, как другие взрослые.

Я задумался. Вот я боюсь собак. Особенно огромных дворняг без намордников. У меня прямо сердце в пятки уходит, когда я даже издали вижу собаку. Получается, у меня тоже фобия? Собакофобия? — Вот и у бабы Кати тоже фобия, — донёсся до меня голос папы. — Почти приехали.

Он повернул во двор и затормозил у второго подъезда.

— Бабушка, а мы будем делать новогодний костюм?

— И кем ты хочешь быть? — прищурилась бабушка.

До Нового года было больше двух месяцев, но у нас с бабушкой правило: новогодний костюм мы всегда придумываем и делаем сами. Мама сначала говорила, что надо пойти и купить готовый, но сейчас махнула рукой.

— Может, сделаем из тебя инопланетянина? — предложила бабушка.

— Не вариант, — отозвался я. — Пашка Миронов вчера хвастался, что будет инопланетянином.

— Хм, — бабушка помолчала немного и снова предложила: — Тогда давай драконом?

— Не, драконом тоже не получится.

— Почему? — поинтересовалась бабушка.

— Видишь ли, дракон — огнедышащий, а у нас противопожарная сигнализация.

Бабушка понимающе кивнула, и в тот же момент меня осенило.

— Бабушка, я понял, кем хочу быть! — закричал я громко.

— И кем?

— В этот Новый год я буду чудом *в перьях!*

— Интересный костюм, — одобрила бабушка. — Только где мы возьмём столько перьев для его изготовления?

— А помнишь, в магазине, где ты покупала тёте Свете в подарок набор для вышивания, были и разноцветные перья?

— Это сколько перьев-то надо купить! — ужаснулась бабушка. — Нам тогда на праздничный стол денег не хватит.

Я нахмурился.

— Ладно, — сказала бабушка, — что-нибудь придумаем.

— Привет, — сказал я Пашке.

— Здорово, — ответил он и протянул мне руку. Ногти у Пашки были обгрызенные, пальцы в заусенках. — Опять болеешь?

— Угу, — кивнул я.

— А у меня завтра соревнования, — сообщил Пашка. — Жалко, что ты болеешь, а то пришёл бы посмотреть, как я их всех...

И Пашка резко дрыгнул ногой, угодил прямо по бабушкиной любимой вазе, но, к своему счастью, изловчился и успел её поймать. Тут он увидел кормушку.

— Ого, прикольно. Сам сделал?

— Дедушка помогал. Осталось только шкуркой обработать, а потом её красиво раскрасу.

— Ты думаешь, птицам важно, какого цвета будет кормушка? Им главное, чтоб в ней корм был. Кстати, пойду спрошу у бабушки, что вкусенького есть.

Пашка ушёл на кухню. Слышно было, как бабушка гремит кастрюлями и тарелками, греет для Пашки суп. Пашка такой обжора.

— Ой, какой домик! Можно посмотреть?

Я и не заметил, как Янка появилась в комнате.

— Можно, если осторожно, — я протянул Янке кормушку. — Смотри не занозись.

— А где вы её повесите?

— На балконе, наверное, — пожал я плечами.

— Ой, как здорово! А какие птички будут туда прилетать?

— Голодные, наверное.

Янка могла задавать вопрос за вопросом, и надо было как-то её остановить. Пашка в таких случаях действовал просто: давал сестре щелбан, Янка надувалась и уходила. Но я так не мог.

— Максим, я понимаю, что голодные, а какие именно? Вот голубь в ней не поместится.

— Голубям и так всегда больше других достаётся. Ян, бабушка шарлотку испекла, ты иди поешь, а то Пашка всё один слопает.

— Не, шарлотку мне нельзя, — вздохнула Янка. — Я ж гимнастикой занимаюсь, мне толстеть нельзя. Наверное, синички и воробышки будут прилетать?

— Догадливая, — пробурчал я.

— А что кушают синички и воробышки?

— Янка, купи слона!

— Чего?

— Все говорят «чего», а ты просто возьми и купи слона!

— Я тебя про синичек и воробышков спросила, а ты мне про слона...

Тут из кухни вернулся Пашка, он облизывал с губ сметанный крем.

— Яница, ты опять к Максусу пристаёшь? Иди к маме, у нас мужской разговор будет.

— Подумаешь, мужчины, — Янка закусила нижнюю губу. — Ну и пожалуйста! — и она вышла из комнаты.

— Что за мужской разговор? — поинтересовался я.

— Да это я так, чтоб Янка не мешалась. Хочешь, я тебя паре приёмчиков научу?

— Опять что-нибудь снесёшь, — засмеялся я.

— Смейся-смейся, — надулся Пашка. — А вот преступники нападут — что делать будешь?

— Давай летом на даче научишь? Хорошо?

— А вдруг до дачи на тебя кто-нибудь нападёт?

— Не нападёт, — отмахнулся я. — Слушай, а давай на даче кино снимать? Я попросил папу подарить мне на день рождения видеокамеру.

Как ни странно, Пашка заинтересовался:

— А про что кино-то? Если боевик, то куда ни шло... Я буду как Брюс Уиллис, всех раскидаю: раз-раз, — Пашка снова начал размахивать руками и ногами.

— А кто такой твой Уиллис?

— Ты что? Это такой мужик, он круто дерётся в фильмах! Мне папа показывал с ним кино...

Я не люблю, когда дерутся. Конечно, если по делу, если защитить кого-то, тогда да... Но я пока ни разу не дрался. А Пашка всегда дерётся. Тётю Свету даже в школу несколько раз вызывали из-за того, что Пашка кому-то нос расквасил...

— Может быть, — сказал я.

— Паша, — позвала из коридора тётя Света, — собирайся, нам пора!

ЧАСТЬ 4. ОЗВУЧКА

Ира включает диктофон, и я начинаю читать:

Несчастливая кошка порезала лапу,
Стоит и ни шагу не может ступить...

— Погоди, Максим, — останавливает Ира. — Не торопись так. Читай спокойно.

Я пробую снова:

Несчастливая кошка порезала лапу,
Стоит и ни шагу не может ступить.
Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу,
Воздушные шарики нужно купить!

Ира щёлкает кнопкой диктофона:

— Максим, представь, как больно кошке, ей нужна помощь, а ты рассказываешь так, будто сделал что-то плохое и боишься в этом признаться.

Не думал я, что так сложно стихи читать. Я стал читать третий раз:

И сразу столпился народ на дороге,
Стоит, и шумит, и на кошку глядит,
А кошка отчасти идёт по дороге,
Отчасти по воздуху плавно летит.

— Так лучше, — похвалила Ира. — Давай ещё раз всё стихотворение, а я потом выберу лучшую запись.

— Ага, — вздохнул я и прочитал.

И знаете, мне даже самому понравилось, как получилось. Только голос из диктофона кажется чужим.

Часть 5. МОНТАЖ

А перед Новым годом в мультстудии был утренник. Я пришёл в костюме чуда в перьях.

Праздник у нас — это всегда весело. Мы угадывали и пели зимние песни, ели фруктовый пирог, который испекла Аришина мама, а ещё лепили из пластилина родителей, а они должны были угадать себя. Себя угадала только Аришина мама, потому что Ариша слепила её с пирогом в руках. А моя мама, когда увидела себя, рассмеялась, а потом спросила: — Сынок, неужели я такая толстая?

— Совсе нет, — сказал я, — ты не толстая, ты мягкая, а мягкого должно быть много, чтобы уютно было.

После чая с пирогом Ира попросила не расходиться.

— Пришли результаты конкурса, — сказала она. — Я хочу, чтобы вы посмотрели работы победителей.

Я затаил дыхание. Я думал, Ира сейчас назовёт мою фамилию, но она назвала какого-то Лёву из Новосибирска. Он снял мультфильм о подводном чудовище, у которого не было друзей, а потом они появились.

«Ничего, — подумал я, — второе или третье место — тоже неплохо».

Но второе место заняла Яна с очень длинной фамилией. А третье — Ариша со своими сенбернарами. Я хотел за неё порадоваться, но у меня почему-то не получилось. Зато Ариша соскочила со стула и стала прыгать так, что косички подпрыгивали вместе с ней.

Вдруг до меня донеслись слова Иры:

— Ребята, мультфильмов на конкурс прислали много, поэтому жюри решило сделать две номинации: мультфильмы, снятые по авторским историям, и мультфильмы по литературным произведениям. И во второй номинации первое место занял... Максим Тишкин.

— Ур-р-ра! — завопил я, и мама тут же сделала мне замечание, что надо вести себя прилично.

— Поздравляю победителей! — улыбнулась Ира. — Призы нам выслали по почте, и, наверное, они придут после Нового года.

— А какие призы? — спросила Ариша.

— Пока не знаю, — пожала плечами Ира.

— Вот бы волшебные серебряные ботиночки, как у Элли из Изумрудного города, — начала фантазировать Ариша, топнула ногой и повернулась вокруг себя.

И это мне мама говорит, что я фантазёр?

Когда мы вышли на улицу, шёл снег. Он совсем не торопился, падал огромными хлопьями и оставлял следы сразу везде: на крыльце,

деревьях, скамейке. Мы с Аришей задрали головы, высунули языки и стали ловить снежинки. Мамы тут же хором закричали:

—Максим!

—Ариша!

А я подумал, что, наверное, наши мамы просто забыли, что значит быть ребёнком. Ведь не может быть так, что они в детстве ни разу не ели снег и не валялись в сугробах?

Альбина Мамаева

Рассказы

ЗА «БЫЧКАМИ»

Мише Хомайко, неисправимому курильщику

Ой, девки, у нас сёдни праздник! Мужики с охоты ворочаютца. В избе со вчерашнево дни пирогами пахнет. Чёлядь к окошкам прильнула. Чуть где вертолёт загудел — на крыльцо выскакивают. А как же? Нады поглядеть, откуль летит. Не наших ли везут?

Слава Бох, дождались! Из порта привезлись на машине. Сам забежал по ключи от завозни да лопатину лишну с себя сбросить. А от челяди сразу не убежишь, стоскнүлись об отце: хто на шею повесился, хто за коленки имат. . . И так-то нечасто ево видят, а тут — ну-ка! — боле месяцу дома не было! Стáрши кое-как оболотклись, побежали пособлять.

Мужики-то добытчики! Уж как бы чижало не жили, а сроду не голодовáли. Этот год опеть немало набурóвили — пóлон кузов кулей да яшшиков. Давай оне таскáтца в завозню да в казёнку — сохатину да рыбу мёрзлу, клюкву да пушнину. Напоследе в избу заташили одёжу лесову да постéлю. Ково выстирать, ково починить. А как?! Всё нады к месту прибрать. . .

Мало-мáло всё распехали. Михаил забежал за паперёсами, вышел на крыльцо. . . Счас уж докуль досыта не накуритца, домой не загонишь. . .

Сколь ни валандались, всё-даки и вымылись наши охотники, и бороды сбрели. Расхаживают по избе босиком — по тёплому-то полу чё не походить? Глядят на всё впришшүрку. Это у них глаза от электрическа отвыкли. Зимóвья-то невысоки, дак оне и в избе каждой дверé кланяютца — боятся головой косяк задеть.

И по стопочке пропустили, и пирогами поужнали. А сами-то ишшо всем нутром в лесу. . . Толькя и разговоров, што об собаках да об пүтиках. Да где капкан здря поставили: мол, нады было кулёмку насторожить. . . Да ково не успели доделать. . . Да сколь накрóхи напрок заготовить нады.

Не остановить, дак всю ночь проразговаривают. . . А Михаил, гляжу, сколь сидит не сидит — опеть соскакиват: это уж ему курнүть нады. . . Оно это хто чево?! Уж не перву осень не берут с собой кúрево. По-ихнему, раз в лесу паперёсы взять негде — хошь не хошь отвыкнешь. Это он всё Галине обешшáтца бросить курить. Ну, я не стерпела, спрашиваю: — Чё, Миша, я гляжу, всё ишшо покуривашь? Не забыл, ково Галина-то сулилась сделать?

— Мольчи́ лучше! Кажду осень страшшát: «Так и знай, не бросишь курить — на охоту боле не поедешь!» Не знаю, как оправдыватца буду... — помолчал, поскрёб подбородок. — Вот никово с собой сделать не могу! Понимашь, я бы и бросил, да всё кака-то причина мешат...

Вот счас, примерно, вылетáть по-хорошему-то вчерась должны были, а с ночи така па́дера поднялась — не приведи Восподь! Какой тут вертолёт? Никово не видать! И делать не́ково, и не убежишь никуды. Сидим в избушке, как собаки на прívязи...

Даку у меня весь день из головы не выходит: хто по нас прилетит?

Хорошо бы Андрюха... Уж у нево-то как закон — пачка курева в кармане! Накурю-ю-юсь!..

Сижу, мечтаю, как курить буду. Аж слышу, как дымком потягиват... Ей-бох, нисколь не вру...

А потом — р-р-раз! Как шилом хто в бок ткнёт! Ну́ как Андрея не будет?! Или, не дай Бох, все лётчики некуряшши попадут?..

...Одёргиваю себя: да сколь у них некуряшших лётчиков-то? И чё, все соберутца вместе? Да не-е-ет... не может быть...

...А чё нет-то? Уж как заколо́дит, так и пойдёт... Вот — погоды нету! Те годá сразу вылетáли, а нонче сидим...

...Да-а-а... Так пойдёт, дак, может, и некуряшши будут...

...Или уж прилетит Андрюха, а за кúревом в магазин забежать не успеет...

Даку до чево довёл себя — к вечеру ни ись, ни пить не могу!

Сёдни вертолёт услышали, не поверишь — не помню, как до площшадки добежал! Первым делом в кабину сунулся — поглядеть, хто сидит. А оне ржут: видать, уж я шибко на́дико глядел.

Андрюха суёт паперёсу:

— Я говорил, што Хомаю заране раскуривать нады, а вы не верили!

Им смех, а я маленька не задохну́лся!.. Это вить хуже нету, как делать нечево. Было бы како задёлле, ишо не так всё же на курево тянет...

Серёга сидит, машет головой:

— Давай, рассказывай про задёлле! Не забыл, ково выдёлывал?

Михаил сконфузился:

— Не поминáй!.. Счас ишшо под ложечкой сосёт, как спомню... Даку тоже вить из-за погоды!

И взялся рассказывать:

— Осень-то кака была? Ты шутишь: к октябрю снегу по обóрину выпало! Из-за этово мы рано-то и улетели. И морозец хороший — на озере уж ледок стал. А потом, товаришш, зарядили дожджи́. Дня нету, штоб не лил! Куды в эку не́погодь пойдёшь? Сидим в зимовье. Спим да едим. На третий день Серёга погнал дрова заготовливать...

Сергей перебил и давай сам обсказывать, как дело было:

— А чё делать? Ладно — я! Я-то по хозяйству ленивый. Делать не́ково, даку могу до обеду проспáть. А после убежать по́удить на озере... А тебе вить работу давай! — повернулся ко мне: — Ты-то знашь, какой

он работяга. Уж здря не присядет, всё в работе. То собак кормит, то снег отбрасывает. То, погляжу, капканья направлять возьмётца. А уж добыча есь, дак спать не ляжет, докуль последнего соболя не оденет на пяло... Кажду тушку оснимат, обежжирит. Кажду лапку, каждую ушко расправит. Хоть счас на выставку! Вот дырки даки мне оставляют зашивать. Дескать, руки у нево к иголке непривышны...

А тут сколь дён с непогодой высидели?! Я и то пристал, а он уж дóстал! Не знат, куды себя девать... Я к нему и так, и сяк подступаюсь — никуды своротить не могу. Уж на рыбалку-то ево середí ночи разбуди — побежит врыссю. Думаю, позову поставить сеть. Маленько пониже зимовья така хороша ямка есь!

— Давай, Миша, сетушку бросим в ямку. Рыбки свеженькой нажарим.

Миша не то што чево — даже и голову не поворотил в мою сторону: — Давно ли её ели, рыбу-то?... Тебе охота пúтатца, дак иди ставь. Я не держу...

На друго утро дай, думаю, схожу промнётся. Миша уж на дровах. Колет. Зревел ево: мол, пошли — проверим кулёмки. Можеть, како поправить нады... Чё здря в зимовье-то сидеть? Дак он на меня с недобóром:

— Ишшо по екой шляче не ходили! Я и у зимовья-то новы брóдни кончил... все разбрюхли. Твои одевать ли, чё ли? Дак у тебя нога-то не сорок ли четвёртый номер? Эти маломерки на мои ноги и без носков-то не войдут. И так не знаю, в чём дохáживать буду...

Вот и поговори с ним! Он вить и на собак-то всю неделю косым не глядит! Читка, хитру́шша не на белай свет, и та не могла улестить! И кругом нево бегала, и взлаивала, и за штанину теребила... а потом легла, голову на лапы поло́жила. Уж глядела на нево, глядела... Хоть бы раз её погладил! Осердилась, убежала в лес...

Я уж, грешным делом, подумал: не изурóчил ли ево хто? Потом стал примечать: не успею отвернутца — он уж по-за печью возьмётца шаритца, сор выметать... То из-под нар всё выбуровит. Бытто приборку делает... А я чё, не вижу, што он уж все шшели прошерстил — не остался ли где маломáлишний окурочек?... Курить отошшáл, чё боле-то? Вот и вся болесь!

Тут мне пало на ум: мы уж года два мечтали новый пúтик наладить. Крюк сделать до избушонки Арсентьича. Места там хорóши. И недалёко. На «Буране»-то дивья, не пешком бежать. Да всё время выбрать не можем. Не успевам. А поглядеть нады крайнó. Балóк-от стоит как раз на зимнике — заежжают кому не лень. Как не поглядеть — уж шибко раззорили, дак работы не оберёсса. Могли и наготово сжéгчи...

Всё чётр с ним, главно — Михаилу нову заботу натти. Давай я ево подбивать съездить, а он: нет — и всё! Упёрся в эти дрова — топор из рук не выпускает! Я уж не знаю, куды их складывать, а он пилит да колет. Пилит да колет!

Как мужика-то корёжит!.. Я весь испереживался: долго ли головой повредитца? Да уж хоть бы из-за чево доброво... из-за кúрева!

Вот Якуня-Ваня! Я пошто сразу-то не смекнул, чем ево сомушпáть нады было?

— Миша, ты здря не соглашася. Подумал бы своёй головой: это сколь там наро́дишшу-то проежат! Ково толька лешак в эту избушку не водит?!

— И чё?

— Дак как чё?! У тебя, паря, без никатину мозги-то отсыхают ли, ково ли? Там вить поискать, дак «бычков» на всю осень насобирать можно...

Миша даже слушать не стал... С размаху воткнул топор в чурку и чуть не врысью побежал к избушке. У меня какэсь всё опустилось: вот чем ево расшевелить? Пропадат мужик-от...

А он добежал до двери, оглянулся:

— Ты чё сидишь, расшепéрился? Заводи «Буран»!

Я не двáдни запускался! Михаил прибежал, у меня уж и нарточка наготове, и «Буран» заведёнай. Он с разбегу упал в нарту, я газанул. Полетели!

Подобру́-то ехать нады бы речкой, а по тундрочке надёжне. Едем хóдко.

И надо вить — упёрлись в рúчей! Он всю зиму не мёрзнет. Как ево объехать? С какой стороны? По речке боязно... Долго ли у́хнуть?! А куды деватца?

Взял топорик, пошел опровер́дать — потюкал лёд. Да нет, толщина-то порядошна, должен выдержать... А-а-а, проскочим!

И хорошо вить поехали, хлёско! Миша как на свет народился... Какэсь на крыльях летим!

Проехали не так штоб далёко... Не понял... чё-то чижало пошёл... Кто чево там позаде́-то подёковалось? Затормозило чем-то ли, ково ли? Оглянулся — мать честна́! Задóк-то у нарты проседáт! За нами уж рúчей разлился! Вижу — Михаил, вместе с понягой, скатился с нарты на лёд. Я тоже недолго соскакивал! Адва успели отползти — «Буран» с нартой тут же ушли под воду...

Бытто живо соскочили, а воды всё же успели везде начерпать. Лежим мокрэхоньки. Ну, под нами-то вроде лёд не трешшит... Слава Бох, поняга с нами осталась.

Тихоньку подползли к краю. Заглядывам. А вода до чево светла! Всё видать. И «Буран», и нарту. А в нарте топор стоит — топорíшше поднялось в воде. Вот ево нады будет любыми путями доставать. Верёвка в поняге. Завязали на конце петлю, давай прицеливатца, имáть. Выташили вить топор-от! Доку́ль глядели — казалось, до «Бурану» чуть ли не рукой достать можно... А верёвку размотали — паря, близко коло двух метров будет!

Чё делать? Обсушитца бы где...

От нашей-то избушки не успели далёко отъехать, пешком добежать — и то простыть не успем. И печка натоплена... И для сугреву есть чё пропустить.

Переглянулись... Бычки пересидели — заковыляли к Арсентьичу. Ну не может быть, штоб в таком месте их не было!

Балок, слава Бох, ништо не сожёт. Живой стоит. Не здря бежали! И «бычков» навалом! Натрясли из них табаку на газетку, накрутили цыгарок.

Накури-и-ились!.. И с собой взять хватило.

Погода вскоре наладилась, заподморáживало. Всякими правдами и неправдами «Буран» мы достали.

Миша всё же вставил своё слово:

— Вот ты, Серёга, хоть сколь говори, а я думаю: што вино, што табак — это от обездэля! Как охота хорошо идёт, дак рассидиватца нековды. Бывало, за однем сободем пробéгашь дó ночи, до зимовья-то доберёшься — язык уж на плече. А в избушке и печку нады растопить, и собак накормить, и себе поись направить. А после ужны ишшо одéжу развешать, добычу оснимать... Да на нары-то без памяти упадёшь. Какó курево на ум падёт? А вот как без работы сидишь в зимовье день да другой...

Михаил выпятил подбородок, поскрёб ево пятернёй. Похлопал по карманам — пачка на месте...

— Паря, однако, пора курнуть.

Прозвишша

Приехал в колхоз новый механик. Парень холостой. И слава Бох — ізбу просить не будет. Определили ево на постой к сёстрам — к бабе Шуре с бабой Ниной. Своих ребят оне давно на ноги поставили, а под старось надумали вместе жить: мол, не так тоскливо. Так двоём и поживают.

Василью у них поглянулось: изба светла, кругом чистота. Везде половики настелены да дорожки с кружками. На всех окошках занавески висятца, мережкой выбитые. Койки с панцирными сетками, пикейными покрывалами застелёные, с подзорами да с накидушками тюлевыми. У каждой койки настённый. На заборках да в простёнке вышивки приколочены — и крестиком, и гладью. Всё сведельно.

Старушки видать што добры, приняли как родново. Сразу за стол посадили, всево на свете наставили. Он сидит, ест, а баушки с двух сторон чашки подставляют.

Потом давай ево расспрашивать, как звать, хто он да откуда. Где учился да как из дому одново эку даль отпустили... Разговоров до полночи хватило.

Разбудили ево голоса.

— Шура, ты сёдни гнёзда-то кúричьи проверяла, нет?

— Я их де проверю? Всё утро в кутé ширюсь, завтрик направляю. Парню-то скоро в контору бежать. А с нима ково заспелось, с гнёздами-то?

— Да я вечор куриц шшупала, чернопёстра-то с яичком была, а счас проста! Снеслась де-то.

— У ней гнездо-то на пове́тях, в углу над яслями. Спóбзай, погляди.
— Без тебя бытто не знаю! Это Марья ревьёт: мол, её курица на наши пове-
вети залетела, а я бытто чужо яичко к рукам прибрала... Да така боль-
шерота, ревьёт и ревьёт — стыда в глазах нету, ославила на всю деревню!

Тут Нина увидела из-за занавески заспанново фатеранта.

— Вай, ревьём во всю голову, нё дали поспать парнишке. А ты, родимай,
почево соскочил? Полежал бы ишшо, понёжился. Ну как, выспался
на новом-ту месте?

— Вы-ыспался! У вас красота! Ишшо говорят, што в деревне уж нихто
добрый не живёт, одна, мол, нишшета осталась...

— А ты слушай их боле. Не знай уж, ково этому народу ишшо не
хватат, сколь ни давай, всё в жáбу мало! Так-то хочь к кому в избу
зайди — и небель всяка стоит, и настённики базарны навешаны, и
радиво разговариват — ково ишшо нады?! Рáne-то и попадаья не всяка
так жила, как нóнешны бабы поживают.

Василий умылся, оделся, зашёл к баушкам в куть:

— Баб Нина, вот вчера вы нормально со мной разговаривали, а сейчас
по-другому. Это што за разговор у вас такой?

— Ну дак конешно, тебя вить начальником поставят. Механик — это
тебе не конюх. Вот мы с тобой по-писаному и разговаривам. А меж
собой так б́ухам.

— А меня на́учите?

Старушки переглянулись, не знали, верить ему ли нет.

— Тебе вправду глянетца, или так, шпанíшь над старухами?

— Вправду, чем хошь побожúсь!

— Дивья, што поглянúлось. Пошто не научим-то? Научим. А ты сам-от
слушай пúшше да спрашивай.

Зáжили дружно. Фатерант старухам помогчí не отказыватца, а
оне ему про старину рассказывают.

Недели через две за ужной он поинтересовался:

— А чё, на Дворце местных никово не осталось? Ангарских-то?

Сёстры переглянулись.

— Свят дух Восподней, оне куды девались? Тебе это помстíлось, али
сказал хто? Это уж последни годá стали тунейдцев к нам ссылать, а
так-ту свои ишшо не все вымерли, Христос с нами...

— ...Дак за полмесяца ни в гараже, ни в конторе ни единой ангар-
ской-то не слышал, как всё равно одне поселенцы живут.

— Н-но паря, ишшо не башше... А тебе, родимый, хто про фамилии-то
обсказывал?

— Да нихто. Это я табель на зарплату взялся заполнять, вот и спросил
у мужиков, штоб никово не спутать. А Олег Васильевич подошёл да
и записал своей рукой.

Старухи переглянулись.

— Это што ишшо за Олег за Васильевич у нас такой? Он себя-то как
записал?

— Себя-то? Счас погляжу... Дюбой записал...

— Ва-ай, дак ты нашёл ково слушать! Ему бы толька насмешничать. Ишь ты — Олег он Васильевич! Ох ты, паразит ты, ходишь, подумай-ка, не погнушался казённу гумагу испортить. Он какой тебе Дюба-то? Сроду был Алик Колпаков.

Василий развернул свой табель.

— Да не может быть! Та-а-ак... Ну-ка, а второй вот — Василий Матвеевич Харча?

Баушки надцелись хохотать. Баба Нина утёрла слёзы подолом фартука:

— Вай, паря, до чево приставлённый! Харча-то — Аликов отец! Тоже Колпаков. У нас вить сроду заведено было — редко у ково прозвища-то нету. Я уж родилась тут да всю жись прожила — и то в фамилиях-ту скрость путаюсь. Дак хоть и мою фамиль спроси врасплох — не скажу.

— Баб Нина, а как у тебя-то фамилия?

— Дак Попова я. А по-деревенски-то Кóфтина да Кóфтина. А у этих сам-то Матвей со старухой сроду Фарчачьи были. Сына ихново, Васкью-то, с малолетства Харчей зовут. Женился на Шуре Бёлой, а парень — Алик Дюба. А вот Любу-то у них да Мишку Фарчачьими так и зовут. Вот тебе и поселенцы.

Баба Шура добавила:

— Колпаковы-то ишшо Иван Мазай да Настасья Фарчачья с Гришкой да Венкой.

— А-а-а! Это он, што ли, Гриша Колпак?

— Нет, не он, у Гриши Колпака фамиль Брюханов. И Фрося у нево Колпачиха.

— О! А у приседателя какá фамиль-то?

— Дак ты чё, и на нево табель сдаёшь?

— Нет, а мой-то табель он подписывать будет. Дюба тут указал: Ветерок В. И.

— Вай, ради Христа! Алик-от не одичал ли?! Сизых он, переправь счас же!

— Да-а-а! Вот бы сдал я табель... Ну ладно... А давайте-ка расскажите прозвишша у всех, хто на ум падёт, а? А я запишу.

Сёстры помялись. Как-то бытто неловко... Потом махнули рукой: а чё не рассказать? Прозвишша-то не ворóваны, так и так все знают. — Давай пиши. Ну уж ково забудем, другой раз допишешь. Сразу-то всех где упомнишь?

Посовешшались, с ково начинать.

— Ну, Поповых, кроме меня, Антонисовы да Ваня Шило. Ишшо учительша Апросинья Сергеевна, но уж у ней прозвишша никаково нету. Счас пойдём с верхново краю Верхотуровых шшитать. Мартелковы — Пётра Мартелович с Марьей, ихний зять Витя Черёмуха, дочь Нюра Елúха (ты не думай, это не в обиду: ростом она больша вышла

да стáтью — што тебе ёлка). Потом Миша Сога, Евдення Хархониха, Платоновичи — Вера с Иваном, Федя Хархонович. Сам Федя — Пихта, Генка у них Хархон вместе с Ванькей, Колькя Чёрный, а Вовка Рыжий (этих по масти прозвали). У Ивана Семёновича с Машей Волеговой сына Валерку звали Семёнчиком, а внука Бибой. Ты шшитáшь ли нет, Шура?

— Дак никово не пропустила, Верхотуровых-ту всех перебрала.

— Пановых даки тоже хватат. По нашему порядку сразу сколь: Марусья Смолячья, Вовка Шмычок, Ванькя Салáк, Костя Никифорович. С того краю Михаил Кобыча, Андрей с Натальей Степанячи (сын у них Мишка — Батя). Потом Иван Николаевич Долгай да Елена Барьжиха. Да Ананий Мартелович. У него Дуню с тёшшей звали Банчиковыми, Алика — Чигункой, а меньшово Кольку — Баночкой. Да племянник жил у них, Коля Быня. Наталья Илюшачья-то тоже вить Панова.

Тут баба Нина поднялась из-за стола, собрала посуду, утащи́ла в куть.

— Это хто чево? Друго время-то не нашли? Ужну заканчивать будем или списки составлять? Давай убирай свои гумаги, чайник-от простыл!

Сёстры взяли́сь таскать шаньги с пирогами, сметану с сахаром, конфетки подушечками да стаканья с запарником. Весь стол заставили.

Засту́кались в дверь. Зашла Наталья, колхозна кладовщица. Её тоже позвали за стол, да она отказалась:

— Время-то полно́, а у меня дома вся управа стои́т. Я вить к тебе, Василий. Отправь, ради Христа, завтра с утра ково-нить на подтоварник. Одново хоть мужика, пушай до обеда поработат. В анбаре пол весь сгнил, не сёдни-завтре прова́литца. А у приседателя один разговор: нету народу, и всё!

— Ну-ка, Михеевна, присядь-ка на минутку. Ты вить Панова?

— Панова. Мы, кроме Романа-то, все Пановы. А ты куды это нас записывашь?

— Да вот, деревню пофамильно переписываю. Да у ково каки́ прозвишша. Это как вы с нимя не запутываетесь?

— Это, родимай, как раз с фамилиями-то и путаютца. Сам знашь, в деревнях-то по сколь родни да однофамильцев живёт. Вот, примерно, наш Николай в школу пошёл, дак с ним в одном классе ишшо три Пановых Николая угадало. Ну-ка, нагрэзили где-то. «Хто?» — спрашивают. «Дак, однако, Кольша Панов...» Вот и разбирайся... А скажи прозвишше — сразу понятно чей. Один Коля Панов — Нос, Кости Никифоровича Кольша — Жучка. Третий — Мартеловича старший Коля. Вот у него никак не помлю, было ли, нет ли прозвишше-то: давно уж, молоденькай, сгинул. А наш Коля — Любавин. За то, што за мамой гонялся чуть не до школы, никуды от себя не отпускал.

— Вот-вот, мне интересно: как их придумывают? Я таких сроду не слыхивал.

Помолчали. Дворецки-то сроду не задумывались об этом. Родился человек — дали ему имя, дали фамиль и дали прозвище. Чё ишло нады? Так и живёт. Которым дак ни имя, ни фамиль не пригожаютца, одново прозвища хватат...

— Дак лешак знат, откуль оне берутца... — баба Шура развела руками и опеть склала их по грудью. Посидела. — Ране-то бытто по родовэ шло. К примеру, Игорёнковы — дак вся родовá Игорёнковы. Эвон сколь семей-то было: Кармишачьи, Фарчачьи, Илюшачьи, Антонисовы, Евдёнковы, Мартёлковы, Подлátовы, Сергúнины, Смолячьи... Это бытто давнóшны... А счас всё сбилось. Вот, возьми, Дуня Рожкова. И сама она, и Николай с Ньюрой — все Леванячьи. Внучек — Вовка Леванёнок. Всё по путé. Ньюра вышла взамуж за Михаила. Вся родова у него была — Кармишачьи. Отца, Яшку Кармишонка, ишло Пúчей звали. А Михаила уж — Кобычей. Ево старшу сестру Елену — Барыжихой. Или Завечёрковы, Домна с Таисьей. Взамуж вышли и мнуков дождались, а так и остались што Домна Завечёркова, што Таисья. Мужиков ихных, однако, никак не окрестили, врать не буду. А вот парень у Домны — Толя Зая, а мнучек — Коля Лёма. Таисьиная дочь — Катя Почтовска (всю жись на почте отработала), а зять — Миша Чипа.

Баба Нина поднаумила ей:

— Дак по работе-то не одну Катю зовут. Гли-ка, Григорий-от Федосеевич — уж не знаю, сколь он на этом месте-то просидел, а вить приклеилось: Гриша-животновод, и всё! Я дак у него фамиль-то и не слыхивала. Да Толя с Машей Лушниковы — обои портóвски.

— Вай, дак мы животновода-то пропустили, пиши ево к Колпаковым. А Ваня Турсунов? С первово дня Ваня Рабочий.

— А приёжжим-то тоже не обробели, надавали имён. Эвот хоть Карнаевы. Оне уж как свои. Трое братовей — все дóбры, ништо не похúлит. Меньшóй-то — Вася Бох. А Костинова Ивана (царство небёсно!) с чево-то Бананом звали. Откуль этот банан взялся? В те годá на Ангаре бананы-то не видали и не слыхали.

— Ну всё, Василий, хватит на сёдни. Из мóчи вышли с твоими прозвищами. Ково спомним, дак другой раз запишем. Глаза на сёдало сядятца, обои с Шурой испозевáлись сидим. И ты иди ложись, спокойной ночи!

Шура поднялась середí ночи. Тихоньку вышла из своёй спаленки нá избу. Где-то зашебуршало... «Что чево? Не мыши ли уж завелись, оборонíšна мать? Утре проверю, счас никово не видать».

Тут она кинула глаза на окошко...

— Свят дух Восподней, это хто тут? — зажгла огонь. — Вай, Нина, дак это ты... С ума меня свела... Ково ночью по избе-то пóлзашь?

— А ты сама ково тут забыла? Не гумагу ли с карандашом?

— Ва-ай, а ты почём знашь?

— Дак не хуже тебя, лежу-лежу, все бока отлежала, а сну никак нету. Поведи лешак парня вместе с прозвищами! Вот лезут в голову, и всё!

Хоть и невного спомнилось, а думаю: дай-ка запишу. Памятишки нисколь не стало, засплю.

Сёстры нашли кетрадку с карандашом, устроились у стола. Нина скомандовала:

— Ну, давай диктуй своих.

— Дак вот, у Евденни-то у Хархоновых Ивана вить Чабаном звали, а Вовку — Бóзей. Ишшо Васью с Ванькей наравне с отцом Салака́ми зовут, а Витькю — Пупсиком.

— А я про Никифоровича. У него вить трое ребят, все разны: Николай-от — Жучка, Валерка — Боб, а Виталька — Никиша.

— Нина, я не знаю, этих писать ли нет. . .

— Не спрашивай, про всех говори.

— Дак я про сельсоветских-то. . . Про Митрия-то Николаевича. . . У самово́-то я прозвишша не слыхивала. Анфисью-то Ивановну по-за глаза-то Фурцевой зовут. . . Ну што ты! Така представительна да грамотейка! Митрий-то её, однако, и сам побáиватца. А сын, Толя-то, у них Борово́к. Ох он и не любит, што ево так зовут.

— А у Михаила Попова, у Антонисовых, Вовка-то — Кандыба. Я не замечала, штоб сердился. А он пошто Кандыба-то?

Шура сколь-то время на Дворце не жила, к сыну уежжала ли, чё ли. За эти годá хто уехал, хто приехал. А об чём-то подзабылось. . .

— Дак ты чё, не помлишь? Оне на машине в Мостову́-то улетели? Да Вовка ногу-то изломал? У него лóмана-то нога вить сантиметров на́ пять короче. Так хромой и остался. Вот и Кандыба. О-о-ой, дефка, сижу, испозева́лась, а на постёлю лягу — куды сон деётца? Мне боле ништо на ум не падат. Пошли ложитца.

— Дак я тоже уж сплю сижу. А Ньюрку-то Сергу́ниных с Наташкой да Дуню с Катей Кра́сных будем писать? Да ишшо Ариша Митина, а сам Митя, отец-от её, тот Поп. Черкни, штоб не забыть. Васья пушáй сам глядит, нады ему ли нет. Гляди-ка, а в Шилиной-ту избе, помлишь, Ваня Лыма жил со старухой Марфой? Дак про него вить тоже анекдотов-ту немало было!

— Вай, желта в рот, Шуру-то Шмару забыли! Поведи лешай память! — Нина записала и рассмеялась. — А ты не помлишь, как из Ке́жем уполномоченный-то приежжал да как собранне-то собирали?

— Их сколь тут перебывало, уполномоченных-то! Кто упóмлит?

— Ну ты чё? Он ишшо подумал, што это у неё така фамиль! Неуж не помлишь?

— Нет-нет! Не слыхивала об этим. Но-ка сказывай.

— Видать, без тебя. Тогда вить с этим строго было, не дай Бох опоздать! На собрания-то до единого человека собирали. Народ сразу с работы, домашна управа вся стоит. Давайте, мол, начинать. А начальство спрашивают: все пришли ли нет? Говорят, так и так, одной Шуры Шмары нету. По неё уж сбéгали, вот-вот должна явйтца. Не успели выговорить — она заходит. Уполномоченный обрадовался: «Вот и Шмара пришла!»

Шура недолго думала: «А вот и п...юк сидит!» — как ни в чём не бывало повернулась, пошла к месту. Сперва-то все околели: ну-ка, при народе уполномоченново по-соробмски обозвать! Это вить на какво трафисся, может и к суду притянуть... Всё же не сдюжили, такой смех пробрал — в конторе стёкла в окошках ходуном ходили! А у меня и сейчас в глазах стойт: весь народ со смеху покатыватца, а уполномоченный головой вертит, не может понять, за што это ево матом обложили. — Не-е-ет, я никово про это не слышала. Ну, Шура дак Шура. А у ней не заржавёт, сроду ёка была. Чё думат, то и брякнет. — Пошли спать, а то ишшо поохоочем, дак наготово разломамся. Тогда уж до утра не уснуть будет. Спокойной ночи, родна!

ЧУЖА ДУША — ПОТЁМКИ

Лариска чуть не врысью бежала через улицу. На ходу обкрутила кругом шеи конец вязанки, заправила за вóрот. Запахнула пальтишко. По другу сторону увидала тётку Клавдэю, останавливатца не стала, обревела сыздале:

— Здорóво ночевала, тётка Глаша! — и побежала дále.

Баушка поворотилась на голос:

— Да слава Бох... Ириса, той-ка, той-ка. Я тебя уж не первый раз вижу на нашем краю. Ты к кому тут напрохóт-то бéгашь? — старуха долго не могла упомнить её имя, знала только, што на конфету ириску находит. Да так и привыкла.

Лариска задрала рукав, поглядела на часы, спятилась:

— А ты ли, чё ли, не слыхала, я уж неделю в Репалиной избушке доживаю?

— Ишшо не башше! Вы уж не разошлись ли, свят дух Восподней?

— Мы с чево разойдёмся-то? Все тут. И Гриша, и Пашка с Алькой.

— Вай, чё деетца: со стариками в одну-ту избу не вохóдите?

Лариска помялась:

— Да мы пúшке-то из-за Пашки. Он нонче в школу поступил. Оттуль через всю деревню ходить нады. Ну-ка, побéгай зимой, да наипáче в мороз! Мне, тётушка, нековды, сейчас хлеб из пекарни привезут. А ты заходи к нам, поразговаривам, — она повернулась и побежала.

«Но-но, мне не нады сказывать, из-за чево ушли. Сама соображаю... Выжили-даки девку-то!» Клавдэя направилась за ней в ларёк, хлебца взять горéчево. Не дошла — Файка в окошко состукала. Да... давненька к ней не заходила. В рáнешно-то время друг от дружки не вылезáли. Хоть та, хоть другá — спать не ляжет, докуль подружку не опроведат. Наговоритца не могли. А сейчас лешаковы-то ноги худы стаю́т — не до гостей.

Фая стретила у порогу и тут же напустилась на гостью:

— Гли-ка, ишшо малёнька — опять бы мимо просквози́ла. Меня хоть какой-то Восподь к окошку подвёл, увидала тебя. Ты пошто никак-ту не заходишь? Сижу вить тут, с кошкой разговариваю. Хто

услышит — скажут, старуха заговáриватца стала. А мне ково одной-ту делать? По всему дню прохлаждаюсь, не дай Бох никому...

Гостья заопрáвдывалась:

— Дак я бы как не зашла-то, кабы могла? Тоже нечасто этот год из избы-то выглядываю. Вот каки́ ходоки мы с тобой стали.

Хозяйка согласилась:

— Не бай, девка. Ты-то, гляжу, ишшо хлёско бегашь. А я нонче нога́ми наготово хáнула, — Фая присяла на лавку, потёрла ноги. — Вишь, прокляты́ — как разбарабáнило. И распариваю их, и мажу, и конпресы накладываю... Нихто не помогают. Боюсь на злу голову — не приведи Восподь обезно́жить. За мной хто тожно ходить-ту будет, за лежачей-то?

Фая было пригорюнилась, помольчала минутку. Плакать она сроду не любила. Чё плакать-то? Жива — и слава Бох!

— Ну чё, по деревне-то шла — стрéтила ково-нить? Давай обсказывай, где ково слышать.

— А я ково бытто увижу? Дóбры-то все на работах сидят. Одна Акéшина невеска обогнала меня, да и та без ума в ларёк бежала, хлеб из пекарни примáть. А ты не слыхала? Оне вить ушли от стариков-ту.

Фая покачала головой. Покумекала.

— Это уж не с добра́. Расстырили, чё бóле-то? Молодым вить слово сказать нельзя. Никово не слушаютца.

— Ты уж на Ириску здря-то не наговаривай. Девка-то от Христа от самовó родíлась. Я её с молодых ногтей знаю, худо́во слова об ней нихто не скажет, né за што похúлить. Уж до чево я жалела, как она согласилась в ихну сёмью заму́ж идти! В каку́ пору, девка, Гринька-то успел её окрутить?

— Ничё хитрово нету. Девчонка сиротой росла, а тут парень из армии пришёл. Да ишшо какой парни́на-то! Вся грудь в значках! Да ни на ково-нить, а на неё поглядел. Пригрел да приласкал — она и вся совсем.

— Эдак-эдак! Нековды было об свекровке думать. А свекровки тоже не все хороши-то. Которы дак от лешака. Ты свою-то спóмни-ка! Много ты от неё добра видала? А сколь через неё слёз выплакала?

Фая замахала руками:

— Тьфу на тебя, прости Господи! Тебе уж боле né об чем поговорéть? Она из меня и час ишшо кровь пьёт. Не поверишь, котору ночь пригрéзитца — так и жди, што захвораю. Тебе ли не знать, сколь я на неё трепáлась, а спасибо сроду не слыхала. Да чё об этим говорéть? Я у ней из дур не выходила.

— Ну вот, а Тоська-то не бáшше. Как Акешка с ней эсколь годóв вытерпел? А вить не последний парень был в деревне. Сурьёзный рос, наблюдательный. А какой башковитый — это уж от Бога.

— Я чё, не знаю? С какими ребятами Кешка в антернате-то жил, сказывали, книги из рук не выпускал. Дак дело дошло чуть ли не до тихо́во помешательства. Ну-у-у, што ты — было нагото́во зачитáлся!

Он вить классе в седьмом на меня поглядывал. А я как услышала, што у него с головой-ту заспёлося, боятца стала. Он походил-походил за мной, да и отступился. Вот тожно на Тоську-то и трафился. Видать, шибко я его обидела, не поверишь, всю жись на меня сердце дёржит.

Клавдѣя опять не сдержалась, она всё об Лариске переживала, жалела её с малолетства:

— Ох ты, бедна ты, бедна, Ириска! И угадала же на эту на гнусаву! Она и Кешку-то наготово заездила, за мужика уж никто не шшитат. И до чево хитрушша! Всю жись приставлятца, бытто хворат. Зиму и лето в тёплой полушалке ходит: мол, простывать никак нельзя. На работе-то ишшо сидит, а как всех конторских погонят на покосли на уборошну, во-от она и заумират! Глаза закратит, какэсь при смерти лежит. По домашности-то сроду Акеша управлятца. У ней самой-то, за што ни схватись, на всё причина. Корову доить — пальцы ревматизма крутит. Сенца скотине бросить — то крыльца ноют, то руки не подымаютца. Ведро воды с реки приташшить тоже не может — спина надсажена (где, у каково лешака она её успела надцадить?!). Все бегут в лес по ягоды да по рыжики, а Тоське плоскостопье по лесу ходить не даёт. Дак с челядью посидеть, невеску заменить — и то не может! — Вай, ради Христа, а она ково говорит, как отпиратца с челядью-то посидеть? Меня коснись, дак я бы со стыда сгорела.

— А ей чё? Так и говорит: мол, я к вам в няньки не нанималась, без меня нажили, дак сами и водитесь. Это вить смешно сказать: у меня, мол, нервы и так все истрепаны, и на вашу челядь терпения не хватат. Ты не забыла, оне с сестрицей-ту как росли? Одна от лешака, другая от дьявола! Вся околотка от них стоном стонала!

— Да, паря. Она их где истрепала, нервы-то? За Акентием-то дивья жить, этот уж лишний раз рот не разинет.

Фая перебила:

— Ва-ай, дак ты неуж вправду говоришь? У меня в голове не помешатца! А я вить никово не знаю. Ползала на днях к приседателю, заявленне уташшила, штоб дрова привезли. Дак уж Тоська невеску-то на всю контору страмотит последними словами. Уж така она и сяка. Мы, мол, со стариком на них работам, спину не разгибаю. Кеше-то, дескать, всё же полегче — побóле поработат, крепче поспит. А мне-то руководить нады, это тебе не кули таскать.

— Во-во. Руководить-то она научилась, по всему дню в избе ревишша — всё не по её делают. Одново Гришку жалёт. Я раз своими ушами слышала — он в общем огороде картошки огребал, а Тоська на него ревела: ты, мол, у ково научился бабью-то работу делать? Мир перевернулся — бабы мужиков оседлали! Дак я из дива вышла. Самой-то на Кешиной шее глянетца сидеть!

— А Акеша, он-то чё за девку не заступитца?

— Девка, дак он рад бы душой, да в своей избе вякнуть боитца. А эта поперёк стала: или я, или она! Спасибо, говорит, што самово

из избы не выгнала. Вот тебе и на! Всё на молодых грешим... Дак я и говорю: нету у этой Тоськи стыда, хоть чишай в глаза — ей всё Божья роса! — Клавдэя поднялась с лавки. — Пойду в ларёк спóлзаю, может, не весь хлеб-от уташшили. Да конфеток с пряниками возьму. Чё сидишь, как Исусик? Иди ставь чайник!

Фая забыла про коленки, сгреблась с лавки, заковыляла в куть. Нады ково-то на стол ставить. Клашка стряпню приташшит, дак её макать в ково-то нады — чё сухой-то давитца? Наклала на одно блюде сметанки, на друго вареньица. Ополоснула запарник, насыпала свежево чаю с душичкой.

Не успел чайник закипеть, Клаша уж тут как тут. Разболочлась, жакетку повешала на гвоздь у двэри. Катанки сымать не стала — поясница наклонятца не даёт. Да ноги на полу-то и в катанках не спотёют. Покосилась на зергляло, пригладила руками голову, подсяла ко столу.

Фая разлила кипяток по кружкам.

— А тебе из запарника закрасить или молочком забелить?

— Ково нальёшь, с тем и выпью. Лишь бы горечий был.

— Да-а-а, Клашка... дóжили — шаньги в сельпе берём! Самим стряпать ли́хо. Я дак и на праздники квашню не завожу — невеска таскát. Спасибо, не забывают меня.

— Дак твоя Верка-то сто сот стóбит. Ой, Файка, об праздниках-ту поднаумила, а ты не знашь, Пáска этот год в каких числах будет? — она покрутила головой, пошарила глазами в простёнках. — У тебя пошто численника-то нигде не видать?

— А он мне почево? Не на работу ходить. Ондала Вере, в ём всяки рецепты пропечатаны, поглянулся шибко.

— Ишшо не башше! Што уж за таки за рецепты нашли? В моём дак ничё доброво не печатают.

— Мольчй, девка, она лётось на курорты съездила, нагляделась на тамошных-ту бабёнок, вот и переняла моду — молодйтца здумала. Мázей оттуль навезла, дак дорогушши, никаких денег не хватит. Вот она в численнике-то вычитат, да и мажетца всякой всёчиной. Не успет с постели соскочить — первым делом выпатратца. Так и управлятца бегат: то вся в сметане, то в яичке обсохнет...

— Она вить, однако, сроду никуды дале Богучан-то не выежжала. Поглянулось ей на курортах-то?

— А кому не поглянетца? Дивья на всё-то на готовом. Имя там и постели-то не давали самим подбирать, не то што чево. Хоть выпалась тамака, дома-то не шибко отдохнёшь. Ишшо я навязалась на её голову. Почево бытто живу, чужой век заедáю? Это вить не всяки за своими стариками так ходят, как она за мной. Которы и к родной-то матери раз в год по обещшáнью заглянут, а Вера с Наташкой меня не забывают. Чё здря скажешь... А подарков-то прибуróвила с отдыху — пóлон кошель натóркала! Иди-ка в горницу, погляди-ка! — Фая откинула шторину. — Вишь, каку скатёрку-то привезла? С тистя́ми!

На сонце вся перелеётца, в избе-то от неё какэсь завоссияло! Я было заотпиралась: ну-ка, такую красоту от себя отрыват! А она: нет и нет, мамаша, это уж нарочи тебе брала! Дак ишшо и катётку цветиству ондала. Тоже с тистями. Я её не одею, уж така бравушша, жалко здря трепать... Пушай лучче меня в ней схоронят.

Клаша от её речей подавилась пряником. Фая соскочила на ноги, давай по спине хлопать. А та, едва прокашлялась, да заревела:

— Ожабэй, ты ково говоришь?! Чирей тебе на язык! Умирать она собралась!.. Брось даже думать. А и умрёшь, дак там не всё ли равно, в чём лежать? Пофорсила бы успела на этом свете сколь-нить, — гостья расстегнула у жёмпера верхну пуговку, подлила себе кипяточку. — Я у тебя не спрошу про Веру-то: она пошто взамуж-от не идёт? Лет пять уж как Лёню-то твоёво схоронила. Така хороша бабочка! Уж была бы кака-нить коса ли хрома, а то вить всё при ней. И фигуриста, а в руках дак всё горит. Нескóль уж без дела не посидит — пошёл и пошёл. — Мольчи лучче, Клавдэя. Выйди Верка взамуж, дак я бы языком перекрестилась. Напрохот ей говорю, штоб на меня не оглядывалась. Ты, говорю, кому себя берегёшь? Не девка вить. Годочки-то пролетят — не ворóтишь!

— Ты гляди-ка, чё дэетца! И самуё себя блюдет, и, шштай, две избы содоярживат. Это она молодчина. А как раздумашься: без мужика, наипáче с хозяйством, чижало вить жить-то...

— Дак как! В нитку бабёнка вытянулась. Охота вить, штоб наравне со всеми жить, не хуже других. Да ево де взять, мужика-то? Думаешь, в деревнях проходу нету от добрых мужиков? Не-ет, пúтных-то давно расхватили, с собаками не найдёшь. Не помнишь, в третьем годе она было совсем сошлась с однем кособыцким? Дак и мне показался не худой мужик-от, даром што из химиков. Такой резоннай! Всё про себя обсказал, хто и откуль, где родня живёт. Бил себя кулаком в грудь, доказывал, што выпиват толька по престольным праздникам, а так в рот не берёт. И, што характерно, любит, штоб всё чики-брики было: вчерашну рубаху ни за што не оденет, каждо утро чисту давай. Штоб у коровёнки или хоть у куриц вычистить — об этим и разговору не было. Да ему нековды было во клев-то заходить: по всему вечеру проводил на диванчике. Сидит у телевизеру, трубочкой попыхиват. И главно, обрати внимание, об чём бы в телевизере речь ни зашла, он уж всё знает! Видать, большово ума человек! Поглядела я на нево: ну, думаю, не по себе сук рубит моя Верка! Да, видать, не здря кособыцки-то поговаривали: мол, Валентин ваш на молодых заглядыват. Ну и чё? Году не próжили — снюхался с новой медичкой! Оне вить, молоды-то бабёнки, привыкли хвостом вилять.

— Вишь, как с приежжими-то связыватца! Вот и возьми их, это наш брат мужик — чё на уме, то и на языке. А этих химиков голой рукой не возьмёшь. Оне вить наехали все сплошь из городов, а там — сама знашь — грамотей на грамотее сидит.

— Дак вот... А деревенским бабам куды деватца? Думаешь ли нет? У меня дак это из головы не выходит. Ночами не сплю, лежу, глаза пучу,— Фая смахнула слезу, высморкалась.

Клаша прикрикнула на подружку:

— Реві-реві! Пóрти глаза-то! Ножонки не ходят, да ослепнешь — будет гирия на Веркину шею.

— Ты послушай, чё я придумала. Мне до этово проклятово ГЭСу-то не дожить. А счас выселять всех отцель хочут. Слыхала, деньги стали давать на ново жильё. Нам уж перевели... Дак сама знашь, за мою-то избушонку вного ли дадут? Вот я Веру и агитирую с моёй книжки снять да прилóжить к этим деньжонкам, штобы мне фатеру-то с двумя комнатами взять. Я бы сразу на внучку её и отписала. Сама знаю, што старость запускать нельзя, да живой в могилу не лягешь... Дас Бох, долго не заживусь, не успею им надойсьти. Сперва-то думала, никуды не пошевельюсь, в своёй избе век скоротаю. А счас сама их сватаю уехать отцель да обживатца на новом месте. Будет у Веры своя крыша, дак, мо́ить, добрый мужичок и припал бы к ней. Ты как думаешь, родна? А? — А чё тут думать-то? Ты круговой сроду не была. Мотри́-ка, как всё распановáла — нады бы лучче, да не́куды. По фатере у невески со мнучкой — куды ба́шше-то?!

— Мне вить посоветоватца-то не с кем. Не успею заикнóтца, Вера уж руками замашет — и в слёзы: мол, чё ты себя за́живо хоронишь? Как с ней разговаривать да советоватца? Не здря тебя, Клавдёя, Бох привёл, счас уж я утвердилась, што всё с умом делаю. Главно, успеть всё обстряпать, докуль сама шевельюсь. Буду знать, што оне при месте,— можно и умирать будет...

СЛОВАРЬ

В жа́бу мало	ненасытные, всё им мало
В ку́те ши́рюсь	в кухне вожусь, готовлю
Вы́жили	вынудили уйти
Вы́патратца	намазаться
До́сталь	ещё больше
Засплю	проснусь утром и не вспомню
Косым не глядит	здесь: не обращает внимания
Кулё́мка	ловушка на мелкого зверя
Кури́ть отошша́л	мо́чи нет, как хочет курить
Мало-ма́ло	кое-как
На́дико глядел	залетел, как ненормальный
Напрохо́т	частенько
Нарочи́	нарочно, специально
Наипа́че	особенно
Накро́ха	прикормка, приманка
Напро́к	на следующий год
Не два́дни	без промедления, очень быстро
Не знат, куды себя девать	не находит себе места
Не погнуша́лся	не постеснялся, не побоялся
Не́ за што поху́лить	практически без недостатков
Она и вся совсем	из благодарности готова на всё
От Христа от самово́ роди́лась	почти святая
Па́ло на ум	пришло в голову, подумалось
Поня́га	доска с лямками для ношения на спине охотничьего снаряжения
Подна́умила	напомнила
Помсти́лось	показалось, померещилось
По-соро́мски обозвать	матерными словами
Разлома́тца	перебить сон
Расстырили	поссорились
Сомушша́ть	здесь: заинтересовывать, уговаривать
Спя́тилась	отступила назад
Сто сот сто́бит	ей цены нету
Тра́фился	наткнулся
Туру́сит	во сне разговаривает, бредит
Ха́нула	ослабела, сдала
Хлёско	быстро
Хто на ум паде́т	кто вспомнится
Чужой век заеда́ю	старая, в тягость окружающим
Шпани́шь	подшучиваешь

Николай Вдовин

СКАЗКА О СИБИРСКОМ БОГАТЫРЕ

На море-океане, на острове Буяне
 томится бык печёный, а у того быка
 ни вшей, ни паразитов, и запах аппетитный,
 и, право, не простые, а вкусные бока:

в одном — чеснок толчёный, в другом — кинжал точёный.
 Ну чем тебе не блюдо? Кинжалом мясо режь
 и попробуй со сгущёнкой, а хочешь — с самогонкой.
 Не пьёшь? Оно и лучше: в чеснок макай да ешь!

Жуй смело, без опаски, ведь то ещё не сказка,
 а присказка. Проснёмся, поляну подметём,
 чтоб чисто было всюду, потом — сдадим посуду,
 а уж потом, под вечер, и сказку поведём.

А так как сказка велика, начнём её издалека.

До эры Интернета народы жили-были
 и сочиняли сказки о трёх богатырях,
 которые, спасая Русь-матушку, громили
 татар, Кощея, Змея в болотах и степях.

Сегодня их не сыщешь — ни Змея, ни Кощея,
 одно приятно: всюду полно богатырей.
 С одним из них знаком я и, значит, честь имею
 его представить лично, по-свойски, без затей.

Он сварщик. Проработал лет пять на производстве,
 всё в белую там: отпуск, сберкнижка и разряд.
 Достаточно, пожалуй, для первого знакомства,
 начнём повествованье на древнерусский лад.

СПЕРВА О ТОМ, КАК БОГАТЫРЬ ПОКИНУЛ РОДНУЮ СИБИРЬ

Жил-был в краю сибирском, таёжном и безбрежном,
сам Дмитрий Погорелов — российский богатырь,
имел стальные мышцы и силищу медвежью,
хотя ни разу в жизни не брал пудовых гирь.

Но вот собрался Дима проведать за границу,
взглянуть на иностранцев, себя им показать.
А главное, хотелось ему, как говорится,
ну, что ли, даму сердца, супружницу сыскать.

Я спорил с ним: «Ивану в невесты надо Марью!»
А он — ну ни в какую: «Заморскую хочу!»
То Голливуд, похоже, мозги запудрил парню —
решил бесповоротно: в Европу полечу.

А так как это сказка, он очутился там.
В стране горячих басков сочувствовал быкам,
в Париже видел башню, а в Лондоне — Биг-Бен,
держался скромно, важно, как частный супермен.

Но вскоре скис наш Дмитрий из-за понятной вещи:
буржуйские красотки не тронули его,
видал он звёзд эстрады, кино и манекенщиц —
подкрашены, красивы, но как-то... не того...

И тут в подпольном зале, в густом дыму табачном,
где в смокингх толпилось жульё, как вороньё,
а также те, кто крепко поймал за хвост удачу,
на освещённой сцене увидел он её!

Она была прекрасна. Она им танцевала,
не тронутая дымом и наглостью их лиц,
и сцена, словно пламя, цвела и полыхала.
Наш богатырь не ведал, что танец-то — стриптиз,

и что она — Франческа, о ней и про неё
буквально всем известно бульварное враньё:
у этой, мол, девицы любовников — стада.
А Димка, он — влюбился и понял: навсегда!

Вокруг официанты сновали осторожно,
и гангстер с полицейским в обнимку пил вино,
и в зал летела юбка, за нею — босоножки,
а Дима видел танец и чистое лицо.

Но что это? Он понял: девица раздевалась,
показывая тело без всякого стыда!
А эти ржут, как эти... В купальнике осталась
пластичная, как лебедь, заморская звезда,
и вдруг — снимает лифчик!.. Тут Дмитрий не стерпел,
на сцену грозно выскочил, схватить её успел,
вспотев и задыхаясь, он всей своей душой
ей крикнул: «Дорогая, поехали со мной!»

Всё смолкло в изумленье. Однако танцовщица,
хоть, скажем так, беспутно порой себя вела,
большой любви искала и сказочного принца.
Так — вот он. Дима понял: согласна, поняла!

А публика взревела, и он расправил плечи,
обвёл орлиным взглядом взбесившихся господ,
которые стреляли кто — дробью, кто — картечью,
не ведая, что русских их пуля не берёт.

А те, кто в драку влезли, лежат в больницах там.
Теперь-то им известно, что значит великан.
Из-под руин и щепок он вышел невредим,
держа тепло и крепко девицу у груди.

И так как это сказка, то Дмитрий и Франческа
в Сибири оказались в конце того же дня.
И я, как очевидец, скажу: она прелестна
настолько, что сразила, как мальчика, меня.

Но полюбила очень она богатыря.
Я был как переводчик и ей без словаря
сказал, что, мол, жениться желает Геркулес.
Прекрасная девица в ответ сказала: «Йес».

* * *

Любовь, ты оправдаешь порой и безобразье.
Пусть бабушки на лавках судачат: «Вот дела...
Да разве ж с иностранкой у нас возможно счастье?»
Пускай себе... А свадьба весёлая была!

Там все свои собрались. Франческа разгулялась
и, видно, захотела нам станцевать стриптиз.
Однако Дмитрий мигом пресёк такую шалость,
я от себя добавил: «Здесь не Европа, мисс».

А вот что было дальше — признаться, сам не помню.
Потом сказали: что-то шептал невесте. Зря.
Поэтому проснулся утром на маленьком балконе,
привязанный к перилам ремнём богатыря.

Сейчас молодожёны в двухкомнатной квартире
живут и проживают счастливою семьёй.
Течёт медовый месяц. А знаете, в Сибири
мёд очень ароматный, целебный, золотой!

Как раз сегодня утром у них я дома был.
Мой друг в спортивной куртке чего-то мастерил,
Франческа учит русский и чистит телефон,
но мужа по-французски пока зовёт: «Димон».

* * *

Ну вот и всё в порядке. И закругляться можно.
Но так ведь не бывает, чтоб сразу всё иметь,
должны быть испытанья. Наш мир устроен сложно,
здесь за секунду счастья приходится потеть,

тем более — такого. В прекрасную Франческу
заморский шоу-бизнес, как жадная змея,
вцепился, чтобы снова вернуть её на место.
Там, впрочем, как и всюду, есть мафия своя.

Короче, заграница шипела и бурлила:
поклонники Франчески выискивали шанс
отнять её. И сделать то вызвался громила
могучий, злобный, чёрный. Его и звали — Щварц.

РАССКАЗ: БОРЬБА СО ШВАРЦЕМ-АФРОАМЕРИКАНЦЕМ

Силён, как бодибилдинг, воспитанник спортзала,
по части мордобоя он был первейший спец.
Накачанное мясо зловеще выступало
под беленькой футболкой. Ну, словом — жеребец!

На личном «Мерседесе» он, вождь головорезов,
явился к нам примерно в двенадцать двадцать пять.
Уселся на скамейке у самого подъезда,
пожёвывая жвачку, стал, значит, наблюдать.

Франческа в это время стояла в продуктовом
за мясом и приправой для отбивных котлет,
в наш местный быт вникала, словам училась новым,
а Дима возвращался с работы на обед.

И как увидел Шварца, то догадался враз:
«Такой громила, братцы, поднять бы смог КАМАЗ.
Но зря, что ль прошлым летом, без помощи, один,
я ночью из кювета тащил локомотив?»

И Шварц заметил Диму — и начал заводиться,
произнося чужие недобрые слова.
«Ну, хватит материться, как бы не подавиться», —
заметил грозный Дмитрий, катая рукава.

Вставая со скамейки, наёмник жвачку сплюнул,
в одной руке — базука, в другой — гранатомёт,
в багажник «Мерседеса» он гаубицу всунул,
хоть знал же, знал, что русских их пуля не берёт.

Решил: возьмут снаряды, — и начал как попало
палить, не понимая: что это за дела?!
Как от стены горох, всё от Димы отлетало,
и гаубица также ему не помогла.

Зато звенели стёкла во всём микрорайоне,
орали бабы, дети в песочницы легли.
Растаял дым, и словно в былинном чистом поле,
и Шварц, и гневный Дмитрий в открытую пошли.

Подобным снежной буре был рукопашный бой:
сошлись и со всей дури — ногами, головой —
дубасились нещадно заклятые враги,
и челюсти трещали, вздувались синяки.

Схлестнулись ясный сокол и африканский ворон,
скорей напоминая дремучих злых зверей.
Асфальт под ними треснул, но выяснилось скоро,
что Дима хоть и сильный, а всё-таки слабей...

Когда Франческа с сумкой к подъезду подходила,
злодей уже утробно и радостно кряхтел,
вернее, откровенно куражился верзила,
и Дима к бочке с квасом по воздуху летел.

Затем бандит увидел прекрасную девушку,
схватил её в охапку: «О бэби, о, май лав!»
Она же, отбиваясь, как раненая птица,
кричала: «Крейзи! Дурень! Кретино! Волкодав!»

А наш-то богатырь-то, кажись, совсем угас...
Пробил он в бочке дырку, из дырки лился квас,
на солнышке блестел он весёлою струёй,
и Дима как-то сделал глоток, потом — другой.

И тут случилось чудо, действительно как в сказке,
ведь квас содержит силу взрастившей нас земли,
а в Димке-то бродила сибирская закваска —
и мускулы окрепли, и раны заросли!

В момент догнал он Шварца у края тротуара,
заметил между прочим: «Беру на душу грех».
И от его лихого боксёрского удара
могучий враг сломался, как земляной орех,

и буйной головою поник одномоментно,
теряя и сознание, и, главное, престиж.
А из разбитых окон неслись аплодисменты,
и шифера осколки им в такт слетали с крыш.

Победа!.. Наконец-то... Закончил Дмитрий бой.
Взяв под руку Франческу, отправился домой.
Служители закона, пришедшие на крик,
злодея очень долго грузили в грузовик.

* * *

Позавчера в центральных газетах сообщили:
в больницу к Шварцу толпы поклонников текли.
Страдало пол-Европы, а Дмитрию вручили
медаль за оборону отеческой земли.

Мы с ним сегодня пили бутылочное пиво,
с морской солёной рыбой — как там её?.. балык!
Жена его Франческа (о, как она красива!)
уже довольно бегло освоила язык.

Она мне объяснила, преодолев акцент,
что Дима — это сила, что он — интеллигент.
Сказала и смутилась, поскольку сей же час
на греческий скатилась и молвила: «Димас».

* * *

И здесь, пожалуй, можно закончить эту сказку,
но — рано. Кто-то скажет: мол, это ерунда,
в кустах, мол, фортепьяно случайно оказался
и мы на нём сыграли без всякого труда.

Отвечу: в бочке с квасом не та клавиатура.
К тому же мне придётся вам вот что сообщить:
у Шварца близкий друг был — японец Яма Мура,
они снимались вместе, и он явился мстить.

И ПОСЕМУ ВТОРАЯ ИСТОРИЯ ТАКАЯ: КАК ДМИТРИЙ ПОГОРЕЛОВ С КИТАЙЦЕМ БИЛСЯ СМЕЛО

Премудрый Яма Мура пятнадцать лет в сарае
тренировал удары с обеих рук и ног,
зубами гнул железки. Потомок самураев,
носил он чёрный пояс, как носовой платок.

В душе он был философ: искусство — это сила,
его не брал ни камень, ни молоток, ни нож.
Соперников и прочих он побеждал красиво,
хоть с виду был невзрачен — соплей перешибёшь.

Когда он постучался, кухарила Франческа,
сам Дмитрий Погорелов открыл ему, и тот
ребром ладони резко как даст ему в то место,
где болевая точка, а рядом — пищевод!

Ну, Дима поперхнулся, по стеночке пополз.
Кореец повернулся и врезал пяткой в нос,
вошёл, не хлопнув дверью, дал Дмитрию в живот,
чем вызвал, гад, потерю сознания у него.

Довольный ходом дела, он в грудь постукал пяткой,
и руки-ноги жертвы капроновая нить
стянула, а на горло легла змея-удавка,
что, быстро высыхая, должна была душить.

О, дайте отдышаться хотя бы мне. Спокойно.
Я всю свою земную сознательную жизнь
не мог понять, что значит «искусство боевое»,
простите, но, по-моему, здесь форменный садизм!

Ведь вот он — богатырь наш — лежит слабее мухи
в когтях у лютой смерти, на коврикe. Как быть?
Здесь квас бы не помог бы, а рядом был — на кухне,
да хоть во рту он булькай — уже не проглотить!

А басурман разулся и тапочки надел,
слащаво улыбнулся, на кухню поглядел,
увидел, угорь склизкий, Франческа у плиты
и молвил по-английски: «Неужто это ты?»

Франческа по-хозяйски радушно, хлебосольно
заводит речь такую: «Ты как нас отыскал?»
(Он был её поклонник.) А Диме было больно.
Она зовёт: «Димуля!» А Дима помирал.

«Ну где же он?» — «Он вышел, — шутил японец мило, —
а мы с тобой сегодня отправимся в Гонконг».
Тут Дима из последних остатков грозной силы
издал невероятный, дурной, животный стон!

Жена похолодела, всё сразу поняла.
А так как обрусела, то таз с плиты взяла.
Ведь доля русской бабы — стоять за мужиком,
и вот она в ту Яму плеснула кипятком.

Такое на Востоке не водится, конечно,
там женщины иные, они там слабый пол.
Вот тут он и попался, впервые взвыл, сердечный,
однако очень скоро затих и лёг под стол.

Секунда — и Франческа у Дмитрия на шею
разрезала тугую и мёртвую петлю,
отметила, что резать говядину труднее,
а Дима ей признался: «Как я тебя люблю!»

И тут они на кухне остолбенели прямо:
обваренный и жалкий, на корточках сидел,
как бедный иероглиф, китаец Мура Яма,
и плакал безутешно, и жалобно глядел...

Франческа позвонила ноль-два, и через час
полиция явилась, японцем занялась.
А Яма Мура спятил, вопил: «Я виноват».
Ему в ответ: «Приятель, ты, видно, симулянт».

* * *

Вчера в одной газете прочёл я сообщение:
в темнице повстречался наш спецкорреспондент
с корейцем. Яма Мура у всех просил прощенья,
в холодном подземелье узрел он высший свет,
а потому страдает: «Я был убийцей мерзким,
теперь до крышки гроба замаливать грехи...»
Таким вот оказалось воздействие Франчески —
ей Яма посвящает тюремные стихи.

Я нынче был у Димы, мы пили газировку,
закусывая свежим домашним пирогом.
К достоинствам Франчески добавилась сноровка,
я на неё люблю с полуоткрытым ртом.

А Димка гладил кошку и грамоту читал,
вручённую за то, что шпиона он поймал.
Он силу набирает, растёт (всё больше вширь),
она же вдохновляет: «Ты кушай, богатырь».

* * *

И тут закончить можно, ведь наши победили,
но слышу возраженья, теперь уже назло:
подумаешь, мол, подвиг, им воду отключили,
и греть пришлось на кухне. Опять же — повезло.

Возможно. Ведь в России особые законы,
специфика иная, тем более что вдруг...
Вдруг руки зачесались у дона Скорпионе,
которого лишили двух самых верных слуг —

и кто? Какой-то русский и эта вертихвостка,
которая плясала пред ним пять лет подряд!
А был дон Скорпионе — начальник Коза Ностры,
с такими шутки плохи, ему сам чёрт не брат.

Водились миллионы у дона Скорпионе,
и всё, что им желалось, мгновенно исполнялось.

Начаться разрешите рассказу номер три
(ох, братцы, не ходите туда — в богатыри):

КАК ДМИТРИЙ БИЛСЯ ГРОЗНО С ЯЧЕЙКОЙ МАФИОЗНОЙ

Немереные руки у этой Коза Ностры.
Вот Дима и Франческа уснули дома. Факт.
Проснулись: рядом за́мок, вокруг — скалистый остров,
и здесь не в сказке дело — на самом деле так.

На берег набегали лазоревые волны,
наш Дмитрий был прикован к стене, как Прометей.
Напротив было кресло, на нём дон Скорпионе
в ужасном окруженье компании своей.

Он пальцами прищёлкнул, и два зловещих стража
прекрасную Франческу куда-то повели.
Рванулся было Дмитрий — не оторвался даже
на долю миллиметра от стенки. «Не пыли.

Ты мне испортил нервы. Как это понимать,
что славный Шварц, во-первых, надолго лёг в кровать?
А во-вторых, микстуру я пил, когда о том
прочёл, что Яма Мура стал круглым дурачком».

Так молвил мафиозо и, закурив, добавил:
«Но я тебе навстречу, однако же, пойду.
А надо, чтобы ты мне для этого доставил
полтонны белой смеси со склада в Катманду.

Противиться не думай такому уговору», —
почёсывая брюхо, он медленно сказал.
Но богатырь сурово глядел на эту свору,
не говоря ни слова. Как красный партизан.

Насупился начальник и удалился в город.
За Диму взялись слуги, и начался аврал,
три дня от состраданья вокруг дрожали горы,
три дня под пыткой Дмитрий сознание терял.

Не буду на страницах писать про это. Вот.
Блин, эти сицилийцы — испорченный народ!
Явился шеф под вечер (его привёз таксист)
и вновь заладил речи, прилип как банный лист:

«Контрактик отпечатан. Такого урожая давненько не случалось. Ну я тебя прошу». Молчал, молчал наш Дмитрий, всем видом выражая: твоори со мной что хочешь. Убей. Не подпишу.

И тут дон Скорпионе уже совсем нечестно взял шприц, игриво скорчил улыбку на лице, прищёлкнул — и мгновенно доставили Франческу, он молвил: «Страшный вирус содержится в шприце.

И коль ты будешь дале бодаться, как козёл, твоей смазливой крале мы сделаем укол». И вскрикнула Франческа, но главный из всех слуг держал её железно. И Диму взял испуг.

Впервые ощутил он полнейшее бессилье. «Эх, чтоб тебя... Согласен, несчастный теневик», — ответил Дмитрий грустно. Его освободили, проветрили, отёрли, как пыльный половик.

Ввели в апартаменты. Сиял дон Скорпионе: «Послужишь верой-правдой, пойдёшь на ратный труд. Вот кушай ананасы, вот рябчики, беконы. Пока ты будешь в деле, супруга будет тут».

За боссом Коза Ностры в два раза больше Шварца стоял телохранитель, мясистый живодёр. «Кури сигары с Кубы», — начальник улыбался, а Дима: «Нет, спасибо... Мне б лучше „Беломор“».

Вообще-то, если честно, наш богатырь вёл очень здоровый образ жизни и сроду не курил. Но коль живёшь с волками, так, значит, вой по-волчьи... К тому же надо было чуть-чуть набраться сил.

Он думал: ну откуда быть «Беломору» здесь? Ан вновь случилось чудо несказочное, ведь намёк у сицилийца звучал как приговор, и из Москвы-столицы прислали «Беломор».

Наш богатырь, уныло мусоля папироску, прикидывал: что делать и, главное, как быть? Они постелят мягко, но спать-то будет жёстко... А дон ему: «Что куришь? Не хочешь угостить?»

Вот уж чего не жалко... Хозяин затынулся, вдохнул всей щуплой грудью отечественный дым, а выдохнуть — не может! Он крякнул, поперхнулся. Переглянулись слуги: мол, что же это с ним?

А шеф на мягком кресле забился, как в припадке,
раскашлялся, как старый бульдозерный мотор.
Тут Дима встал и, скомкав с контрактами тетрадку,
простился с остальными и вышел в коридор.

От страха стрелки встали на башенных часах,
пред Дмитрием питали религиозный страх,
ведь он сломал японца, он Шварца уложил,
а босса — папиросой на кресле придушил!

Без лишних объяснений отстали от Франчески,
на поле появился двухместный самолёт,
стрелять и не пытались, все знали: бесполезно, —
усвоили, что русских их пуля не берёт.

Машина ввысь метнулась. В конце того же дня
домой, в Сибирь, вернулась счастливая семья.
На Средиземноморье нелёгким вышел путь,
и Дима в коридоре свалился. Отдохнуть.

* * *

Вчера в одной газете я прочитал заметку:
в Италии хворает известный депутат,
ему жестокий кашель скребёт грудную клетку,
он говорить не может десятый день подряд.

Сегодня был у Димы, мы чай с лимоном пили.
У них не производство, а, видимо, сарай:
ему за три прогула там выговор вlepили
злодеи-бюрократы, им справку подавай!

А милая Франческа цветёт. Цветёт и пахнет!
К тому же наловчилась картошку жарить так,
что пальчики оближешь и выпросишь добавки.
Нет, я впервые вижу столь качественный брак.

На этом разговоры завяжем мы узлом.
А что до «Беломора»: мол, снова повезло, —
быть может. Я не знаю. Вопросы не ко мне.
Выходит, проживаем мы в сказочной стране.

* * *

На море-океане, на острове Буяне
томился бык печёный, а у того быка
был запах аппетитный, душистый, сладкий, сытный
и очень не простые — вкуснецкие бока:

в одном — чеснок толчёный, в другом — кинжал точёный;
ну, мы и налетели, как на мясной отдел:
тот добавлял сгущёнку, другой пил самогонку,
я тоже не стеснялся — в чеснок макал да ел.

Остался чистый берег, и мне никто не верит:
мол, всё в порядке, парень, и врать ты молодец!
Я правда врал? Ну что же... И сказка — ложь? Быть может.
Тем более что сказке как раз пришёл конец.

Ольга Гуляева

Из вариантов

Из вариантов устройства мира, работы, дома,
из вариантов, какую натянуть кожу,
ты выбираешь самый себе удобный —
чтобы как можно дольше побыть хорошим.

Значимость статуса, свежесть ночной рубашки —
всё исчезает с новым восходом солнца,
так что закрой глаза и паси барашков;
волка не будет — волка задрали овцы.

Завтра наступит, сделает по-другому;
кто-то умрёт, где-то родится тройня.
Из вариантов устройства мира, работы, дома
выбери тот, в котором тебе спокойно.

Лот

Всё в движении: капает с крыш весна,
Некто пялится в небо, думает о былом.
Если ангелы постучатся — их пригрозят познать,
Потому что Содом — во все времена Содом.

Пахнет мясом и женщиной. Ходит официант.
И на спинке стула чей-то висит пиджак.
Лот привычно курит. Его бы поцеловать.
Лот начитан, невзрачен, слегка зажат.

Разомлел от напитков, телу его тепло.
Вспоминает слова, записывает в блокнот.
Подойти к нему, поздороваться... Только Лот
Надевает пальто — потому что сейчас уйдёт.

Поздний вечер музыкой ветра застыл в дверях.
Бог, ворочаясь, засыпает, хочет для всех добра.
Недобитые ангелы где-то вверху парят.
Лот звонит дочерям, выходит. Ему пора.

В ТРАМВАЙЧИКЕ

*Собачика, собачика,
А где тут улица Лобачека?..*

Александр Курбатов

В трамвайчике, в трамвайчике
За всё монетками уплачено,
Самсой воняет так заманчиво —
Поскольку ест её киргиз.
Мужик с бутылочкой не начатой
(Когда-то был приличным мальчиком)
Стоит и глазом расхреначенным
Задорно смотрит вверх и вниз.

С тележкой и заплывшей рожею
В мехах бабёнка нехорошая
Глядит в окошко заморожено,
Кого-то любит, но в душе.
В мехах, а руки не ухожены —
Ну точно, баба нехорошая —
Пускай бы ездилa на лошади
Или хотя бы на «Порше».

Пыхтит кондючка толстожопая,
Ещё не очень раздражённая,
На фартуке — нашивка жёлтая
Её электро-АТП.
Мужья со старенькими жёнами,
Красотки с лицами прожжёнными,
Плакат с моделью обнажённою
И две хорошеньких ТП.

И уникален каждый массово —
С кульками, сумками, паласами,
Почти без ненависти классовой —
Все по билетам, все равны.
С разнообразными колбасами,
С необходимыми колбасами.
В окошко солнце смотрит ласково.

Да лишь бы не было войны.

АРТАК

Сбегаю от панических атак —
в «Фейсбук», «ВКонтакте», без шапки и пальто.
А там в друзьях — Норекиян. Артак.
Привет, Артак. Я тоже здесь. Ты кто?
Не блоггер, не поэт, не депутат.
Не котики, не юмор, не семья.
Загадка дня: ты кто такой, Артак?
Откуда ты, Артак Норекиян?
«Фейсбук» сейчас сказал, что ты мне друг,
а я не помню. Что со мной не так?
«Фейсбук» такой... Да ну его, «Фейсбук».
Со мной порядок. Кто такой Артак?
По гороскопу Лев. Живёт в Москве.
Запостил пять минут назад лайфхак.
И вроде бы нормальный человек
мой добрый друг Норекиян Артак.
Не пишет, не показывает фак.
Не пишет он — не напишу и я.
Ты кто такой, Норекиян Артак?
Откуда ты, Артак Норекиян???

* * *

Уйти удобнее без слов. И по воде.
Спокойнее, комфортнее, свободней —
От беззаветно любящих людей,
Готовых умереть, но не сегодня.

Ягнята знают, но они молчат.
Злодей — в наручниках, сидит в надёжной клетке.
Разведка слышала молчание ягнят,
Но я не верю вражеской разведке.

Алё, гараж! Алё, аэродром!
Не слышат даже черти в преисподней.
Разведка донесла: мы все умрём.
Мы все умрём. Но явно не сегодня.

Ми-8

А в природе и нет никаких голубых вертолётов —
Есть Ми-2, и Ми-8, и Ка-26.
Голубой вертолёт был придуман для ровного счёта —
Чтобы дети считали, что в мире волшебники есть.

Голубой вертолёт — это вымысел детских поэтов:
У поэтов, известно, всегда нелады с головой.
Папа мой прилетал в вертолёте защитного цвета —
Привозил осетрину, икру и людей с буровой.

И вода в Енисее всё та же, и небо над кронами сосен,
И деревни всё те же, и те же стоят города,
Но другой бортмеханик летает теперь на Ми-8,
Только звук отличу от других и услышу всегда.

А волшебники есть. Снова лопасти крутят пространство,
Даже если на том берегу и почти что затих,
Даже если оранжевый, авиалесоохранский —
Это папа в Ми-8 по синему небу летит.

СОСЕДУ С ЧЕТВЁРТОГО ЭТАЖА

бурлит его тестостерон:
не баба он — мужчина он,
кулак его натружен,
курок его всегда взведён,
и все соседи видят в нём
не мальчика, но мужа.

он в этой жизни всех просёк —
он не какой-нибудь осёл,
и член его огромен.
ему не надо про Басё —
он состоялся как боксёр,
он не боится крови.

кому-то вдуть, кого-то пнуть,
и, чтобы вовремя уснуть,
всегда предельно точен:
он ровно в семь бранит жену,
он ровно в восемь бьёт жену
и ровно в девять — топчет.

БУРКИНА-ФАСО

Уехать в Буркина-Фасо — поскольку там зимой теплее.
Доить козу, жевать песок, пахать песок, в него же сеять;
забыть произносить слова, оставить космос космонавтам,
дружить, ваять и воевать, предпочитая бесконтактно.
Смотреть, как движется луна и как её догнали тучи,
и, улыбаясь, вспоминать какой-нибудь фейсбучий случай.
И ощущать, что дождь косой, но он не действует на нервы.
Уехать в Буркина-Фасо. И там всю жизнь любить бербера.

БАБА ШУРА

А баба Шура — такая дура:
Двенадцать кошек у бабы Шуры.
И возмущается баба Надя:
Двенадцать кошек — и ходят, гадят.

А баба Шура в прекрасной форме —
И брови красит, и кошек кормит,
И не такая ещё старуха:
— Тебе воняет? А ты не нюхай!

А баба Надя про всех всё знает,
Секретов нету у бабы Нади:
— А Шурка — смолоду потаскушка!
И я могла бы! И я не хуже!

Уж как она этих кошек любит!
Не видит, что голодают люди,
Людей не любит, зверьё дороже —
Совсем свихнулась: двенадцать кошек!

Но баба Надя людей не кормит —
Переживает в пассивной форме.
И сообщает с оттенком грусти:
— Ну, Шурка злая: не тронь — укусит!

Но не кусается баба Шура.
Ну, матерится — она же дура...
Да хоть и дура, но в шоколаде:
Двенадцать кошек. И всех их гладит.

ДЕБИЛ

«Взяла дебила. Живу с дебилом и развлекаюсь.
Дебил нормальный — почти разумный и говорящий:
Автобус. Междугородний. Зовут „Икарус“.
Собака Жучка. Мультфильм про кошку. Куриный хрящик.

Смотри — козявка! Козявка — кака, не ешь козявку!
Да лучше супчик, да лучше кашку, да лучше ложкой!
Козявка лучше? Ну ладно. Да ты ж не чавкай!
Дебил нормальный, дебил разумный, дебил хороший.

Дебил берёт конфетку и ест конфетку.
Затем берёт бумажку и ест бумажку.
А я хочу каких-нибудь спецэффектов:
Поймай соседку (зовут Наташка) и съешь Наташку.

Дебил читает. А я читаю ну крайне редко —
Про то, как Жучка куриный хрящик употребила,
„Фейсбук“, „ВКонтакте“. Вывески. Этикетки.
А что поделать? Живу с дебилом — люблю дебила».

МАДАМ КОНДРАТЬЕВА

на перекрёстке за монастырём
зарыла семь монет мадам Кондратьева.
она пылает: мысли все о нём —
как поскорей к своим рукам прибрать его.

и ничего, что он слегка женат, —
она грешна, но завтра же помолится.
её мужчина — показал расклад:
она была у ведьмы за околицей.

она пылает — нету в том греха.
потом перед иконкою открестится.
Кондратьева желает жениха
и чтоб соперница её упала с лестницы.

Кондратьева считает: всё не зря,
она пылает — значит, надо брать его,
она гуляет у монастыря,
прикинувшись овцой отца Ипатия.

* * *

Сознание трясётся, как вагон:
Детишки, дядьки, курица, пейзажи,
И бабки в вечном поиске врагов,
И каждый звук невероятно важен,

И проводница в грязном, и сквозняк,
Невкусный чай, казённый подстаканник,
И некто, обвиняющий меня —
Что я столкнула айсберг и «Титаник».

Заткнись! Не хочешь? — просто выпей яд.
Не пьёшь? — тогда сожри его на завтрак!
Я признаюсь: конечно, это я
Безжалостно убила динозавров.

Отлавливала их по одному,
В глаза глядела, радостно пытала...
И надо заточить меня в тюрьму
И угрожать Гаагским трибуналом...

Уже скорей бы двадцать три часа —
И глуше свет, и тише голоса,

И пусть вещают — всё равно не смолкнут.
И слушать их — уже на верхней полке.

Рустам Карапетьян

* * *

Пёс простуженно и тускло
 Брешет в белый свет.
 Лижет ветер заскорузло
 Сморщенный ранет.

Так прозрачно всё и голо,
 Так прохладно нам.
 Под забором дядя Коля,
 Пьяный вдрабадан.

Он пошёл по снам отрадным
 Шастать да блудить.
 Но будить его не надо.
 Надо нас будить.

* * *

Перезарядившись опытом,
 Бью с вершины зим и лет
 Где ни попадя, где попадя,
 Где в копейки белый свет.

Нету времени покаяться,
 Есть привычка на авось.
 Эх, учись, сынок, покамест я
 Не состарился насквозь.

Пополам хлебнём минуточку —
 Залпом ты, а я навзрыд,
 Как трамвай по переулочку
 Медью старую звенит.

* * *

Будет время синих сов,
Будет гость мой леп.
Испеку из ситных слов
Ароматный хлеб.

С пылу-жару каравай
И вина кувшин.
Будут здравные слова
И глухой помин.

Ну, давай ещё, старик,
Жить ведь одна.
Будем пить мы до зари
Терпкие слова.

Раз уж снят с души засов,
Так пускай не зря.
Будет время долгих слов,
Будет и заря.

Выйдем вместе за порог,
Молча подымим.
Посиди ещё чуток.
Хорошо сидим.

* * *

Хорошо идти босым
По траве домой.
Лунно тикают часы
В небе надо мной.
Ветер шелестный несёт
Караул в кустах.
И невидим горизонт,
Хоть и в двух шагах.

* * *

Устав от перемены мест,
Слагаемых небезвозмездно,
Нырнули мы в октоберфест
У каквсегдашнего подъезда.

Валился жухлый лист с плеча,
Горчила «Прима», как зараза,
И дворник головой качал,
Замученный и узкоглазый.

У пива привкус был свинца,
И не хватало в нём веселья.
И смутно в воздухе мерцал
Предзапах зимнего похмеля.

* * *

Домой попасть не терпится
Хоть вплавь уже, хоть вброд.
А рыбица-троллейбица
Плывёт себе, плывёт.

Кондукторша печалится,
Сутула и нема,
Что ливень не кончается
И выручки нема.

Что туго с пассажирами:
За час — всего пяток.
И грусть её дождливая
Всемирна, как потоп.

* * *

Ночь взяла меня походя,
Взглядов чужих не пряча.
Я умирал от хохота
И оживал от плача,
Жидкость хлебал из банки
В жадном глухом проулке.
Рядышком чей-то ангел
Кашлял, искал окурки.

* * *

Морозец колючий, как ёлка,
И косточки ломит, хоть плачь.
Кошёлка из ветхого шёлка,
Из драного бархата плащ.
Ни адреса точного и не
Дороги вперёд и назад.
Всё глубже впивается иней
В забытые солнцем глаза.

* * *

У навевающей сон реки,
Глаза опустив, сидеть.
Вязать из воздуха узелки,
Получится — будет сеть.

Потом лениво, не торопясь,
На крестном своём посту
Закинуть невод сто тысяч раз,
Чтоб вытянуть пустоту.

И снова, снова кидать, вздыхать.
Плевать, что опять пустой.
Однажды ждёт и тебя уха
Из рыбины золотой.

* * *

Неспешные, нездешние,
Продрогшие насквозь.
И ветра лохмы снежные
Доводят нас до слёз.

Куда бредём, не ведаем,
Мы в поисках тепла.
А под ногами белая
Поскрипывает мгла.

В метелице приевшейся,
В безжалостной степи
Мы друг за друга держимся.
Пожалуйста, не спи.

* * *

Пока была жива ещё кукушка
В часах с чугунной шишкой, хрипло пела
Нам песенку нехитрую о том, что
Осталось жить и ждать, когда по новой
Чего-нибудь нам жизнь и накукует,
Пока тик-так, пока тук-тук сердечко,
Знай заводь часы и пей лекарство —
И думай тихо: вот и снова полночь,
Кукушечка, давай, не подведи-ка,
Пока не заржавели шестерёнки,
Чтоб снова утро, день и снова вечер,
Чтоб запах печки, и с порога холод,
И молоко вот-вот из-под коровы,
И ночью тихо так, и только слышен
Скрип половиц. Мы думали, что это
В потёмках тайно бродят домовые,
А это было время. Было время.
Пока была жива ещё кукушка.

* * *

Волны ползают уныло,
Нет плескаться больше сил.
Море за день разморило,
И на море полный штиль.

Дремлет чайка, спит селёдка,
Солнце замерло в заре.
И застыла в море лодка,
Словно муха в янтаре.

Дарья Лысенко

* * *

Доставай себя из своей коробки.
 Очищай от пыли.
 Две недели стирки. Неделя штопки.
 О плохом — забыли.
 Отойди от боли, сотри границы,
 Отряхнись от глины.
 Доставай себя из своей гробницы —
 И вперёд, к вершине!

* * *

Под ковром из незабудок
 Я зарю страшный клад.
 Кто за ним гоняться будет —
 Сам, пожалуй, виноват.
 Кто его достать посмеет,
 Тот — мне правда, правда жаль! —
 Бесконечно пожалеет.
 Там не деньги, не хрусталь,
 Не кольцо далёких предков,
 Не прабабкин изумруд,
 Не алмаз какой-то редкий —
 Ничего. И я не вру.
 Что мне врать? Кого пугаю?
 Если кто-то хочет клад,
 Пусть идёт — и пусть копает,
 Только сам не будет рад,
 И добра ему не будет.
 Знаю я, что говорю:
 Под ковром из незабудок
 Я зарыла боль свою.

* * *

Пусть весь мир замирает, пока я к тебе иду —
По горелой траве, по трескучему тонкольду,
По вершинам Непала (ищи меня в Катманду)...
В персональном аду.
Безраздельно на поводе

У потребности в боли, бессмыслице и огне.
Ты ожогом мозолей горишь на моей спине,
Словно след рюкзака (рюкзака никакого нет).
Я иду налегке.
Всё, что нужно, уже во мне.

Я иду налегке, и карманы мои пусты.
Не боюсь ни ветров холодных, ни высоты.
Здесь рассветы жестоки, а тени в ночи — густы,
Как и ночи в тени.
Обжигающей ста пустынь,

Бесконечнее космоса, глубже семи морей...
Это просто моя дорога. И я на ней —
Чёрной точкой ползущий маленький муравей:
Никого нет забавней —
И нет никого сильней.

Никого — безнадёжней. Над пропастью пустоты,
По горелой траве, сквозь торчащие зло кусты,
Я иду к тебе — через горы, снега и льды,
И не важно, конкретно где ты —
И есть ли ты.

Всё равно, босиком по опасно плохому льду,
Оступаясь до крови, которую ночь в году,
Ни за что не сверну в безмолвную темноту.
Ни за что не сверну,
Пусть и знаю, что не дойду.

Да, я знаю, что каждый шаг — неподъёмных цен.
И пускай воплотилась полно в твоём лице
Та вершина, к которой я не дойду в конце,
Но процесс неизменно важен.
Важней, чем цель.

И пусть мир замирает музыкой вдалеке.
Я иду к тебе.
Я иду к тебе налегке.

* * *

С. Ф.

Он спит под белым одеялом
В далёкой горной тишине.
Я никогда его не знала,
А он — не слышал обо мне.

Мы никогда не были рядом,
Дороги наши шли поврозь
Под солнцем и под звездопадом,
Не зная общего «сбылось».

Не зная ничего, по сути,
Не разделяя на двоих
Ни самой радостной минуты,
Ни горя, бьющего под дых.

Любого «много» будет мало,
И объяснить не хватит слов:
Он спит под белым одеялом
Глубоким сном без всяких снов.

Он спит, его не потревожить,
Не разбудить, не растрясти,
Но где-то у меня под кожей
Живёт не память, но... почти.

Живёт — не память, что-то между
«Тогда», «сейчас» и «не-потом».
И удушающая нежность,
И удручённое «За что?».

Я никогда его не знала,
Но в плотной горной тишине
Он спит под белым одеялом —
И снится, снится, снится мне.

Виталий Овчаренко

ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК

Я такой же, как вы,
 Я усталый прохожий —
 Не поднять головы,
 Не увидеть глаза.
 Я такой же, как все, —
 Мне впиваются в кожу
 Обязательств корсет
 И законов фреза.

Я холодный, как дождь, —
 Всё иду и иду...
 Не продашь, не пропьёшь
 Свой бессмысленный level.
 Я как весь этот мир —
 Я в каком-то бреду.
 Все дороги — в сортир,
 Всё зерно — ради плевел.

Я такой же, как Бог, —
 Я устал создавать.
 Пусть похмельный глоток
 Доклюёт мою печень,
 Пусть я лягу под снег —
 Мне легко сознавать:
 Я — простой человек,
 И поэтому — вечен.

* * *

Всё напрасно, всё не в тему,
Всё в итоге суета...
Воры хакнули систему,
Сбросив общество с хвоста.

За окошком — все там будем,—
Посмотри: как на убой
Едут люди, ходят люди,
Недовольные собой.

Рассвело — и слава Богу,
Кончен день — и дай сюда.
Жизнь проходит понемногу
Из сегодня в никуда...

КОТЫ

Коты нужны для красоты,
Коты нужны для шалости.
Котами трудятся коты,
Не ведая усталости.

Котов прекрасные черты
На радость нам даны.
Котами трудятся коты
На благо всей страны.

И если ты свои мечты
Продать, предать готов —
Знай, не поступят так коты.
Бери пример с котов!

Будильник

Время не деньги — будильник под ухом,
Утро привычно начнётся не с кофе.
Сон отлетел — облака ему пухом
Где-то в заглавнике всех философий.

Каждое утро в тебе умирает
Рыцарь, принцесса, дракон и учёный,
Утро с собою мечты забирает
Тысяч мальчишек и тысяч девчонок.

А впрочем, постой —
Выбор простой:
Жить в целом мире
Или в квартире,
Корочка хлеба,
Звёздное небо,
Куча лавэ,
Ветер в листве —
Всё у тебя в голове.

Жизнь не игра, но полно проигравших,
Тихо убитых рутинной и бытом,
Молча живущих и без вести павших,
Вечно довольных разбитым корытом.

Выбери опиум поактуальней —
Гаджет, еда, Интернет, телевизор...
Жизнь протекает от кухни до спальни,
Здесь не бывает ненужных сюрпризов.

А ты не спеши,
Ведь нужно решить:
Жить или спать,
Взять или дать.
Правда и ложь,
Солнце и дождь,
Верность и страх,
Как в старых стихах, —
Всё в наших руках.

Нынче слова не летят воробьями —
Злыми синицами падают в руки.
Все наигрались уже кораблями,
Нам бы с рублями не ведать разлуки.

Нам бы бороться с глобальной разрухой,
Быть на коне, отвергая кумиров...
Каждое утро будильник под ухом
Снова срывает спасение мира.

ЗАКОПАЙ...

Закопай меня в сугробе —
Полежу там до весны.
Доставать меня не пробуй,
Пусть всю зиму снятся сны.

Сны про истинное лето,
Сны про тёплые моря, —
Без искусственного света
С октября до мартабря.

Говори мне ежедневно,
Что кругом без перемен:
Все ТП хотят в царевны,
Бьются за моржовый хрен.

Быль и небыль — всё едино.
Не учите, как мне жить, —
Дайте лампу Аладдина —
Тупо нечем прикурить.

Закопай меня в сугробе,
Я, наверно, буду рад...
Не успел себя угробить —
Добры люди пособят!

Екатерина Малиновская

Победитель краевого литературного конкурса
имени Игнатия Рождественского в номинации «Поэзия»

* * *

Нет хороших стихов. И уходят сквозь дремлющий город
Все мои города. Далеко. Неизвестно куда.

Я такая же, как... Между Каином и Квазимодо.
Как расстроенный пульс, как висят в голубях провода.

Я всегда без тебя. Я всегда без любви и без дома.
Чей-то брошенный шарф, чья-то карточка с грязным углом.

Не имея конца, не имею отца никакого.
Только грубая речь. Только холодом дышащий дом.

Это ночь говорит. Эта ночь — одиночество. Громче!
Хватит прятать слова, я со всеми хочу говорить.

Что-то тикает так, словно время становится тоньше.
Будто эти часы чей-то голос хотят повторить.

Голубая игра — в облака, в небеса, в небоскрёбы,
В зеленеющий лес, в чей-то юный сверкающий смех, —
Всё — ехидный обман, как случайная ранка на небе.
Что-то хитрое там, наверху, объегорило всех.

Я прошу в темноте, чтобы всё это только казалось,
Чтобы призраки зла позабыли голодный оскал,
Чтобы чьё-то тепло, как дворяга, за мной увязалось,
Чтоб молчали часы и беспомощный дождь перестал.

Голубое окно догорит, и продолжит чуть слышно
Время тикать в висок, словно глупый от старости гном.
Нет конца у игры, но порой наступает затишье.
Помолчат с полминуты, поплачут и кончат на том.

* * *

Свободы, друг, не существует.
Ни на земле, ни в небесах,
Которые на головах
След по касательной рисуют.

Искать не стоит. Будет так,
Как ты, увы, не угадаешь.
Ты только пальцами играешь,
Костяшками вступая в такт.

Какая глупость — быть живым,
Осознавая с каждым ходом,
Что невозможная свобода
Пронзает волосы, как дым.

Любовь — как миг. Твоя пропажа
Не слишком дорога. Как сон,
Кончается. Из кожи вон.
И Бог глядит из бельэтажа.

* * *

Седая бытность, мелкий грех.
Кусты и деревá немые,
Сырые улицы пустые,
И детский матерок сквозь смех.

Мой белый плащ — как полотно.
Глухого мира отраженье.
Ленивое начнёт круженье
Словесное веретено.

Там сука пьяная кричит,
Там леший никого не водит.
Тяжёлый голос грубо бродит.
Во мне всё тает и молчит.

Так начинает холодать.
Промозглый воздух сводит руки.

Так просто умереть от скуки.
Так страшно разучиться ждать.

Мосты

*Значит, кто-то нас вдруг
В темноте обнимает за плечи.*

И. Бродский

Мосты вселяются без спроса
Надеждой скорой переправы
В слова и мысли, чаще — в слёзы.
Соединяют нас лукаво,

Слегка жестоко. Их коварство
Туман реки холодной скроет.
И даже если что-то ноет
Внутри, мы вверимся лукавству.

И мы ступаем осторожно,
Мы верим свято в переходы.
Ступней и рук касаясь ложью,
Мосты уводят вниз, и воды

Нас ловят нежно, незаметно,
Не дав ступням коснуться края
Другого берега. Играя,
Мосты уносят нас бесследно.

И мокрый контур, окружая,
Обнимет медленно за плечи.
Нас видит берег, отражаясь
В глазах, как линия, как вечность.

Все реки — слёзы, только слёзы,
И в этом — счастье переправы.
Мосты являются без спроса,
Соединяют нас лукаво.

Вячеслав Тюрин

Когда Ирина Медведева собралась учредить молодёжную премию имени трагически погибшего юного поэта Ильи Тюрина, Юрий Беликов прислал мне письмо и попросил оповестить красноярских поэтов, прозаиков, эссеистов. Молодых поэтов я не знал и «перевёл стрелку» на Марину Саввиных, а сам позвонил Наталье Даниленко, автору интересного эссе о художнике Викторе Бахтине. Скромная Наташа от участия в конкурсе отказалась, но сказала, что знает, кому эта премия нужнее других.

И не ошиблась. Года не прошло, как в Москве вышла книга стихов неизвестного поэта из посёлка Лесогорск Вячеслава Тюрина с тёплым напутствием Марины Кудимовой. Добротно изданная книжка больше походила на «избранное», нежели на первый сборник. Впрочем, таковой она и являлась. Следом пошли публикации в журнале «День и ночь», в иркутских и московских журналах и альманахах. Достаточно громкий и не очень запоздалый дебют. Казалось бы, радуйся и твори дальше. Он, конечно же, радовался, писал, росло мастерство... Но стихи в наше время не кормят. Найти какой-нибудь литературный заработок в маленьком посёлке невозможно. Там и простенькую работу трудно получить, даже здоровому мужику. А Слава был больным и совершенно не приспособленным к нашей жёсткой жизни, которую так рано покинул. Вот и представьте, каково было взрослому человеку сидеть на шее престарелых родителей и чувствовать спиной презрительные взгляды соседей по улице, которые в маленьких посёлках знают друг о друге всё, кроме главного. Кроме того, что творится в душе поэта — какие бури и какие мёртвые зыби.

Можно сказать, что наше время безжалостно к поэтам. Но родился он раньше на десять-пятнадцать лет, когда за стихи платили по рублю, а иным и по четыре за строчку, он в те времена, скорее всего, не напечатал бы ни строки. А это ещё тяжелее нищеты. Так что выбор у настоящего поэта небогатый.

Сергей Кузнецихин

САМОЧУВСТВИЕ

Весь день за столом. И некогда
русалку поймать. И невода
нет под рукою. Летняя
скука в посёлке. Сплетни и
слухи различной степени
правдоподобья. С мебели
спрос невелик. И мало ли
что шелестит журналами
пресса. Не лезь с расспросами
к лесу. Лежи на простыни.

Белое равнодушие
ткани, сиречь оружие
вещи, надежда призрака
быть на виду хоть изредка.

Видимо, таково моё
чувство себя, зовомое
бредом и раздвоением
личности, настроением
мозга. Рекомендуются
чаще гулять, но улица
выглядит так чудовищно,
что себя часто ловишь на
мысли, что всё потеряно,
глядя на мир из терема
с грустью, в итоге вылазки
могущей только вырасти.
Вот и берись за ножницы
сам, если нет помощницы.
Зато слышать из горницы
песню залётной горлицы.
Будучи в полной памяти,
не поддавайся панике.
Что же судьбы касается,
пусть она не кусается,
наполовину пройдена.

Кинотеатр «Родина»,
кулинария «Лакомка».
Вот только церкви «Ладанка»
нету. Зато есть общество.
Пусть оно дальше топчется
на остановках. Зрелища
хватит на всех. И зверь ещё
хвастается шестёрками.
Лишь бы подошвы шоркали —
твердь заблестит как новая.
Как серебро столовое.

* * *

К людям выйти — что душу вынуть.
И затеплится разговор.
Можно книгу меж книг задвинуть,
можно слово сказать в упор.

Одиночество так устроено,
что, выдерживая твой взгляд, —
как вино — говорит порой оно
то, о чём свысока молчат.

Эхо комнатного гексаметра,
роковая пора баллад
осыпающихся, но замертво
продолжающих хит-парад

изначального летования,
листопадного волшебства,
суеверного ликования,
когда траурная листва

зацветает огнём язычества,
когда хочется лишь успеть
это сумрачное величество
на родном языке воспеть.

ЖЕНСКИЕ РУКИ

Женские руки в пряже, нежных два ручейка
вяжут тебе кольчугу летними вечерами.
Только для поцелуя созданная щека
принадлежит любимой. Только в оконной раме

явлен бывает образ: это, конечно, ствол
тополя, разметавшего перед грозой ветки.
Когда наступает время садиться за письменный стол,
то, словно кулисы театра, присобраны занавески.

На расстоянье брошенного со зла
слова плывут очертанья в дымке.
Мужики за дощатым столом забивают весь день козла,
громко стуча костями. Бегают невидимки

по Старому городу, словно выживший из ума
гардероб короля, которому нагадали
встречу с прекрасной пастушкой. Однако пришла зима,
гипнотизируя взглядом из-за вуали

набережного тальника. Серые воробьи
копошатся на мостовой. Если сказать по правде,
новости никудашные: в Грозном идут бои,
цены растут, как поганки. Также сюда прибавьте

мрамор этого полдня. Выломать бы кусок
и зашвырнуть подальше. Так, мяч посылая в ворота,
попадаешь в окно соседа, наблюдающего в глазок
за жизнью лестничной клетки. Носишь ярлык уroda

до тех пор, пока не окажешься в новой главе судьбы.
Женские руки вяжут тебе кольчугу
из золотого руна. Здорово было бы
вновь оказаться вдвоём, чтобы сказать друг другу

«здравствуй». Однако ветошь осени да толпа
в очереди за разным, автомобильный гомон
и прочая намекают на то, что не мысль глупа
сама по себе, но способ её воплощенья сломан.

Не знаю. Похоже на то, что крепко заело вертлюг
игры, доведённой Богом до совершенства,
но позабытой людьми. Замкнуло спасательный круг.
И не с кем вкушать блаженство.

Читая чужие мысли, конец иглы
плавает на пластинке. Тьма, проникая через
щели чулана, тихо скрадывает углы.
В голову лезет ересь.

Я хочу, чтоб озвученную душа вырвалась из силков
юдоли. Пусть уменьшается в птичьем зрачке мегаполис.
Юдоль — это мокрое место на карте страны дураков,
а вовсе не Северный полюс.

* * *

Зимовья дым и ярость лесоруба.
Пусть чёрного. Но мне-то что с того?
Со временем ведь спорить очень глупо:
оно ж не понимает никого.

Оно диктует всем свои законы:
беги, люби, руби, стреляй, батрачь.
Оно не обрывает телефоны,
но к каждому приходит, как палач.

«Пространство — вещь», — как говорил Иосиф.
«А время — мысль о вещи», — добавлял.
Пора, оковы заморочек сбросив,
устроить у реки большой привал.

Есть шашлыки, цедить «Напареули».
«Мечтать не вредно», — говорит народ.
Нас в чём-то главном боги обманули,
но кто теперь, с похмелья, разберёт?

Андрей Антипин

Две реки. Две судьбы

Очерк

— Он у меня человек военный: он слушается! — такими словами встретила меня Варвара Петровна Корзенникова, или, по-деревенски, просто бабка Варя, скомандовав старому лохматому псу отправляться в будку.

И пёс, волоча цепь по тротуару, послушно спрятался.

Но лаять не перестал. И пока я запирал ворота на щеколду, а потом шёл по двору с кустом сирени у крыльца, бабка Варя стояла возле будки, заслонив собой выход.

Из подымахинских старух бабка Варя оказалась самой крепкой и сохранный, словно дошедшей из какого-то другого века, в котором и люди были совсем не те, что стали потом. И хотя все они, бабка Варя и её деревенские подруги, пришли примерно из одного времени, из трудных послереволюционных лет, всё-таки бабка Варя и среди сверстниц выдалась наотличку, и когда другие старухи попритихли и больше сидели на лавочках, чем гоношились по хозяйству, она всё ещё длилась, всё ещё действовала, всё ещё была по маковку погружена в жизнь. На моей памяти бабка Варя (а ей уже было далеко за восемьдесят) наравне с молодыми копала картошку, так долго стоя внаклонку с небольшой копарулей¹ в руках и разгибаясь лишь затем, чтобы поправить платок или выудить задавнью² мошку из глаза, что не я один, а все кругом восхищались этой её способностью к тяжёлому крестьянскому труду даже в глубокой старости.

Вот и в свои неполные девяносто два бабка Варя ещё подвижна, и хотя ходит, налегая на посох, как на третью ногу, без которой никуда, в каждом её слове, в выражении глаз и во всём облике угадываются прежние проворство и двужильность. Вместе с тем не перестают удивлять необычайно свежая память бабки Вари и неутраченная ею живость воспоминаний, так густо и плотно населённых лицами, именами, предметами, названиями, оборотами речи и другими

1. Крестьянское орудие для копки картошки в виде небольших трезубых (реже зубьев — четыре) вил, изогнутых под прямым углом и посаженных на короткий черенок.

2. Та, которая «давит», летает густо, атакует со всех сторон.

мелкими подробностями, что приходится жалеть об этом изрядно оскудевшем со временем даре русских людей — рассказывать.

СУДЬБА ПЕРВАЯ. РУССКИЙ ТУНГУС

Живёт бабка Варя по Школьной. А всего улиц в Подымахино две — в два ряда: Партизанская — в переднем, с видом на реку, и Школьная — через дорогу, ближе к огородам. Когда-то избы тянулись по-над Леной в один ряд. Но после страшного наводнения 1915 года (после «потопы», как тут до сих пор иногда говорят, по-женски смягчая это слово) сделали отступ от реки, спятив избы подальше, в поле, и лишь со временем снова стали строиться по угору. Так и образовались две улицы.

Изба бабки Вари, как раньше сказали бы, — у медпункта³. Небольшая. «В лапу» рубленная. Три окошка — в проулок, три — во двор. Нехитрые наличники. Двускатная, как у зимовья, тесовая крыша. Во всём — крепкое, сибирское. Северное. Не пёстрое, не узористое, но сотворённое с упором, необходимым для жизни на этой суровой земле — не больше, не меньше. То есть — вполне себе аскетическое, что вообще присуще сибирякам, для кого высвобожденное от всего «второстепенного» время — не столько повод для передышки, сколько разгон для десятков других больших и малых дел. А их всегда невпроворот в таёжном уголке, где — лесистые сопки окрест, а простор только один — вот это небо да коридор большой северной реки, верхом уходящей едва ли не впритык к Байкалу, а низом — в ослеплённую вечной мерзлотой Якутию и дальше, к Северному Ледовитому океану.

И хотя, как известно, руки в деревне — вес, а слова — пустота, иногда и Слово здесь начинает звучать полновесней, не так, кажется, как в других краях огромной России. И вдруг оно, это Слово, выворачивается доселе неведомой изнанкой с некой бытийной первопричиной во главе, лежащей в основании, как медяк в углу нижнего венца старинных русских изб. Вероятно, это случается тогда, когда Слово воспринимается как единственно доступный и удобный в обращении материал, замены которому нет в природе⁴. В такие мгновения жизни если идут с каким-то разговором, то и разговор, и повод к нему именно что «важны», «первопричинны» сами по себе; иначе говоря — такие, ради которых и самому не совестно среди бела дня загреметь кулаком в ворота, да и хозяина стронуть, занять, оторвать от работы не заорно.

3. Медпункта как такового давно нет, в его «здании» — обшитой досками избе — жилой дом.

4. Иначе коренной сибиряк непременно произвёл бы такую замену, так глубоко усунувшись в молчание, что назад его и клещами не вызволишь.

5. Село в Усть-Кутском районе Иркутской области. Далее упоминаются другие населённые пункты этого же района. Прочие будут обозначены особо.

...Я пришёл к бабке Варе, чтобы поговорить о её покойном муже, участнике Великой Отечественной войны, известном в округе рыбаке и охотнике, которого в Подымахино помнят не иначе как Русского Тунгуса. Призванный на фронт 20 августа 1941 года, ровно два года спустя, день в день, рядовой 563-го стрелкового полка Дмитрий Константинович Корзенников решением врачебной комиссии был уволен в запас. Первый бой принял под Старой Руссой. На фронте был снайпером. Сражался под Сталинградом и в Крыму, форсировал Сиваш и Днепр. При форсировании Днепра и получил то самое тяжёлое ранение, после которого его сначала госпитализировали, а затем комиссовали. Награждён медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны I степени...

Но не столько об этом наш разговор с бабкой Варей в один из жарких летних дней 2015 года, когда трещат в траве кузнечики, пахнет землёй и листьями черёмухи, а в речной яме, где пристаёт путейский катер, с визгом купаются деревенские ребятишки, сигая в Лену с врытой в берег широкой доски-нырялки.

— Димитрий же дед-то у меня? Да я щас всё перепутала, забыла, с кем и жила! — прислонив посох у двери, смеётся бабка Варя и легко, едва входим в прохладную после улицы избу и садимся, начинает свой рассказ. — Родился Димитрий двадцать пятого октября тысяча девятьсот двадцать второго года в Мёрковой⁵. У отца Димитрия первая жена умерла. А потом он женился, ёлки, вторично, взял какую-то бабу. А она моложе была. Митрий у них родился. Два годика исполнилось — она бросила его и уехала на пароходе в Бодайбо! Эта Зоя. А Исти́фий Тимофеевич — он с Мёрковой же. Он в школе директором был. В школе-то начальники. Вот он мне и рассказывал это всё, как оне там жили, чё делалось; а так-то бы я откуда знала? Он, говорит, ходил там, Митрий-то, а гуси... Гусей держали. То гуси на него налетают, то чё! Вот это Исти́фий Тимофеевич рассказывал, директор. Я-то никогда не связывалась с имя́! Приезжал потом брат этой Зои, с головой у него не в порядке. Я говорю: «Вы почему его не растили? А сейчас родню находите?!» Ну, он собрался и уехал. Вот такі дела... — А как дядя Митя в Подымахино оказался?

— Да как подожди. Тунгусы выезжали с Бёлой⁶ — семьдесят километров надо ехать. Там у них постройки были, дома́. Там, в общем, Бобло́кин жил и Вариво́н⁷, два брата. Потом сестра жила. Потом... как же того-то звали? Дед с бабкой, тоже родня. У них там четыре

6. Речка в Усть-Кутском районе.

7. Возможно, искажённое «Ларион». Здесь же: у братьев были разные фамилии, что, со слов Варвары Петровны, стало следствием некоей ошибки (вероятно, допущенной при заполнении свидетельств о рождении). Фамилию «Варивона» Варвара Петровна не вспомнила.

дома было. Тунгусы, в общем. Продукты вывозили, продавали. Оне его, Димитрия-то, увезли на Бёлюю. Отец отдал. Дед, отец-то Димитрия,— оне с братом пили так здорово! А у него от первой жены Катя была, дочка. Но Катя говорит: «Мне работать надо!» И вот этот Варивён, Боблокина-то брат, у них с Аграфеной детей не было,— и оне его, Димитрия, забрали. Но оне его хорошо вырастили! Он не обижался! На Тóкму⁸ возили его учиться...

— А сколько классов он закончил?

— А вот это я не знаю. Ну, может, класса три. Я не спрашивала никогда. Учился да учился...

— Как дядя Митя рос среди тунгусов?

— Занимался рыбалкой, охотой. По Кúте⁹ плавали. Там много зимóвий стояло. А вот всё, когда на охоту ходили, Варивён его учил. Вот уйдёт, спрячется, а Димитрий его на дороге¹⁰— бегат, орёт. Кричит его. Один раз, говорит, на дороге бегал-бегал, кричал-кричал, сел — и давай плакать! А вот с Боблокиным ходили — тот всегда расскажет, покажет. Нравилось с Боблокиным ходить по лесу... Я когда за ём пошла, всю Кúту переплыла. Ну, рыбу, мясо добудут — солят, а потом выплавляют в Усть-Кут¹¹. Там райсо... как его? — был. Вот туда сдавали. Сохатых набьют. Медведёй... Или вывозят на лошади, в турсука́х¹². Лошадь одна была. Оленей много было, ма́леньки таки́ ростиком. И вот оне сюда, где сейчас Азóвский, выезжали на них. Там домов-то не было тогда. Ну, привяжут оленей, а так их отпусти — оне убегут. А в Казáрки приезжали — тут Никихоровна с Иван Лавреновичем, первый дом стоял. У них Варя была, дочка; но это за вторым (мужем.— А. А.). Это не его была дочка, Варя-то! А потом у него Катя и Аня, две. Две дочки. И вот тунгусы приезжали к ним в гости. Жили, потом уезжали. Митрий-то когда пришёл из армии — тут-то, у Никихоровны, мы и познакомились с нём...¹³

— А где он в армии служил?

— Да Бог его знает! Шцас помню, думашь? В армии был, он же раненый.

8. Село в Катангском районе Иркутской области.

9. Левый приток Лены в Усть-Кутском районе.

10. Здесь: охотничья тропа с установленными вдоль ловушками на зверей.

11. Город на севере Иркутской области, основанный в месте впадения Куты в Лену; административный центр Усть-Кутского района. На тот момент, о котором идёт речь в воспоминаниях В. П. Корзенниковой, Усть-Кут — районное село.

12. Берестяные или кожаные ёмкости под молоко, мясо, рыбу, ягоды и т. д.

13. Говорит то «с ним», то «с нём», то «с ём». Это касается и местоимения «они», которое произносит по-разному, а также глагола «говорить», употребляемого и в его нормативной форме, и в сибирском — ленском — варианте: с усечением предупредного звука «о» и заменой ударной «и» на «е» в инфинитиве («говреть»).

— Это на войне?

— Да. Вот война, вот тогда призвали. Там его ранило: оне в окопах сидели. . . Потом он полз. Там рожь была посеяна, вот он потуда. По пашне. Выполз на дорогу. А как раз ехали, забирали раненых. Пара лошадей, бричка или как там. Телега. Большая такая. Оне его сгребли. Глаз у него раненый был. И вот в спину, э́вот, и сюда вот (в шею.— А. А.) пуля вышла! Если бы не выполз, дак он бы погиб там, потому что взади уже ехали военные. Немцы. И вот его увезли, в госпиталь положили. И он лечился там. Он же контуженый был, у него осколки в ногах были. Он хотел операцию сделать, к врачу здесь пошёл, в Усть-Кутé-то. Врач ему сказал: «Но чё оне тебе, не мешают?» — «Дак так-то,— говорит,— это...» — «Ну и ходи с ними!» — говорит. Так и не стали вырезать. Так он и умер с ними. . .

— Они давали о себе знать, осколки?

— Но конечно! Оне же кололи. А он ещё по тайге ходил. Да как ещё ходил — бегал! Он же привык там. По тайге идёт — где чё поставил, никогда не потеряет. Придёт на то же место! Тунгусы научили. . .

— И вот его комиссовали. . .

— Он в Казáрки, в Старую деревню-то¹⁴, стал приезжать. Ну, тунгусы же, оне вместе ходили. Оне меня знали. И пришли, и он пришёл! «Пришёл,— говорят,— сват — как с куста сломал! . . .» Я ишо не хотела за него, выгоняла. Целый год ходил. Потом раз — чё-то сделалось, и ушла с ём туда, на Бёлую-то! Жили в доме — вот как сельсовет-то, дак чуть поменьше. Там лето живёшь, рыбачишь. Потом мужики выплавляют. Зимóвья там были. Хлеб пекли. Печка в земле сделана. Вот яр такой. Вот так выкопано. Ну и труба поставлена. Заслонка. Вот посадишь, закроешь — и хлеб хорошо пекётся. Пирожки. Я-то, когда приехала, стала. А эти и говорят: «Ты ишо пёкчи умеешь?!» Я говорю: «Я всё умею! И хлеб, и пирожки. . .» Но я там чё? Лето прожила, потом зимой выехала в Казáрки, Николай-то родился. Чё там буду делать с ребёнком? Он же маленький был, по тайге-то таскаться с ним. А вот годика два было — я туда, на Бёлую, с нём поехала. А потом нам надо на речку ехать, на Кúту, рыбачить. А на оленях же такие зыбки. Олень как попёрся — и выкинуло (ребёнка.— А. А.), потерялся, пошли его догонять! Потом Бобло́кин нас на лошади, куда надо было. Тунгусы же делали берестя́нки¹⁵. Вот на этой берестя́нке выплыли в Усть-Кут, с Усть-Кутá домой приехали. Больше я там не была. Потом на работу устроилась. Вот где сейчас магазин-то взломанный, вот тут-то я работала — техничкой. . .

14. Историческая часть деревни Казáрки, которая в 1970-е годы стала расстраиваться в одноимённый посёлок. Сегодня на месте Старых Казарок — посёлок Глубокий. Фрагмент Старых Казарок — несколько изб — сохранился между посёлком Казарки и селом Подымахино.

15. Тунгусские лодки из бересты.

Бабка Варя, быстро и часто кивая, замолчала — видимо, сбившись с мысли. А в это время на улице затарахтел двигатель, и мимо зальных окошек, со звоном пошатнув их, проехала красная колёсная «двадцатьпятка»¹⁶ с поднятыми граблями.

— Кренёв сено поехал грести! Вчера два больших воза сделал, сёдни опеть возить будет! — со знанием дела сообщила старуха. И так же просто предложила: — Будешь морс пить? Свой, домашний. Валентина ставила. Возьми в кухне...

— Как тунгусы охотились? — немного погодя, попив из ведра кислого морса из красной смородины, спросил я у бабки Вари.

— Ну, бёлок добывали, и хорьки раньше были. С собаками; капканы ставили. Там ловили ещё — росомáги. В речке-то. Дак вот оне ставят, оне же выходят...

— Ондатры?

— Ондаторы, да. Вот оне их ловили, ондаторов этих.

— Собак много было?

— У каждого по собаке. У Боблокина две было. Оне их проверяли. Когда растёт, оне её берут в лес: куда на чего она способна... А вот там рыба мне нравилась — сига! У ней брюшки отрезаешь. Вкусные. Жаришь их. Наваришь. Потом хайрюзá. Один раз шуку поймали такú здоровую. Ну много рыбы...

— Вы упомянули, как тунгусы хлеб пекли... Можете чуть подробнее?

— Они прямо в зóлу выливали (квашню.— А. А.). Испекут, потом зóлу убирают. И вкусный хлеб был. Или вот когда они ездят, они вот костёр. Костёр когда прогорит, золá горячая, хлеб подходит, туда его — бух! В эту зóлу. И он поспеваает. Не сгорает и ничё. Ешь! Вынут, вот так вот обдуют — и едят...

— Вы говорите, что тунгусы жили в избах... А юрт у них не было разве?

— Юрты у них специально делали из бересты. Таки ширóки. Ну, потом они покупали этот материал, закрывать-то. Шкуров-то не было. И двери вот так вот сделаны. Там на серёдке костёр. Туда спят, туда спят. Костёр горит. Это, знаешь, когда плавашь по Кúте. А тут, на Бёлой, у них юрта, у íзбов. Избы были, и юрта стояла, тоже большая. Потому

16. Модель универсально-распашного трактора — Т-25.

17. Судя по всему, в костре хлеб пекли те, кто жил в юртах, а также во время охоты и рыбалки, когда снимались с места. В земляных печах, должно быть, пекли в тёплую пору года. А ещё вероятнее — разные способы выпечки использовались в зависимости от обстоятельств.

18. Тунгусы снялись со своей стоянки на речке Белой после того, как советская власть в 1960-е годы потребовала от них сдать оленей на мясо по минимальной закупочной цене. Впоследствии тунгусы расселились по Усть-Кутскому району. В частности, кое-кто обосновался в селе Турука, о чём упоминает и бабка Варя. (По рассказам Антипина Роберта Семёновича, старожила п. Казарки.)

что оне привычны. Вот дома, в квартирах живут — идут туда спать. В эту юрту. Мы-то с Димитрием не ходили, в избе жили. И там у них печка русская была, хлеб пекли, всё¹⁷. А щас там нету ничё. Уехали. По Кúте дома-то стоят? Турукá. Где-то там оне...¹⁸

— Помните, как охотились с мужем?

— Но конечно! Один раз соболя дóбыл, думал, что он уже пропащий. В карман полóжил. А он выскочил — и бегом! Давай его догонять. Или вот на Тíре¹⁹ были. Там рыбы наловили, дед ушёл по ягоды, а я осталася в избушке. А потом медведь пришёл. Ладно, что нигде не шарилася, в избе сидела, а так, может, он бы и поймал бы! Он ходил кругóm, а потом дед-то пришёл, собаки его угнали. Но он чё-то стрелял его, но не убил; видать — так... «Ну на фиг, — говорю, — я еду в деревню, а то и медведи сожрут!»

2.

...Вместе смеёмся. А дело идёт к вечеру. Солнце — красное, арбузное — клонится к лесу по эту сторону Лены, ярко отражаясь в стёклах бабки-Вариной теплицы. В избу заходят Николай Дмитриевич и Валентина Дмитриевна — дети бабки Вари и дяди Мити, а с ними дядя Володя, зять. Мужики кололи дрова, складывая за баней, «на задах», и уже умылись в огородной бочке. На футболках — сырые подтёки вниз от подбородка; в волосах — блестящие капельки воды. Тётя Валя варила собаке на железной печке, поставленной под навесом, и всё то время, что мы беседовали с бабушкой Варей, дым из короткой трубы с жестяным искрогасителем на конце то тянулся мимо окошек, то, завихряясь от редкого ветра, стелился над двором.

Дядя Володя с тётёй Вале́й живут в Усть-Куте, в Подымахино приезжают на выходные. Но летом почти всё время тут — на огороде да так, по хозяйству. Дяде Коле без одного года семьдесят. Сбитый, плечистый. Крепкий той крепостью, которая до сих пор встречается в иных стариках и часто становится легендарной, такой, о какой потом долго вспоминают, а имена самих стариков передают из поколения в поколение, как путевую вешку. Так, о дяде Коле, наверное, будут вспоминать, как за ночь вместе с напарником разгружал вагон цемента, поднимая с пола два мешка разом: сын бабки Вари и дяди Мити всю жизнь проработал в речном порту грузчиком. Кроме того, занимался гирями, отстаивал честь порта на районных соревнованиях. Выйдя на пенсию, вернулся в деревню, где и живёт с матерью...

Прошу вошедших рассказать что-нибудь об отце и тесте, тем более что бабка Варя устала и замолчала.

— Ни фрукты, ни овощи не признавал! — из кухни, собирая мужикам паужинок, кричит тётя Валя. — Даже такое воспоминание было: когда форсировали Днепр, пошёл купаться, а в него неспелым абрикосом

19. Левый приток Лены в Усть-Кутском районе.

кинули. С такой обидой рассказывал! Помидоры даёшь, он говорит: «Какая-то кислятина!» Не понимал вкуса. Мясо! Мясо!.. А потом (я уже забыла, сколько ему лет было), видимо, не хватает витаминов в организме, принесёшь — он его, помидор, даже невымытый ел.

— А он знал по-тунгуски?

— По-русски сразу-то не мог! — оживляется бабка Варя, как будто в ней стонулась какая-то не совсем ослабшая пружинка. — Но оне учили! Всё равно он стал потом по-русски говорить.

— Он по-тунгуски шпарил! — за матерью подхватывает дочь и тоже страгивается, выходит из небольшой плотной кухни, вытирая руки полотенцем. — Он не забыл, просто акцент поменялся. И он такой довольный был, когда приезжали тунгусы! Он с ними разговаривал. Он никогда язык свой тунгусский не забывал! У него и кличка была — «русский тунгус». И песни знал... Ой, какую-то всё песню пел! На тунгусском. Как же?.. А! «Кедрóня, кедрóня, гусэ энгó...» Про кедровку.

— А как узнали, что про кедровку?

— Ну вот «кедрóня». Я спрашивала, чтó значит — «кедрóня». Он говорил — кедровка. А про что там поётся, я не знаю. Он в детстве нас учил словам, которые знал, да я теперь забыла. Помню, что русских «лúчей» звали...

— Хлеб «колабаё» у них звали, — подсказывает бабка Варя.

— А русские песни пел? — спрашиваю у тётки Вали.

— Ну вот две, когда подопьёт: «Расцветёт под окошком белоснежная вишня» и «Вставай, страна огромная!».

Дядя Коля с дядей Володей вспоминают дядю Митю со своей, мужской точки зрения. И, конечно, главное в их рассказе — война. — Как ранило? — подсаживается дядя Володя — лёгкий, сухопарый, с большой залысиной, длящейся к затылку ещё со времён молодости, когда работал в геологической экспедиции, а отпуск проводил с тестем на охоте. С хрустом в суставе закидывает одну ногу на другую и первое время как бы помогает ей «освоиться», сцепив загорелые руки на колене. — Он бежал, наклонившись (так он рассказывал), и пуля в спину попала, а в шее застряла. Её даже пощупать можно было. В медсанбате разрезали и вытащили. Хорошо, по мягким тканям прошла...

Дядя Володя подумал, уставясь в пол, на котором уже лежала вечерняя тень, потому что солнце ушло за избу, а свет — маленькую лампочку на шестьдесят ватт, свешенную с потолка на обычном проводке, — ещё не зажигали.

— Ну вот мы охотились, он иногда рассказывал в избушке, — снова заговорил, вероятно, прокрутив в памяти эти кадры: зимовьё, беличьи шкурки на гвоздках, красный отсвет печки в углу, нары вдоль стен, два уставших человека в тишине. — Вспоминал, как страшно было при авианалётах. Вот после одной такой бомбёжки его и подобрали. У него была контузия. Ранения — в спину, в ногу, в руку...

— Дядя Митя называл места сражений, в которых принимал участие? — Старая Русса, озеро Сиваш упоминал, — с хриплым шерстяным клубком в голосе перечисляет дядя Коля, который, по словам бабки Вари, минувшей осенью изрядно справил день рождения, а наутро «всё побросал: пить, курить». Он всё так же стоит у входной двери, засунув кулаки — большие, как отлитые, в крупных извитых жилах, — в раздувшиеся карманы трико. — Само собой, Сталинград, он ведь участник Сталинградской битвы, орден Отечественной войны I степени был у него за это дело. Ну, был стрелком на фронте, потом первым номером на пулемёте «Максим». Автоматчиком на броне. Ну вот вроде все его должности. Но он много-то не рассказывал. При случае, да и то отрывками. Фильм военный смотрит, расчувствуется: «Это неправда, такого не было!» Или начинает: «Я вот там, там и там был...»

— А потом сидит и плачет... — тихо вставляет тётя Валя.

— Помню, рассказывал, как попали с напарником под бомбёжку, — продолжает дядя Коля. — Ну, смайнались в воронку от авиабомбы — переждать. А недалёко были немцы! И тут вроде как кто-то толкнул отца-то — как будто галька сыпется! Он голову поднял: два немца здоровую гранату на деревянной ручке — раз! — и пустили в воронку! Хорошо, что не бросили, а кáгом пустили. Она немножко прокатилась и остановилась. Взорвалась! Повезло, что никого не тронуло. Сделали вид, что «готовые», — и немцы ушли. А потом и эти вылезли, давай к своим...

Происходит заминка, и я отключаю диктофон.

— Когда у тунгусóх жили, он несколько раз падал! — спохватившись, досказывает бабка Варя. Она всё это время внимательно слушала, то согласно кивая, то порываясь внести какое-то уточнение, и вот наконец скрала нужный момент. — Упадёт и лежит, как мёртвый, а с нём потом эти тунгусы отваживаются. Трут, по́ят. Он когда первый раз-то упал, надо помогать, а я испугалась, из хаты убежала! Вот тебе и война, пожалуйста...

Что добавить к услышанному? Разве только то, что когда тунгусы стали покидать Белую, дядя Митя переехал на Лену и осел в Подымахино, по-прежнему охотился и рыбачил, а умер в далёком и смутном октябре 1993-го, незадолго до семьдесят первого дня рождения. Похоронен в Усть-Куте, где коротал последние дни.

Так закончился земной путь Русского Тунгуса.

СУДЬБА ВТОРАЯ. БАБКА ВАРЯ

Нынче бабка Варя — последняя из подымахинских старух, если не считать Людмилы Степановны Антипиной и Анны Ивановны Деевой, бабки-Вариной закадычной подруги. Обе кукуют у детей в районном центре, а свои избы (само собой, против воли) продали за материнский капитал. Других старух и вовсе прибрало деревенское кладбище.

Об этом бабка Варя говорит с предельной простотой: «Недалёко от меня ушли, скоро свидимся!»

В том, что бабка Варя пережила одних, а других — пересидела, не съезжая с места, есть свой сокровенный смысл русской судьбы, одной из тех, которым уготовано остаться в памяти земляков неким духовным путиком, мерой подлинности и полнокровности, межевым столбом на очередной развилке отечественной истории, когда сдвигаются пласты и сменяются времена и поколения. На этом пограничье неизбежно измываются многие национальные качества. Избываются, отбраковываются, уходят в отсев и снова сливаются с почвой. Но зато и обостряются до непознанной остроты, изглубляются другие. Те, что явлены нам, с одной стороны, как высший свет, а с другой — как засечная черта, за которой не станет ни нас, ни света. Если, конечно, так будет угодно Богу. И кто теперь наверное скажет, что лучше: неукоснительное сбережение некоторых характерных, но давно вызнанных в себе примет народа, которые на шаг вперёд выдвигают его в ряду остальных, едва начинается всемирная переключка, или частичная либо полная утрата этих черт в силу необратимых обстоятельств, но вместе с тем — обретение, поднимание со дна духовных запасников таких свойств, которые ни мир в нас не знал, ни сами мы в себе не подозревали и какие делают нас, может быть, изломанней и трагичней, но зато и приближённей к Богу, поскольку — *увидевшими* тот самый край, ту самую засечную черту, за которой нам уже *не быть?*..

Впрочем, на зиму и бабка Варя укочёвывает к дочке в город, барствует в тёплой благоустроенной квартире, для которой ни дрова колоть, ни воду носить не надо. И в Подымахино не остаётся ни одной старухи. Но к лету, как та верная птаха, бабка Варя возвращается. Стучит посохом по тротуару да мало-мало во́шкается по хозяйству: то сполоснутую склянку возденет на штaketник, то собачью цепь распутает. Но чаще сидит в зальце и смотрит в окошко, кто куда прошёл по проулку, кому сено провезли и какое судно плывёт по Лене.

I.

На другой день после разговора о дяде Мите я попросил бабку Варю рассказать о себе.

— Родилась в Казáрках двадцать пятого декабря тысяча девятьсот двадцать третьего года, — как прежде, охотно откликнулась старуха. — Отец — Пётр Степанович, мать — Лидия Яковлевна Антипины. Мать была за первым мужем. Он Данила был, у них четверо детей было. Его, Данилу, забрали на японскую войну, он там погиб, не вернулся. Она потом с отцом сошлась. У отца были фотографии: он когда японскую прошёл. Он много рассказывал, как там заражали речки. «Вот, — говорит, — напьёшься этой воды, жара же да всё, пить-то надо, — из глаз слеза текла почему-то!» Им запретили...

И вот он когда приехал с фронта²⁰, у него тут такие ленточки были! Оне сначала в Усть-Кутé жили. Там сользавод был, он там работал. А здесь было два брата и сестра. В Казарках. Чё ему захотелось? Там бы жил, никто бы его...

— А что случилось в Казарках после переезда из Усть-Кута?

— А здесь скота развели. Кобыла была, конь, жеребёнок годовалый, потом маленький жеребчик, корова, бык, телёнок, свиньи, бараны, куры... Полный двор. А Егор Палыч был Димитрия Егорыча отец. Оне клади ложили. Хлеб-то. Снопы. И вот сложили, Егор Палыч пошёл на охоту, а наш остался за него — следить. Огорожено было всё. Ну а осень сырая была. Клади-то эти загорели! Нашему-то вредительство приписали! Егор Палычу-то два года дали, а нашему — три, моёму отцу. Егор Палыч-то в Киренске²¹ отбывал два года, а нашего в Туруханск²² угнали. Оне там плоты плавили и в каку-то воронку попали. Плоты поразбивало. Все погибли, сколько было. Отец мой не вернулся. Отсюда же там сидели люди, оне и сообщили. А так-то бы откуда узнали, куда он девался?... Отца-то в апреле увезли, а Илья-то родился второго августа — на Ильин день. Его Ильёй и назвали, брата-то моего...

— А сколько вас всего было у родителей?

— У матери от Данилы четверо было: дочка и трое пацанов. Но какой-то тиф ходил брюшной, и ничё не могли сделать, пацаны-то эти поумирали. А вот Шура-то осталась, сестра-то. С отцом тоже четверо было: я и тоже трое пацанов. С двадцать первого года Алексей был; потом я, с двадцать третьего года; потом Гошка и младший Илья. Мать-то выросла в Якури́ме и там взамуж вышла. А отец родился в Усть-Кутé.

...Когда отца-то повезли... забыла, сколько мне лет было. Он меня на руках держал. Так плакал! Жалко ему было. Его сослали в апреле, а зимой всего скота, хлеб и всё-всё, до конца, — забрали, увезли! Вот эта Зоя Елисеевна: один-то её отец был. И ещё двое. Их трое мужиков забирало. Вот. А весной мать вызвали в совет, чтобы сеяла. А из чего она посеет? Ничё нету, всё забрали! Ни лошадей, ни...

— Как же вы управлялись с таким большим хозяйством?! Нанимали?

— А кого там управляться? Сами. Отец-то когда дома был, мы всё делали. А потом с матерью ходили убираться, помогали... План мать не приняла. «Что я сделаю? У меня ничего нету!» И всё, восемь лет

20. Вероятно, Варвара Петровна путает русско-японскую войну 1904–1905 гг. с Первой мировой, во времена которой начали применять химическое оружие. Таким образом, скорее всего, отец Варвары Петровны — участник Первой мировой войны. Сражался ли он на русско-японской и был ли на ней первый муж Лидии Яковлевны Данила — неизвестно. С другой стороны, в своём рассказе Варвара Петровна упоминает «ленточки», составлявшие часть военной формы Петра Степановича.

21. Город, административный центр Киренского района Иркутской области.

22. Село, административный центр Туруханского района Красноярского края.

дали ей! Посадили в лодку; она упала, ревет. А Ильле-то только девять месяцев было! Вот нас бросили как! Я когда вспомню, у меня другой раз слёзы бегут... Вот её уплавили в Киренска, а там Телячка, далёко в лесу. Телячка называлась, подсобное хозяйство. В общем, сеяли хлеб, горох; скота держали. Мать моя за коровами ходила. Ну чё? Нас бросили, мы пошли милостыньку собирать. Кто даст, кто не даст. Вот так жили, на кусочках. А тут дед жил. Нерусский. Чёрный такой. Хакани или как его. Он придёт, всё чё-нибудь принесёт: «О, Варя, ты уже постирала?!» Вот всё проверял нас. Люди же не все плохие. Нас научили, как говреть, просить милостыньку: «Так и так надо, Варя!» Баушка тут была, Шведа²³ бабка. Ну, много! Елизар Павловича Агафья, жена. Но она молодец. Придётся, она всегда поделит чё есть. Плачет, у самой семеро детей. Вот. А тётка Аграфена, отцова сестра-то, — та ни черта! У ней одна дочка была. Придётся за молоком. Чё же у ней? Корова, всё. А дочь, Клава: «*Эти* опять пришли?!» И больше я ни разу не была. Не ходили. И это родня! Други бы пришли, проверили, а оне даже ни разу. Это ни к чему она! Тут чужих жалко, а она, ёшкина мать! Чужи дают, а эти — нет... Или вот Василий Максимович, председатель был. Его, падло, до сих пор помню! Нас учат старухи-то, что пойдёте — вот так говорите. Ну, я прихожу, ёлки, чё... Пришли потом второй раз, а он: «Вы ещё, — говорит, — живые?!» Вот. Мужик взрослый — и так, детям такое говорить! Так мы лето прожили (в мае увезли мать-то). Нас в августе, что ли, в Киренска увезли... Это дядшка Иван, отца брат! В совет пришёл и говрит: «Вы что над детьми издеваетесь?! Куда-то их нужно определить, оне с голоду поумирают!» А Ильля-то, у него уж ручки *такие* стали. А чё я? Сама ребёнок. Лет восемь, наверное, было. Постирать могла, полы там. Варила. А как мы ели, щас-то этого нету! Тогда стаями птицы летали. Улары. Оне вот такие были (показывает руками. — А. А.). И мы вот плашечки: дощечки, туда волос конский наколотишь, петельки сделаешь. Оне попадают! Мы их наловим, натеребим...

— А зачем они туда лезли?

— А там насыпешь хлеба или чё-нибудь, подложишь туда — и оне садятся клевать. Летят — раз! Волоски — раз! — за шею. На землю ставили, по понгбрю²⁴. Наварим их. До сих пор помню: блёстки плавают. Жи-ирные! Вот как было...

— А кто вас научил плашки ставить?

— Дак Алексей-то. Он же старший был. Он знал. Оне и делали с Гошкой, братом-то... И вот нас посадили на пароход. Ну, большие-то: «Ленин»,

23. Фамилия, произведённая от этнического обозначения жителя Швеции.

Получила распространение после русско-шведской войны. По её окончании в России, в том числе в Сибири, оказались пленные шведы, часть которых впоследствии обрусела.

24. Скат речного угора.

«Сталин» ходил! Отправили в Кíренска. У нас одна бутылка молока была; оно скисло. Илья плачет. Мы ему дадим, попо́им его кислым молоком — и всё... На пароход посадили, взрослые люди — ну хотя бы в комнату определили куда-то! А то вот раньше трапы были, а тогда же дровам топили, ничё же не было. И вот тут нас посадили. А эта женщина там ходит — ну, работает которая, печки топят. Вот она говорит: «Девочка какая сидит, ребёнка дёржит, даже не спит!» До сих пор у меня в голове осталось! А тут чё? Повернись, усни — он улетит в Лену, тут рядом всё!.. В Кíренска нас милиция встретила. Увезли в милицию. Там ограда больша-ая! Там в футбол играли. Там коридор такой большой. Там крыльцо, тут крыльцо. Тут выйдем, там... Другие бы хоть покормили! Один раз принесли вот такие кусочки. Чёрны-чёрны! Главно, четыре кусочка на палочках...

— Хлеб? А почему на палочках?

— А вот спроси, зачем оне! И больше не давали. Вторые сутки шли, пока мать оттуда на лошади привезли. На лошадях этих возили молоко, в магазины сдавали. С этой Телячки. И нас забрали. Но там-то кормили, молоко и всё давали! Вот мы там жили. Там барак большой — там мужчины. Второй — там женщины. Много политических сидело. Они грамотные очень. Они написали в Москву: как оно было, как чё получилось, за чего посадили. И оттуда пришло (тогда же Сталин ещё работал): «Освободить!» Зимой освободили. Куда деваться? В Кíренске у нас знакомых нет никого. К однем она, мать, выпросилась там. Муж с женой и чья-то баушка была (старенькая; его или её мать — вот этого я не знаю). Так заходишь — веранда большая, сюда — коридор. Плита такая стояла. Там — зало и комната (там баушка или кто ли спал). Ну, нас пустили. Ну а чё? Дети есть дети. Потом чё-то не понравилось. Нас к курицам застáли²⁵. Курятник такой большой — вон как баня у нас стоит, такой же. Ни пола, ничё нету; только лавки вот так. Ну а куда деваться? Вот туда мы и пошли. Потом Гавриил Павлович Наумов и дед Стручёнко... Стручёнко дедушка был. Он сосланный был из Украйны, сюда по́слатый. Дед хороший. Вот мы с ём дрова пилили ходили. Потóм. Когда подросла, могла. «На пúтик» называлось. Он накормит, всё. Молока, хлеба даст. Я домой ташу. Я до сих пор этого дедушку Стручёнку вспоминаю, я его не забываю! Он как хохол вроде. Украинец. Он и говорил по-украински. А тут женился. С бабкой жил в Казáрках. И вот оне, Гавриил Павлович и этот дед Стручёнко, на лошадях груз возили из Казáрок. И где-то мать их встретила. А так

25. Здесь: закрыли. Бабка Варя употребляет этот сибирский диалектизм с долей экспрессии, хотя обычно эта словоформа не нагружена эмоциональными оттенками. Экспрессию в данном случае образует, с одной стороны, сама тема повествования, а с другой — скрытый контекст, в котором это слово чаще всего употребляется (ср.: застáть корову в стайку, куриц в курятник, собаку в вольер и т. д.).

как бы мы оттуда зимой выехали? Не знаю, чё бы стали делать! Ну и оне нас забрали, тулупом закрутили. Привезли в Казáрки. Мы тут у дýшки Ивана побыли, потом к своёму дому пошли. Пришли — ничё нету! Всё кто-то куда-то стаскал. Осталось же всё там, в доме. Постель, всё. Куда мы девáм, ребятишки? Не повезёшь же туда! Дверь сломана. В подполье как будто золото искали. Какое золото у нас?! Никакого золота не было. И вот фотографии-то отца, видать, забрали. Мать — она в лодке и осталась, когда увозили. Кого она возьмёт?! Я их видела. Он как военный фотографировался...

— А кого-нибудь ещё в тот год забрали?

— Дýшку Китá-то тоже! Он в лесу всё. Всё туда охотился, на ту сторону (Лены.— А. А.). Там его угодья были. Он там сено косил, на Королёвой. Речка-то! Зимой плашки ставил, пáсти²⁶. Зайцев ловил. Рыбы там наловит, привезёт. Кит Петрович. Отцовый брат. И вот его из леса забрали. И по сих пор: куда увезли? А потом тётку, его жену. У них детей не было. Оне жили богато. Скот, всё. Ведь тоже забрали! А забирал-то этот... Нина Алексеевна-то была! За Венедиктом! Дом-то сгорел! Вот эти вот. Матери Нины Алексеевны брат. И вот когда приехали её забирать, там лодка стояла. Дак её волоком. Она так ревела! В лодку бросили. И увезли в Усть-Кут. Всё осталось. Эти вот потом забрали. Бичи. И раньше оне были, ходили...

— А этих за что забрали?

— Забрали — и увезли! — просто отвечает бабка Варя. Досказывает после паузы, двумя пальцами — указательным и большим — обведя по контуру пересохшие губы: — И вот мы приехали: у нас ничё нету, поесть нечего! Мать меня в няньки отдала. В Борísoво Игнатьевна жила. Тамарой дочку-то у неё звали, маленькая была. И Митька маленький, его всё звали «кореец»; он от корейца был. Ну, я с этой девочкой водилася. Шестнадцать килограммов муки давали. В месяц. Я плачу, никак не хочу идти. А чё делать-то? Но всё равно, хоть шестнадцать, всё поддёржка какая-то. А потом мама устроилась работать. Там раньше же Затон был. Она там в пекарне хлеб пекла. Ездил туда. Приедет, нас проверит — уедет...

2.

— Вот. В няньках жила. Потом выросла,— вспоминает бабка Варя, по-прежнему сидя на своей маленькой кровати в чистой побелённой прихожей.

26. Плашка — давящая ловушка на пушных зверей, сделанная из двух плоских частей расколотой чурки и устанавливаемая, как правило, под кроной дерева на некотором удалении от земли. Пасть — давящая ловушка на зайцев, косуль, кабарог, сложенная прямо на земле из брёвнышек той или иной длины, толщины и веса, в зависимости от характера предполагаемой добычи.

Кровать застелена покрывалом с диснеевскими мультяшными картинками, но взбитые в головах подушки по-старинному накрыты отмером из тюля. Жёлтый с цветочками платок пупком завязан повыше лба. Глаза обмётаны сизой плёнкой, похожей на ту, что образуется на застывающем студне, а ещё встречается в глазах лошадей, коров и телят (и хочется ущипнуть эту плёночку и снять, как молочную пенку или налипшую целлофановую чешуйку, а в ответ услышать: «О, ёшкина мать! Теперь как хорошо стало...»). Руки, не зная, куда податься без работы, лежат на коленях. Или копошатся, перебирая пуговицы на косом воротнике длинного старушечьего платья с рукавами. Но чаще массируют друг друга («Совсем одеревнели!»), и есть в них та лощёная гладкость, которая характерна для старых потускневших косовищ, топорищ, печных прихватов и иных подобных предметов, проживших долгий трудовой век.

— А учиться-то я ни черта не училась! Один класс только кончила. Ну, читать научилась, писать — дак хоть это-то! В Казарках школа же большая была. А ребята-то, младшие-то, потом учились. Теперь никого не осталось, все ушли. А мать умерла — девяносто лет было. Вот так и своя жизнь проходит! Страшно мне. А Гавриил Павлович — он жалел. Почему — не знаю. К ним придёшь — всегда накормят...

Бабка Варя задумалась. Поглядела в окно на зеленевший огород с зыбившейся на грядках сумрачной тенью облака, выставшегося над крышей. Затем перевела взгляд на руки, а рассматривая их, пошамкала ртом, будто пережёвывая корочку спёкшейся в печи картофелины. И, наконец, устремила глаза в пол, до которого едва доставали ноги, свешенные с кровати. И так, казалось, застыла, лишь время от времени, как маленькая, то сводя, то разводя кончики ног, обутих в мягкие домашние тапочки. Но вот ворохнулась; провела костяшкой указательного пальца по переносице, походя копнув в уголке одного, потом второго глаза. Продолжила тем же сухим голосом, в котором как будто не произошло изменений, словно всё в бабке Варе так зауглилось, что и сырость не брала:

—...И вот пошла на работу. Раньше же хлеб-то (зерно-то) сеяли! Жать пойдём — Гавриил Павлович меня всё: «Ну, Варя, иди в мою бригаду!» Семь лет у меня колхозного-то (стажа.— А. А.). А я и не знала! Пошла в райсобес, дак мне там сказали... А потом в магазине четыре года работала — техничкой. В школе — два. В Подымáхино. Школа-то большая стояла на угоре! Там Вáсса Ивановна, я, потом Шура работала, Татьяна Плóтниковой мать. А вот Сáвва Егорович-то был, он же председателем работал. Он приходит в школу, говорит: «Варя, иди в медпункт, там тебе лучше будет». — «Да а я ничё не знаю, как там буду?» — «Да тебе всё объяснят, ты поймёшь и будешь работать!» И правда! Я пришла — и смотри: и перевязки делала, уколы делала, чё только ни делала! Помогала всё. Кругóm. Кúрочкин был и Татьяна Николавна. Кúрочкин — врач хороший был. Я всё говорю:

если бы не он, Сентябринин Вовка бы не выжил! Он когда приехал в Борису. . . А тогда же туда отправляли врачей — на вёсну-то, пока лёд не пройдёт²⁷. Но он там жил. Пошёл обход делать. А раньше как? Зыбка же. Ну и он приходит. Открыл, посмотрел: «Чё с ребёнком-то?» Она, Сентябрина-то: «Не знаю! Врача вызвали, таблетки, всё...» Он посмотрел, таблетки эти все собрал, в печку скидал. Выписал. «Диагноз-то,— говорит,— не такой! У него же кури́на грудка уже!» Сентябрина говорит: «Я подымусь, посмотрю, живой ли он там...» И вот он его вы́ходил! До сих пор он живёт! Вон какой, Вовка этот. . . —. . . Мы с Шурой-то лес валили, на Маёвке,— подумав и, вероятно, высчитав, что именно упустила в своём рассказе, через какую ступеньку перепрыгнула, оттуда, из своей погружённости в минувшие годы, отзывается бабка Варя, чуть отмотав плёнку назад — до того момента, как трудилась в колхозе, а затем устроилась санитаркой в медпункт.

Маёвка в лексиконе местных жителей — местечко в десятке километров от Подымахино, за ручьём Еловым. Там в советские годы собирались на майские гуляния с чествованием передовиков, песнями-плясками и концертной бригадой из районного Дома культуры. — Раньше же пароходы дровам топили. И вот мы готовили швырёк. Там Василия Константиновича Тоська была, вот Шура, потом Саввы Егоровича сестра Надя. Домик стоял, всё. Жили там с одним дедом. Мне уже двадцать лет было. Это мы от «Лензолотофлота» работали. Оттудова, с Усть-Кутá. Бригадир у нас был — Космаков. Дневная норма — пять кубометров. Да ещё надо поколоть и сложить! Вот мы там зиму пилили. А когда навигация открылась, он с Киренска приехал. Тернёв. К нам пришёл: «Так, девки, на работу!» Ну, мы чё? Мы там не оформены были! Мы — раз! — с Шурой собрались и пошли на работу сюда, к баканщикам. А этот, бригадир-то наш, Космаков,— он на нас в суд подал. Но потом нам пришли повестки. Пошли мы с Шурой. Тернёв нам наказал, как и чего говорить. «Смотрите,— говорит,— на вас в суд подадут, не путайтесь. Вот то, то и то...» Ладно. Первый раз сходили. А у меня чирки²⁸ были — кожа да сырая подошва пришита. Пока шла до Усть-Кутá, летом же это было,— в чулках одних осталась! Эти одне передá только остались. . . Но нас допросили, всё. Мы им объяснили, сказали. Нас отпустили. Потом второй раз вызвали. Сначала её допрашивали, потом меня. Шура-то, не знаю, чё она там говорила. Но так же, он же нам объяснил, чтоб никуда! Ладно. Тёрнев-то — он молодец был! А там оне все документы сделали, в Киренске, чтоб никаких придинок. Оне же придут проверять! Ну и теперь меня

27. Деревня Борисова находилась на правом берегу Лены, а Казарки и Подымахино расположены на левом. Теперь нет ни Борисовой, ни врачей в поселковой амбулатории, один только «медицинский работник общей практики» и его ассистент.

28. Кожаная сибирская крестьянская обувь без голенищ.

позвали — к судье или как... К прокурору. Он меня спрашивает. Я ему объясняю: так и так, мы не оформлялись, мы временно работали. Но и потом он мне говорит: «Чё он вас, крюком вытаскивал?!» А я возьми да скажи: «Да хотя бы крюком!» Вот надо же так сказать! Он по столу ка-ак трахнет! Так испугалась, а потом давай хохотать. Ну чё?! Дурак, молоденькая же была. Он, поди, думает: «Она сама-шедчая, что ли?!» «Всё,— говорит,— идите!» И ничё нам больше не присудили. Освободили...

—...Потом Николай Фёдорович там работал — продавцом,— посмеявшись, с наслезнёнными глазами возвращается бабка Варя к той поре, когда мыла полы в магазине.

Этот неожиданный скачок в повествовании некоторое время зияет образовавшимся зазором. События напластываются, как льдины в реке, и долго не сходятся. Зато когда, слово за слово, деталь за деталью и множеством других вещей и понятий, трещина в бабки-Варином рассказе начинает сшиваться, с природной естественной силой срастаясь в единое целое, как стыкуется и собирается шуга, ты вдруг не обнаруживаешь во всём этом ни сучка, ни задоринки, как будто эта мозаичная картина была явлена не языком смертного человека, а саму себя вносила и родила как слепок некоей растворённой над нами высшей материи.

— Если бы я *така́* была, мне бы кто доверил?! — восклицает бабка Варя, должно быть, раздув в сердце какую-то давнюю тлевшую обиду. — Он же уезжал! Раньше же возили продукты на поле, где бригады-то. Вот он, Николай Фёдорович, поехал куда — ключи мне оставит. Я всё там помыла, убрала и замкнула. Приезжат — я всё ему отдаю. О, всё меня оберегал! А потом Николай Прокопьевич, с ём я ишо работала (тот-то, Николай Фёдорович, уехал в Половинку, не стал тут работать...). И вот Николай Прокопьевич стал за него. Один раз подпил. А там бочка такая большая стояла. Там соль. Ну, рассыпную вешали. Он выручку взял в соль запрятал. Вот. Ну и теперь чё? Пришёл утром, а денег-то хватился — нету. Ладно. Пошёл ворожить, Мбхова-то Надя была. Она сказала: «Ты ищи где-то там...» Потом кто-то пришёл соль брать, он почерпнул из бочки — эти деньги оттуда! Вытащил. Смеётся... Или вот ещё другая работала продавцом, с Половинки же. Забыла, как её звали. И как-то вечером он ей сказал, Николай Прокопьевич-то: «Ты её проверь, может она деньги воровать или нет». Ладно. Она и набросала. Я их собрала и положила тут. И с другого стола опять деньги набросаны. Ладно! А тогда же ишо свету не было. Лампа горела. А там большая печка стояла. Я же могла замести и в печку выкинуть! Вот. Я ей говрю: «Ты чё сёдни, много наторговала? Чё деньги-то разбросала? Чё кого делаешь-то?!» Я ведь не знала, что она специально! А потом она чё-то с Николай Прокопьевичем разругалась и мне сказала: «Николай Прокопьевич сказал тебя проверить. Вот я и проверяла!» Я говорю: «Пускай себя проверят, а меня проверять

не надо! Я,— говорю,— сколько с продавцам проработала, ни один не сказал, что я чё-то взяла!» В больнице проработала! Где таблетки могла, всё. Но, однако, я не брала. На фиг, я лучше своё отдам! Чужо́ брать никогда не буду. У меня такая и Валентина. Мы вон голодные ходили. Пойдёшь, выпросишь. А мы не лазили в огороды. У нас такого нету, чтоб пакостить... А Тамара Глебовна, она техничкой тоже работала. Она плавала на ту сторону (Лены.— А. А.), помогала там с продуктами. У ней кармашек тут. И она где-то свой бумажник потеряла! Но, приходит в магазин, стали искать. Я говорю: «Она чё, за прилавком ходила, что ли?! Та́м ходила, а та́м — народу много! Откуда знашь, кто его взял? Может,— говорю,— она там, где плавала, потеряла?! И теперь меня испытывать начали?!» Ой, на фиг! Я потом ушла оттуда, в школе работала. А потом Савва Егорович меня в медпункт, спасибо ему. И так двадцать шесть лет проработала! Я бы ишо могла. Я заболела астмой бронхиальной, она до сих пор меня мучит. Так пойду когда-нибудь и задóхнусь...

Старуха выдохнула — отдохновенно, длинно.

— А мать-то умерла, мы уже взрослые были. Она в Казáрках жила. Потом заболела, мы её забрали вот в этот дом, она тут и умерла. В Казáрках похоронили, на старом кладбище. Она сказала. Там у ней два сына. Один маленький; ему год не было, он умер чё-то. А Гошка — он в колхозе работал, на лошади. И вот как-то пошёл поить её, коня-то этого. А на угоре стояла кузница, Николай Петрович был кузнецом. А Колька Арсэнтьевский, он там чё-то в кузнице был. Он выскочил — конь-то ка-ак понёсся! А Гоша узду-то сюда вот повешал, конь-то когда дёрнул — она зарочíлась²⁹! Как ему руку не оторвало?! А там под горой были брёвна. И вот Гоша об эти брёвны... И он отшиб почки! Стал болеть, в Иркúтска возили, везде. Ничего не помогло. Он потом кровью мочиться стал. Так и умер, почки отказали. Ему уже... это чё? Семнадцать лет было! А старший, Алексей... он старше меня на два года... тот-то ничё. Выросли, всё. А вот на фронт взяли, он там погиб. С Ильлёй тоже неладно получилось... Так я осталася одна. Но я вот всё благодарна, что зять мне хороший попался, дурного слова не скажет. А то у других-то бывает, что дети всяко-разно, а эти — не! Но и нам не надо соваться! А то мы тоже можем: лезешь куда не надо! — смеётся. — Молчи, глухá, меньше греха! И пошла, и не связываюсь ни с кем...

Смеётся.

... Большой и полноводной была жизнь Варвары Петровны Корзенниковой, всего не передать. То с шуткой, то перекатывая в себе камень, рассказывала старуха о своей доле: как побирались, как пошла работать, как горели колхозные амбары, как неводили в Лене, чтобы прокормиться в войну...

29. Зацепилась.

А я сидел и думал, что эти две жизни, дяди Мити и бабки Вари, две эти судьбы не должны уйти бесследно, ни за грош, иссякнув, как речки в засуху. И верю: теперь не уйдут, и вовсе не потому, что сын Русского Тунгуса весь обличкой в отца, а в огороде ходит с лейкой в руках не кто иная, как молодая бабка Варя. Во всяком случае, хочу верить, что не сегодня, так завтра настанет это «теперь», в котором дяде Мите и бабке Варе будет даровано если не бессмертие, то долгое существование уже после жизни, после смерти, после всего, что с ними, с русским народом, с Россией случилось в одном из самых страшных веков нашей истории. Память об этом — тот высший свет, что посветит нам и во тьме, а беспамятство — та засечная черта, какую лучше не переступать, потому что там нет ни мрака, ни света — одна пустота, немота, змеение праха, налипание космических песчинок и приход миров, в которых нам уже не быть...

Пришла пора прощаться, тем более что стало вечереть и харламовские ребятишки прогнали по угору десяток коров и телят — вот и всё подымахинское стадо. Но по всему было видно, что старухе не хочется отпускать. И когда я уже выкатил велосипед за ворота, бабка Варя вышла проводить и, словно боясь, что забудет и потом не вспомнит, чуть слышным сокровенным голосом докончила:

— Государство забрало всё! А нам говрели в суд подать, когда приехали оттуда. Чтоб вернули чё-нибудь. А мать махнула рукой: «Да чёрт с ним!» И не подала. А так чё-то, может, и заплатили бы. А то, может, и обратно сослали бы!

Оба смеёмся.

— Вот такі дела, парень. Ещё помню чё-то! А то всё забываю. Этот год чё-то стало. Голова трясётся, ёшкина мать! Давление большое. А тут чё-то вообще. Лето-то протяну? Не знаю...

Смеётся грустно, тихо. И на этом расстаёмся. Я сажусь на велосипед и отъезжаю, а бабка Варя, поворотившись уходить, вдруг оглядывается и начинает говорить вдогонку, но, сообразив, что её никто не слушает, затворяет ворота.

Анатолий Байборodin

Поле брани Виктора Астафьева

*Сказал также [Иисус] ученикам:
невозможно не придти соблазнам,
но горе тому, через кого они приходят.*

Лк. 17:1

Говоря, ты рождаешь слово, и оно не умрёт до Страшного суда.

Святитель Феофан Затворник

Написанное пером не вырубишь топором.

Русское присловье

Мудрость мира сего...

Ныне довожу до ума записки, что рождались на мрачном исходе минувшего века, когда Виктор Астафьев жил в здоровом уме и ясной памяти, хотя и усталый от всесветной славы, когда маетно и азартно завершал надрывный фронтовой роман, когда обиженно и осерчало толковал о вчерашней России, что созидала рай для рабочих и крестьян, когда клял отца народов Иосифа Сталина и фронтовых командиров, *тупых, честолобивых и жестокосердных*, когда бранил и русский народ, *рабский, хмельной и ленивый*; а на исходе в оглушительном и скорбном разочаровании дольным миром, где всё суета сует и томление духа, начертал измождённой рукой: *«Я пришёл в мир добрый, родной и любил его бесконечно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощание...»*

Коли, по преданию, писатель в предчувствии близкого исхода жаждал беседы с иноком, то, очевидно, в любви ко Всевышнему и ближнему, в покаянии рассталась душа с плотью: *«Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего Виктора, и прости ему вся согрешения вольная и невольная, и даруй ему Царствие Небесное...»* А на земле российской, коя и поныне спасается праведниками, в людской памяти навечно поселились любомудрые и краснопевные, народные и природные сочинения Виктора Астафьева *«Царь-рыба»*, *«Последний поклон»*, *«Ода русскому огороду»*, *«Звездопад»*, *«Пастух и пастушка»*, *«Кража»* и другие произведения, в коих *«русский дух и Русью пахнет»*, где писатель *«милость к падшим призывал»*, где писательское слово было послушно Богу. И будут жить, будить от душевной дремы, греть зябнущие сердца, доколе будет жива русская словесность, избранная, что от Бога, а не князя мира сего.

О талантливых русских писателях, подобных Виктору Астафьеву, Валентину Распутину, народной властью, а потом и буржуазной всемирно повеличенных, написано изрядно сочинений и мудрых, и ярких, и столь же пустого славословия: *уж и последний певец русской деревни, уж и совесть нации, уж и печальник, и молитвенник о народе русском*. . . Устами лукавых поклонников, что греют руки в лучах писательской славы, и устами дурковатых пустозвонов мёд бы пить, а не речи творить. Ишь, словоблуды медоточивые, патокой залили домовины, души усопших слиплись. . . Даже о святых исповедниках, проповедниках, прорицателях тише толковали, а святые боговдохновенные любомудры спасительной горней мудростью, да и красой слова возвышались над мирскими писателями, даже гениальными, как божественное небо над грешной землёй. Лишь святых, что одолели похоти земные и просияли в земле российской, не грех славословить: де, печальники и молитвенники о народе русском, ибо их святые молитвы слушает Господь Бог.

Тьма суетного славословия клубилась над Енисеем, над приречным селцом, где явился на Божий свет грядущий народный писатель, и слава Богу, что светились над рекой и поклонные слова, подобные слову Михаила Тарковского в очерке «Речные писатели», где нынешний певец батюшки-Енисея с краснопевным даром, живописно свил прозу сибирских писателей Астафьева и Распутина с великими сибирскими реками — с Енисеем и Ангарой. Глянув же мои записки о Викторе Петровиче, Михаил встревожился: «А любил ли я прозу Астафьева?..» — на что я ответил:

«Михаил, брат, здорово!.. В записках я хоть и бегло, но запечатлел былой восторг или тихое умиление от прозы Астафьева — разумеется, избранной, поскольку недавно перечёл „Обертон“, вспомнил иные фронтовые повести и опечалился: виден Астафьев — иронический бытописатель, увы, порой и скабрёзный, но уже смутно видится Астафьев — народный и природный живописец. . . Мы были знакомы, в моих архивных залежах хранится даже его письмецо о моих сказах; но виделись мимоходом, говорили мимолётом и не с глазу на глаз. Я не досаждал Виктору Петровичу, хотя слышал. . . если приятели-писатели по дружбе не сбrehали. . . что Астафьев даже и похваливал некие мои сочинения, попавшие ему на глаза. . . Обычно его плотно окружали поклонники из писательских дарований, среди коих воронами кружили и ловкачи из тогдашних либералов, что бранились с русскими националистами. Впрочем, жадное до славы, премий и гонораров либерально-банкетное писательское, издательское воронье позже оцепило и Распутина в его поздние лета, да так густо, что писателю из простолюдья и не прошибиться.

Жалко мне лукавых критиков, ловких издателей и прочих *деятелей*, что лезут в друзья к знаменитым русским писателям, возлюбив их не за слово, а за славу, некогда дарованную Красной Империей, чтобы

согреть руки в сиянии славы. Душу-то можно согреть и без дружбы, читая сочинения великих, а вот пожить... Миша, я поправлю статью и, может, поярче выражу любовь к житейскому миру Астафьева, близкому мне детством и отрочеством среди вольной природы; и выражу любовь к слову Астафьева, родному, народному, у коего я, молодой и заполошный, учился...

Несмотря на то, что с косыми, исподлобными, поздними взглядами Астафьева на русский народ и русскую историю я не соглашался... я был в согласии с Распутиным... талант же астафьевский любил и ученически чтит — талант, воплощённый даже и в романе „Прокляты и убиты“, хотя воплощённый в гневе, в сердцах... Астафьевская писательская судьба в сих записках стала лишь поводом для размышлений о русской литературе в её горних вознесениях и дольних падениях в безумную мудрость века сего, ибо „мудрость мира сего есть безумие пред Богом“ (1 Кор. 3:18,19). На том, Михаил, и кланяюсь. Храни Господи и тебя, и твоих домочадцев. Зима 2016 года».

В сих заметках вдосталь цитат, больше, чем авторского повествования, и не случайно, а дабы подчеркнуть, что здесь не личностные... упаси Бог, скажут ещё и — *ревнивые, безжалостные*... субъективные размышления автора о знаменитом писателе, но суждения его читателей, почитателей и писателей. Не обременяясь дотошным разбором сочинений... пусть книжные мудрецы размышляют о роли многоточий в «Последнем поклоне»... решил я поразмыслить о поздних воззрениях Астафьева, выраженных в его речах и сочинениях, в переписке, собранной в последней книге пятнадцатитомного собрания сочинений, увидевшего свет благодаря Борису Ельцину. Изрядно астафьевских посланий, что выплеснулись на бумагу в душевных порывах и смятениях, изрядно и писем самому Астафьеву, столь сокровенных, заповедных, что из этических соображений и не все письма уместно было включать в собрание сочинений, чтобы не выносить сор из писательской и... русской избы. Но теперь уж что, теперь уж написанное пером не вырubiшь и топором; теперь всё, даже сказанное мимоходом, в сердцах, сказано на века.

Публичная переписка, где и Астафьева не жалуют, где Виктор Петрович иной раз и сам себя не щадит, выразила душераздирающие противоречия поздних писательских воззрений на Россию и родной народ, на русский национализм и его вождей и глашатаев; и если закатные идеи Астафьева в художественных произведениях не так остро и угловато выпирают, смягчаясь повествовательным потоком, то в письмах предстают оголёнными, крикливо-митинговыми, похожими на хлесткую брань.

ТУРГЕНЕВ, ТОЛСТОЙ И АСТАФЬЕВ...

Подумалось: записки об Астафьеве в изначальном виде узрели свет в журнале «Сибирь»¹, когда Виктор Петрович ещё доблестно сражался

с русофилами; и, может, записки были интересны и злободневны лишь при жизни писателя, в то российское злолетье, когда русофилы яро бранились с русофобствующими властителями... растлителями дум?... По древнему обычаю про усопшего либо молчат, либо говорят добрые слова, а ведь в моих записках есть и упрёки, и укоры... Но... скажу в оправдание: восхищаясь живописным словом Астафьева, в записках, что нынче привожу в Божий вид, я размышлял не столь о творчестве енисейского сочинителя, сколь о его поздних взглядах на русский народ и отечественную историю, хлётко и откровенно выраженных в военном романе и в переписке с друзьями и недругами, с писателями и читателями. К сему хотелось и вписать строку в историю русской литературы, запечатлеть писателей на фоне идейной брани, что разгорелась в России на мрачном закате прошлого и кровавом рассвете нынешнего века. А брань та лишь чудом не переросла в братоубийственную, и Астафьев мог оказаться с былыми друзьями, вроде Белова и Распутина, по разные стороны баррикад... А перво-наперво хотелось в записках показать писателя, сквозь великие искушения, сквозь мирские и творческие страсти пришедшего к смирению, покаянию и спасению во Христе.

Говоря с любовью о могучем, словно Енисей, художественном даровании Виктора Астафьева, говоря о его весёлом, простолюдном характере и певучей любви к природе — творению Божию, читатели, а тем паче писатели и учёные имеют полное право толковать, и даже посмертно, об идейных шатаниях и метаниях литератора, что из души выплёскивались в сочинения. И толкования, пусть даже и ворчливые, — не тень на плетень: не умалят величия художника в мировом искусстве, но правдиво изобразят сложнейший художнический мир во взлётах и падениях, в блужданиях и озарениях. Про еретика Ария, которому дал в ухо святой угодник Никола Чудотворец, надо бы молчать либо говорить добрые слова — покойник же, да к тому же, хоть и *кривой*, а могучий, религиозный мыслитель, но ведь *собаку* Ария уже семнадцать веков христианские богословы костерят за ересь поганую...

А, скажем, Иван Тургенев в читательском сознании не выпадет из череды классиков русской литературы оттого, что православный христианин Фёдор Достоевский... да и все тогдашние русофилы... воспринял роман Тургенева «Дым» как *западническую* клевету на Россию. «Дым», по словам Фёдора Михайловича, «подлежал сожжению от руки палача»; «...книга „Дым“ меня раздражила. Он (Тургенев.— А. Б.) сам говорил мне, что главная мысль, основная точка его книги состоит в фразе: „Если б провалилась Россия, то *не было бы* никакого ни убытка, ни волнения в человечестве“. Он объявил мне, что это его основное убеждение о России. <...> Ругал он Россию и русских

1. Виктор Астафьев. Два лица // Сибирь. Иркутск, 1999. № 3. С. 169–182.
Подпись: Г. Соснов.

безобразно, ужасно. Но вот что я заметил: все эти либералишки и прогрессисты, преимущественно школы ещё Белинского, ругать Россию находят первым своим удовольствием и удовлетворением. Разница в том, что последователи Чернышевского просто ругают Россию и откровенно желают ей провалиться (преимущество провалиться!). Эти же, отпрыски Белинского, прибавляют, что они *любят Россию*. А между тем не только всё, что есть в России чуть-чуть самобытного, им ненавистно, так что они его отрицают и тотчас же с наслаждением обращают в карикатуру, но что если бы действительно представить им наконец факт, который бы уж нельзя опровергнуть или в карикатуре испортить, а с которым надо непременно согласиться, то, мне кажется, они бы были до муки, до боли, до отчаяния несчастны. <...> Я (Достоевский.— А. Б.) перебил разговор²; заговорили о домашних и личных делах, я взял шапку и как-то, совсем без намерения, к слову, высказал, что накопилось в три месяца в душе от немцев: „Знаете ли, какие здесь плуты и мошенники встречаются. Право, чёрный народ здесь гораздо хуже и бесчестнее нашего, а что глупее, то в этом сомнения нет. Ну вот Вы говорите про цивилизацию; ну что сделала им цивилизация и чем они так очень-то могут перед нами похвастаться!“, Он (Тургенев.— А. Б.) побледнел <...> и сказал мне: „Говоря так, Вы меня *лично* обижаете. Знайте, что я здесь поселился окончательно, что я сам считаю себя за немца, а не за русского, и горжусь этим!“»

Достоевский обличал русофобствующего германофила Тургенева, разумею, не из честолюбивой ревности... сам при жизни в гениях ходил... разумею, не из зависти к богатому барскому имению и даже не от славянофильства, но лишь из сыновей любви к родному русскому народу, униженному и оскорблённому. Оно вроде и брань на вороту не виснет, но ведь простоватый русский книгочей может и за чистую правду принять выводы Тургенева о том, что «...Русь в целые десять веков ничего своего не выработала, ни в управлении, ни в суде, ни в науке, ни в искусстве, ни даже в ремесле... <...> Наша матушка, Русь православная, провалиться бы могла в тартары, и ни одного гвоздика, ни одной булабочки не потревожила бы, родная <...> потому что даже самовар, и лапти, и дуга, и кнут — эти наши знаменитые продукты — не нами выдуманы. <...> Ну скажите мне на милость, зачем врёт русский человек? <...> Лезут мне в глаза с даровитостью русской природы, с гениальным инстинктом... <...> Да какая это даровитость, помилуйте, господа? Это лепетание спросонья, а не то полужвериная сметка. <...> Русское художество, русское искусство!.. Русское кружение я знаю и русское бессилие тоже, а с русским художеством, виноват, не встречался. <...> Русские люди — самые изолгавшиеся люди в целом свете; а ничего так не уважают, как правду, ничему так не сочувствуют, как именно ей...»

2. Достоевский беседовал с Тургеневым в германского городе Баден-Бадене.

Ранешние *царские* западники, хотя, случалось, и грешили русофобией, всё же были западники *по убеждению* и думали: западно-европейский стиль жизни во благо России; нынешние же лукавые «западники» с русофобской пеной на губах куплены Западом с потрохами и по сниженным ценам, — товар бросовый, молью побитый... *И за славу суетную, злато-серебро испросил сумеречный князь душу, Богом дарованную...* А посему нынешним «западникам» хоть наплюй в глаза да хоть помочись в очеса — всё Божия роса... Среди русофилов есть малые и великие грешники, но русофилы каются, а русофобы каются неспособны, ибо без Бога и царя в голове, русофобы — не грешники, русофобы — слуги князя тьмы...

Не унижают же художественный гений Льва Толстого, но во спасение русской души, скажем, грозные проповеди святого праведного Иоанна Кронштадтского супротив ереси мятежного графа: «Дерзкий, отъявленный безбожник, подобный Иуде предателю... Толстой извратил свою нравственную личность до уродливости, до омерзения... <...> О, как ты ужасен, Лев Толстой, порождение ехидны... <...> Доколе, Господи, терпишь злейшего безбожника, смутившего весь мир, Льва Толстого? Доколе не призываешь его на суд Твой?.. Господи, земля устала терпеть его богохульство. <...> Возьми его с земли — этот труп зловонный, гордостью своею посмрадивший всю землю. Аминь»³.

Мог ли светоч земли русской праведный Иоанн Кронштадтский писать вежливей, читая статьи графа Толстого, клопочущие ненавистью к Русской православной церкви? «...Я убедился, что учение Церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же — собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения. <...> ...я отвергаю все таинства» (*из письма Л. Толстого по выходе Постановления Священного Синода об отлучении его от Церкви*).

А ранее борзый и гордый гений замахнулся и на Святое Писание, на христианство: «Разговор о божестве и вере навёл меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле» (*из дневника Льва Толстого*). Воистину, *зеркало русской революции*; верно мыслил великий Ленин, ненавидевший Достоевского за Церковь Христову, возлюбивший Толстого за отвержение от Церкви, равно и царя Петра Первого, родного большевикам по неприязни ко всему русскому, исконному.

Я повёл речь о писателе Астафьеве — и зачем же помянул предзакатного Тургенева, Толстого?.. А затем, чтобы показать идейную

3. «Думы о русском с древнейших до нынешних времён». Иркутск, 2017.

близость сих писателей в их позднюю пору, дабы заодно и подтвердить сказанное раньше: про усопших писателей грех говорить скверно, да и про всех ближних, живых и мёртвых, но растолковать простоватому книгочею об их мировоззренческих блужданиях во тьме — не грех, но лишь во благо нынешних и грядущих читательских душ. Правда, ещё толкуют мудрые: де, про покойных либо молчат, либо говорят правду...

Увы, забывали писатели речение Христа: «Невозможно не придти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят» (Лк. 17:1). Различны были изначальные мотивы писательских *ересей*: у великих... Тургенев, Толстой... и блуждания великие, а равновелик ли дворянским классикам сибирский мужик, нынешний век решит; но, я думаю, вершинные сочинения Астафьева — уже в ряду классических произведений и даже превосходят иные, ибо запечатлели не узкий дворянский мир, но крестьянский, суть — народный, поскольку крестьянство в начале прошлого века составляло почти девяносто процентов народонаселения России, поскольку в русских, чем бы те ни промышляли, и по сей день крестьянский дух не выветрился из души. Но то уже иная беседа...

ВСТРЕЧИ

Литературная судьба моя — горькая полынь: тяжко из деревенской грязи угодить в белоперчатные князи; а и грех жаловаться: на склоне лет одобрительно хлопали по плечу былые мастера, а к сему сподобился и общаться с писателями, коих при жизни величали классиками, а тех, кто в здравии, величают и поныне⁴. Валентин Распутин... многая лета, многая здравия... изрядно подсоблял мне, смутному и зелёному; с Владимиром Личутиным завязалась творческая и житейская дружба; с Василием Беловым обменивались книгами и письмами; не единожды встречался и с Виктором Астафьевым — в Красноярске, Дивногорске, Овсянке, в Барнауле, Бийске, Сростках, где мы вместе беседовали с енисейскими и алтайскими книголюбями, сжививали рядом в дружеских застольях; и, наконец... поминал выше... Астафьев однажды письменно толковал о моих рассказах.

Коли виделся с Виктором Петровичем годом да родом, мимоходом-мимолётом, то и не скопил в закромах столь случаев, чтобы писать обширные воспоминания, а привирать — грех. Вдруг... может, ни к селу ни к городу... помянулась расхожая на Алтае писательская байка... Как из снежка, пущенного под гору, вырастает снежная баба с морковным носом, так и после смерти Василия Шукшина обильно и стремительно вырос круг его *близких* друзей, жаждущих покрасоваться на фоне Шукшина, а может, и копейку зашибить на воспоминаниях. Попутно сочинялись и мемуары в духе: *я и Шукшин...*

4. Когда зрели сии записки, в житейском и творческом здравии пребывали Астафьев, Носов, Белов и Распутин.

И вот якобы на Алтае затеялся вечер памяти Шукшина, где писателя вспоминали его приятели и знакомцы; и когда вечер уже затихал, на сцену самостийно пробился застарелый стихоплёт, который так измаял писателей кудрявыми и корявыми виршами, что иные слабонервные, завидев стихотворца, падали в обморок. Забрался мужичок на помост и вещает: «А ведь и я встречался с Макарычем, и я хочу писать воспоминания... Помню,— говорит,— вхожу в приёмную второго секретаря Алтайского крайкома партии, а секретарша говорит: „У него Шукшин на приёме...“ О, думаю, подфартило: с Шукшиным свижусь, побеседую — худо-бедно, мы с Макарычем старинные друзья. Выходит Шукшин... в сапогах, кожаном пиджаке, сердитый... тут я и подбежал: „Здравствуйте, Василий Макарыч; помните меня?... я вам стихи посылал... в амбарной книге...“ Макарыч и говорит: „Почитал, почитал, дружище; да ты же ходячий гений...“ Но тут вздыхается другой поэт и обличает «гения ходячего»: «Да мы же, Федя, с тобой вместе были в крайкоме, и я слышал, что Макарыч ответил; он вот так махнул рукой на тебя и говорит: „Пошёл-ка ты, Федя, к едре-е-ене фене!...“»

Байка, конечно, но и нет же дыма без огня... Смех смехом, а и Виктора Петровича, видимо, постигала та же посмертная участь обрести тьму друзей. А к друзьям добавилась и тьма исследователей, что прошарили сочинения до жалкой запятой; помню, в Перми на Астафьевских чтениях среди мудрёных речей слушал профессорский доклад... про эмоционально-семантическую роль многоточия в произведениях Виктора Астафьева. Всё исшарили, всё истолковали; словно заплесневелым илом, завалили вымыслами и домыслами творческую и житейскую судьбу писателя; а ныне и до многоточий добрались...

Кстати, Виктор Петрович осчастливил сразу три российских города: Красноярск — здесь прошли детство, отрочество, ранняя юность, а потом и преклонные лета; Пермь — в пермские земли вернулся после войны с женой-пермячкой; Вологду — здесь долгие годы жил и творил. Осчастливил перво-наперво издателей и библиотекарей: под писателей вроде меня казна и ломаного гроша не даст, а уж под Распутина и Астафьева раскошелится, вот почему и крутился подле них околотературный ловкий народец. На помянутых советских *деревенщиках* нажились и услужливые, хитрые критики, и ловкие издатели, и прочие бойкие деятели искусства и журналистики.

Славили и славят Пермь и Вологда Виктора Астафьева, но писателю роднее Красноярье: здесь речным туманом уплыло в небесную синь деревенское детство, воспетое и оплаканное; здесь — батюшка-Енисей, оживший под писательским пером, матёрый и непостижимый в мощи и красе. Изначально и свиделись мы с Астафьевым в Красноярье, где с широким и хлебосольным советским размахом гремели Дни «Литературной России»; и писательскую братию, что слетелась

со всей России-матушки, не токмо поили и кормили от живота, но и катали по Енисею на белом корабле.

Речи Астафьева, публичные и тихие застольные, я не запечатлел в «записных книжках», а посему вспоминаю смутно, ведаю своими словами. Хотя слушал Петровича, отпахнув рот, страшась проронить и мелкое словцо, поскольку вырос среди мужиков, что не токмо анекдоты травили, а и веселили народец сельскими байками, искусно ведали таёжные бывальщины и былички про нежить лесную, полевою, водяную и болотную, избяную и дворовую. Я вырос в мудром и красном говоре, словно в тайге, дивной и щедрой.

Пристально всматриваюсь в чёрно-белую карточку, где десятка три писателей, гуртясь на палубе, замерли в ожидании птички-синички, что выпорхнет из фотокамеры: вот писатель Хайрюзов и я сидим на резиновой лодке, а меж нами — астафьевская внучка, а над нами — Петрович и его Марья, а далее — провинциальные сочинители вроде меня, грешного, коих власти осчастливили писательским праздником. Счастье же — лицезреть, слушать знаменитого писателя, гулять по Енисею на белом корабле, спорить, соглашаться в жарких застольных беседах, наперебой читать стихи, а ино и прозу...

Тут же родилась и другая карточка: полумесяцем выставили на потеху и поглядение бородатых писателей, куда угодил и я, забородатевший, кажется, с пелёнок; впрочем, ради красного словца молвлено с пелёнок, а ежели без прикрас: стукнуло двадцать девять лет, «Литературная Россия» напечатала рассказ с благословляющим распутинским словом, потом газета присудила премию «за лучший рассказ года», хотя, думаю, за распутинское слово, — тут и бросил я скоблить скулы, тут и зарос гнедой шерстью по самые очеса. Помню, гладко выбритый горемычный писатель едко высмеял меня: «Как в люди выбьются, так сразу бороду растят...» В бородатые, что сбились на нижней палубе, угодили и други мои Михаил Щукин — прозаик из Новосибирска и Владимир Башунов, Царствие ему Небесное, — талантливый русский поэт из Барнаула. И, помню, Астафьев с верхней палубы с отеческой улыбкой поглядывал на бородатое писательское племя, и, может, вертелась в уме ходовая присказка: борода что лопата, а ума маловато, — либо иная: борода что лопата, и ума — палата.

Государственная власть уже не страдала большевистским богохульством, и писатели в Красноярске посетили храм, потолковали со священником. О чём — хоть убей, не помню; да и священник в памяти не осел, поскольку меня, как и всю писательскую поросль, интересовал и волновал лишь Виктор Астафьев, о ту пору советской властью уже отмеченный Звездой Героя Социалистического Труда, двумя Государственными премиями СССР, изданный многомиллионными тиражами, переведённый на все языки читающего мира.

Среди молодых гостей в Красноярье и Владимир Константинович Сапожников, тоже матёрый сибирский прозаик; а коль годами был

близок Астафьеву и тоже воевал, то по-дружески и подсмеивался над писателем-приятелем. Но и Виктор Петрович за словом в карман не лазил, тут же лихо отшучивался. Жаль, не запечатлел я потешную перебранку пожилых бывалых мужиков дословно, а посему ведаю своими словами.

Помню, выбрались мы из автобуса, любовались храмом, тут и Астафьев подкатил на лаково сверкающей чёрной «Волге»... а может, белой, либо бежевой, вишнёвой... в каких ездили советские вельможи, вроде секретарей обкомов и крайкомов. Сапожников, помню, хвастливо говорит Астафьеву: мол, Витя, у тебя «Волга», а у меня, брат, «Нива»... «А у меня — ещё и водитель...» — осадил его Витя. «Нива» тоже почиталась машиной начальственной, а для худых дорог — родной и дорогой.

Ещё, помню, громоздкий наш автобус, неуклюже разворачиваясь на овсянкинских улочках, причалил к усадьбе Астафьева, и говорливой писательской братией наполнилась деревенская ограда, плавно переходящая в огород. «Витя, а на какой грядке тебе памятник поставят?» — усмешливо спросил Сапожников, на что Виктор Петрович осерчалось сверкнул зорким оком и, кажется, промолчал. Но когда мы нагрянули в усадьбу писателя Буйлова и нас встретил малый лет трёх-четырёх, что сидел на заборе и весело вопил, вот тогда Виктор Петрович и ответил: «Ума мало, молотит чо попало, вроде моего друга...» — и с лукавой улыбкой кивнул на Сапожникова.

Писательская братия любила Виктора Петровича — талантливого прозаика и затейливого балагура и баешника, каких в стародавние времена записывали шустрые туристы-фольклористы, хотя и жаль, что краснопевец-енисеец, случалось, солонó солил, острó перчил бывальщины и байки; и соромщина, словно трава-дурнина в житном поле, вскоре проросла и в художественной прозе — вспомним роман «Прокляты и убиты».

Валентин Распутин уродился потаённым, молчаливым... злоязыкие про эдаких обычно добавляют: мол, себе на уме... и если и говорил в дружеском кругу, то кратко и притчево; Астафьеву же был отсулён природой и породой дар сказителя и народного певца. По воспоминаниям, тот обладал сочным басом, переходящим в густой баритон, коим бы дякону петь на божественной литургии и в архиерейском хоре. Так и слышишь, Виктор Петрович, яко Шаляпин, возглашает: «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля».

Где бы ни сбилась в застолье писательская братия, если там оказывался Астафьев, то застольники слушали лишь его: мужики — с восхищением, барыни и барышни — с любовью, иные, может, и с надеждой на взаимность... Астафьев не чурался страстей мира сего, отчего и творческая, да и житейская судьба соткались из трагических

противоречий. В «мировой паутине» ныне изрядно воспоминаний и о сугубо личной жизни Виктора Петровича; вот выписка из недавно прочитанных:

«На фронте он несколько раз был тяжело ранен, здесь же он в 1943 году познакомился со своей будущей женой Марией Корякиной, которая была медсестрой. Это были два разных человека: Астафьев любил свою деревню Овсянку, где родился и провёл самые счастливые годы детства, а она не любила. Виктор был очень талантлив, а Мария писала из чувства самоутверждения. Она обожала сына, а он любил дочь. Виктор Астафьев любил женщин и мог выпить, Мария ревновала его и к людям, и даже к книгам. У писателя были две внебрачных дочери, которых он скрывал, а его жена все годы страстно мечтала лишь о том, чтобы он был всецело предан семье. Астафьев несколько раз уходил из семьи, но каждый раз возвращался назад. Два таких разных человека не смогли покинуть друг друга и прожили вместе 57 лет, до самой смерти писателя. Мария Корякина всегда была для него и машинисткой, и секретарём, и примерной домохозяйкой. Когда жена написала собственную автобиографическую повесть „Знаки жизни“, он просил её не публиковать, но она не послушалась. Позднее он также написал автобиографическую повесть „Весёлый солдат“, которая рассказывала о тех же событиях»⁵.

«...Привыкали они друг к другу долго. Характер у Астафьева был тяжёлый, неуживчивый, но брак не распался, выдержал, во многом благодаря ангельскому терпению Марии, за которое Виктор уважал её и любил всю жизнь. Несколько раз за время их супружества неусидчивый Астафьев вдруг срывался с места и куда-нибудь уезжал — то в Вологду, то в Красноярск, то ещё куда-нибудь, и не на маленький срок, а на полгода или дольше. Но возвращался он всегда, и Мария молча, без слова упрёка, принимала его обратно...»⁶

Может, ошибаюсь, но, чудится, в дальнем мире вдохновенно и верно Астафьев любил лишь природу, искусство и особо литературу... Помню, в начале девяностых, ещё не отчалив от патриотов к либералам, будучи на Шукшинских чтениях, Астафьев горько и прилюдно толковал о русской словесности, и, слава Богу, без соли и перца. Заповедовал: коли русская литература выживет, выстоит вопреки властителем-расплителям, то не грех бы литературе и памятник поставить — эдакую величавую скульптурную композицию: измождённый писатель, которого подпирают две заморённые бабоньки — библиотечкарь и учитель литературы... Эдакий бы памятник воздвигнуть в Красноярске, да хоть в самой белокаменной столице... Позже в застолье... вроде в шукшинских Сростках... когда братья-писатели завеселели,

5. «„Лейтенантская проза“ — Виктор Астафьев». Сайт «Военное обозрение», 16 апреля 2013.

6. Интернет-сайт «Вера. Светлое радио», 2015.

я, помнится, возразил Астафьеву: дескать, колесил и куролесил по Иркутской губернии, беседовал с библиотекарями, учителями словесности и нигде не видел заморённых, даже в глухомани, но — все крепкие, ядрёные... Виктор Петрович осерчал и сверкнул одиноким оком... не любил, чтобы перечили... и, кажется, проворчал: мол, картошку сеют...

Да-а, были Шукшинские литературные чтения, где Астафьев, Белов, Распутин, Личутин *глаголом жгли сердца людей*, проповедуя любовь к родному русскому народу; а как чужebesы порушили народную власть и обратили Российскую империю в топливную колонию Запада, то и Чтения обратились в лицейский Фестиваль, где, утеснив писателей, артисты тешили толпу, жаждущую хлеба и зрелищ. Впрочем, среди артистов, слава те Господи, случались и русские народные, самородные, достойные былых Шукшинских чтений.

РУССКИЙ НАЦИОНАЛИСТ ВИКТОР АСТАФЬЕВ

Единодушно, единомышленно и равноправно с именитыми деревенщиками вошёл в русскую литературу Виктор Астафьев; а на перевале веков ещё и прославился как *русский националист с юдофобскими замашками*. Так его повеличало русскоязычное писательское еврейство, как некогда повеличало и крестьянских поэтов начала прошлого века, начиная с Есенина Сергея и завершая Павлом Васильевым. Николай Клюев писал о том, как встретила Есенина русскоязычная шатия-братия: «Ждали хама, глупца непотребного, / В спинжаке, с кулаками в арбуз, / Даль повыслала отрока вербного, / С голоском слаще девичьих бус. <...> Он поведал про сумерки карие, / Про стога, про отжиночный сноп. / Зашипели газеты: «Татария! / И Есенин — поэт-юдофоб!»⁷ Крестьянские поэты вслед за Есениным и были казнены большевиками по уголовной статье об антисемитизме, принятой сразу после революции; а вот статью о русофобии большевики, увы, не вписали в уголовное право...

Если Валентин Распутин *интеллигентно* обходил, не касался русско-еврейских отношений, если Василий Белов пытался осмыслить *отношения* в романе «Всё впереди», то Астафьев, мужик горячий, хлёсткий, откровенно и гневно выразил в ответе Натану Эйдельману всё, что думает о роли его соплеменников в русской судьбе.

Зачин астафьевского письма Эйдельману — русская пословица: «*Не напоивши, не накормивши, добра не сделавши — врага не наживёшь*»; а далее письмо... «Натан Яковлевич! Вы и представить себе не можете, сколько радости доставило мне Ваше письмо. Кругом говорят, отовсюду пишут о национальном возрождении русского народа, но говорить и писать одно, а возрождаться не на словах, не на бумаге совсем другое дело. У всякого национального возрождения, тем более у русского,

7. Н. Клюев. Плач о Сергее Есенине. Сайт «Читаем вслух». <http://scanpoetry.ru/>

должны быть противники и враги. Возрождаясь, мы можем прийти до того, что станем петь свои песни, танцевать свои танцы, писать на родном языке, а не на навязанном нам „эсперанто“, „тонко“ названном „литературным языком“⁸. В своих шовинистических устремлениях мы можем прийти до того, что пушкиноведы и лермонтоведы у нас будут тоже русские, и, жутко подумав, — собрания сочинений отечественных классиков будем составлять сами, энциклопедии и всякого рода редакции, театры, кино тоже „приберём к рукам“ и, о ужас! о кошмар! сами прокомментируем „Дневники“ Достоевского. Нынче летом умерла под Загорском тётюшка моей жены, бывшая нам вместо матери, и перед смертью сказала мне, услышав о комедии, разыгранной грузинами на съезде: „Не отвечай на зло злом, оно и не прибавится“... (Грузины долго бушевали, браня Астафьева за то, что писатель в рассказе „Ловля пескарей в Грузии“ мрачными красками запечатлел грузинского торгаша-спекулянта, барственного, походя унижающего русских. — А. Б.) Последую её совету и на Ваше чёрное письмо, переполненное не просто злом, а перекипевшим гноем еврейского высокоинтеллектуального высокомерия (Вашего привычного уже „трунения“), не отвечу злом, хотя мог бы, кстати, привести цитаты, и в первую голову из Стасова, насчёт клопа, укус которого не смертелен, но... Лучше я разрешу Ваше недоумение и недоумение московских евреев по поводу слова „еврейчата“: откуда, мол, оно взялось, мы его и слыхом не слыхивали?! „...Этот Куликовский был из числа тех поляков, которых мой отец вывез маленькими из Польши и присвоил себе в собственность, между ними было и несколько жиденят...“ (Н. Эйдельман. *История и современность в художественном сознании поэта*, с. 339). <...> Более всего меня в Вашем письме поразило скопище зла. Это что же Вы, старый человек, в душе-то носите?! Какой груз зла и ненависти клубится в вашем

8. О том же писал и Александр Куприн: «...Есть одна — только одна область, в которой простителен самый узкий национализм. Это область родного языка и литературы. А именно к ней евреи — вообще легко ко всему приспособляющиеся — относятся с величайшей небрежностью. Ведь никто, как они, внесли и вносят в прелестный русский язык сотни немецких, французских, польских, торгово-условных, телеграфно-сокращённых, нелепых и противных слов. Они создали теперешнюю ужасную по языку нелегальную литературу и социал-демократическую брошюратину. Они внесли припадочную истеричность и пристрастность в критику и рецензию. Они же, начиная от «свистуна» (словечко Л. Толстого) М. Нордау и кончая Оскаром Норвежским, полезли в постель, в нужник, в столовую и в ванную к писателям. Ради Бога!.. идите в генералы, инженеры, учёные, доктора, адвокаты — куда хотите! Но не трогайте нашего языка, который вам чужд и который даже от нас, вскормленных им, требует теперь самого нежного, самого бережного и любовного отношения».

чреве? Хорошо хоть фамилией своей подписываетесь, не предаёте своего отца. А то вон не менее, чем Вы, злой, но совершенно ссученный атеист — Иосиф Аронович Крывелёв и фамилию украл, и ворованной моралью — падалью питается. Жрёт со стола лжи и глазки невинно закатывает, считая всех вокруг людьми бесчестными и лживыми. Пожелаю Вам того же, чего пожелала дочь нашего последнего царя, стихи которой были вложены в Евангелие: „Господь! Прости нашим врагам, Господь! Прими и их в объятия“. И она, и сёстры её, и братец, обезноживший окончательно в ссылке, и отец с матерью расстреляны, кстати, евреями и латышами, которых возглавлял отпетый, махровый сионист Юровский. Так что Вам, в минуты утешения души, стоит подумать и над тем, что в лагерях вы находились и за преступления Юровского и иже с ним, маялись по велению „Высшего судии“, а не по развязности одного Ежова. *Как видите, мы, русские, ещё не потеряли памяти, и мы всё ещё народ Большой, и нас всё ещё мало убить, но надо и повалить* (выделено мною.— А. Б.). Засим кланяюсь. И просвети Вашу душу всемилостивейший Бог! 14 сентября 1986 г. Село Овсянка.

Натан Эйдельман, по астафьевскому толкованию, столь похож на соплеменника Чекистова (*прообраз Лейбы Троцкого*) из поэмы Есенина «Страна негодяев». Вот диалог Чекистова с красноармейцем Замарашкиным:

«Чекистов (*Троцкий*). Нет бездарней и лицемерней, / Чем ваш русский равнинный мужик! <...> То ли дело Европа? / Там тебе не вот эти хаты, / Которым, как глупым курам, / Головы нужно давно под топор...

Замарашкин (*русский красноармеец*). Слушай, Чекистов!.. / С каких это пор / Ты стал иностранец? / Я знаю, что ты еврей, / Фамилия твоя Лейбман, / И чёрт с тобой, что ты жил / За границей... <...>

Чекистов (*Троцкий*). Ха-ха! / Нет, Замарашкин! / Я гражданин из Веймара / И приехал сюда не как еврей, / А как обладающий даром / Укрощать дураков и зверей. / Я ругаюсь и буду упорно / Проклинать вас хоть тысячи лет, / Потому что... / Потому что хочу в уборную, / А уборных в России нет. / Станный и смешной вы народ! / Жили весь век свой нищими / И строили храмы Божи... / Да я б их давным-давно / Перестроил в места отхожие» (выделено мною.— А. Б.).

Осенью 1986 года переписка Натана Эйдельмана и Виктора Астафьева, словно багровые осенние листья, словно боевые листовки, осыпала читающий мир, разошлась в тысячах машинописных листов, обратившись в самиздатовский бестселлер. Отныне имя Астафьева начертали... выбили на чёрном камне... в списке *юдофобов*, где писатель красовался даже тогда, когда вдруг вошёл в сговор с теми, кого вчера клял. Но это потом, а пока...

Ныне можно лишь гадать о сокровенных оттенках астафьевского отношения к евреям, коих писатель, может, и делил на библейских евреев — богоизбранных, средь коих воплотился Сын Божий,

давших христианству ветхозаветных пророков, святых апостолов, первохристиан,— и на евреев, распявших Христа и два века распинающих, мечтающих о мировом господстве, но под покровом князя мира сего, а не по Божиему Промыслу. В пророчествах, изложенных архиепископом Серафимом по старинным греческим рукописям восьмого — девятого веков, сказано: «После того, как богоизбранный еврейский народ, предав на муки и позорную смерть своего Мессию и Искупителя, потерял своё избранничество, последнее перешло к эллинам, ставшим вторым богоизбранным народом»⁹.

Писатель мог особо выделить из иудейского мира евреев орусевших, вместивших в душу русский дух, славно послуживших России. Но вернее всего, Астафьев вёл речь лишь о былом *ростовщическом*, потом *революционном*, *богоборческом* еврействе, что после октябрьского восстания ухитило российскую власть вместе с российским искусством.

К переписке русского писателя и русскоязычного *пушкиниста*, что пошла по миру, добавилось ещё письмо, где тайный соратник Астафьева... по слухам, Владимир Солоухин... так же толкует о роли еврейства в русской судьбе: «...Лично руководил расстрелом и стрелял в царя еврей, действительно большевик и махровый сионист Яков Юровский. Вы (Н. Эйдельман.—А. Б.) это знаете лучше меня. Как знаете и то, что большевик — не значит нееврей. Общее руководство в Екатеринбурге осуществлял Шая Голощёкин, тоже ярый сионист, председателем местного совета был Белобородов (Вайсбарт). <...> Цель сионизма — власть над всем человечеством, над всем миром и превращение России в одну из „провинций“ сионистского „Великого Востока“. Еврейский „рай земной“ в Палестине давно создан, но что-то вы туда не торопитесь...»¹⁰

Великое будущее для родного народа зрело большевистское еврейство в России, хоронящей русскую историческую память: «Было еврейское очарование идеей, были еврейские иллюзии, что это „их“ страна», — писал польский режиссёр Войцех Ромуальд Богуславский. Даже и соплеменники осудили тяжкие грехи евреев перед Россией и до революции, и в революцию, и после революции... Общественный деятель Даниил Самойлович Пасманик (Даниэль Гдальяху) признавал, что «[надо] взвалить часть ответственности за всё происшедшее [в России] и на плечи еврейства (миллионы русских, убитых в Гражданской войне, а потом и гибельная утрата русскими народно-православного духа.—А. Б.). <...> Еврейский кагал решил завладеть Россией, или мстительное еврейство расправляется с Россией за прошлые преследования, которым оно подвергалось в этой стране». А воззвание «К евреям всех стран!» откровенно возглашает: «Непомерно рьяное

9. Думы о русском с древнейших до нынешних времён. Иркутск, 2017.

10. Куняев С. Ю. «И пропал казак...». «Наш современник», №8, 1999.

участие евреев большевиков в угнетении и разрушении России... вменяется нам в вину... Советская власть отождествляется с еврейской властью, и лютая ненависть к большевикам обращается в такую же ненависть к евреям... [Мы] исходим из твёрдого убеждения, что и для евреев, как и для всех населяющих Россию племён, большевики есть наибольшее из возможных зол, что бороться всеми силами против владычества над Россией всесветного сброда — святой долг наш: перед человечеством, перед культурой, перед Родиной и еврейским народом»¹¹.

Станислав Куняев, что до скорбного перевоплощения Астафьева входил в его узкий дружеский круг, пристально оглядел родовое древо Эйдельманов и узрел, что «яблочко от яблони недалеко падает. Театровед Эйдельман-старший травил выдающегося русского поэта Павла Васильева (он был расстрелян по обвинению в фашизме, шовинизме и антисемитизме.— А. Б.), пушкинист Эйдельман-младший, продолжая семейные традиции, тоже постарался найти себе крупную мишень — выдающегося русского писателя Виктора Астафьева... Если не посадить, так хоть облить грязью»¹².

Станислав Юрьевич оповестил Астафьева о своих изысканиях, и Виктор Петрович попросил: «...Ксерокопию с *деяний* Эйдельмана-старшего непременно пришли. Жиды до се успокоиться не могут, всё им кажется, что они всех перелукавили и могут уже торжествовать, танцую на трупе русского мужика. Не думай, что это исключение нам такое, чем лишь бы лягнуть слабого и недужного, греков, например, они ненавидят ещё больше нас, и арабов, и американцев так же, только перед американцами пока „смирно“ стоят, но дождутся — и за это „смирно“ отблагодарят их»¹³.

Со второй половины восьмидесятых Виктор Астафьев негласно возводится в идейные вожди русского возрождения и осенью 1989 года в Иркутске на встрече советских и японских писателей даже обороняет общество «Память», подвергнутое демонизации как *черносотенное*: «...Если хотите знать мою позицию в этой буре, если она грянет — я буду с „Памятью“! Я, беспартийный Астафьев, участвовавший в Отечественной войне и получивший три ранения, боевую медаль и орден, — буду с ней. Я буду за правду! За народ!»¹⁴

Вскоре русскоязычные литераторы обрушились с проклятиями на *черносотенный* роман Василия Белова «Всё впереди», опять же, как и Астафьева, обвиняя выдающегося русского писателя в юдофобии. Виктор Петрович принародно печатно поддержал старинного вологодского друга...

11. Думы о русском с древнейших до нынешних времён. Иркутск, 2017.

12. Куняев С. Ю. «И пропал казак...». «Наш современник», №8, 1999.

13. Там же.

14. Там же.

Астафьев — душераздирающе противоречивый мыслитель: гулко и зло хлопнув *русской* дверью и метнувшись из ватаги русофилов в стаю русофобов, вдруг, будто невольно, по властному голосу предков, вновь и вновь впадает в русский национализм, что, напомним, по философу Ильину — любовь к нации, а не расизм, не нацизм. «Я люблю родную страну свою, хоть и не умею сказать об этом, как не умел когда-то и девушке своей сказать о любви...» Толстой, поносивший русский национализм, однако, в споре о том, чей солдат сильнее — русский или германский, горой вставал за русского, забыв о своём публично оглашённом космополитизме. Нет ни элина, ни иудея...

Вот так же поразительно и предельно противоречиво отношение Астафьева к русскому национально-патриотическому движению: то русофобия, вроде подъярённая, силком навязанная, то русофильство, по мнению либералов, с неизбежным *антисемитским* духом.

«Прочёл твой (Нагибина.—А.Б.) рассказ в „Книжном обозрении“, что-то об антисемитизме, об хороших евреях и плохих русских. Евреи любят говорить и повторять: „Если взять в процентном отношении...“, так вот, если взять в процентном отношении, у евреев в пять, а может, и в десять раз орденов в войну получено больше по сравнению с русскими, но не значит, что они храбрее нас, их погубили и погубило в огне и говне войны пять миллионов. Нас, с учётом послевоенного мора, раз в пять или десять больше, но миром оплакиваются те пять миллионов и та нация признаётся страдавшей и страдающей, а у нас что же, у нас Россия — погост, вся нация растоптана, так что же если одного человека погубят — это убийство, а сотни миллионов — это уже статистика, и я вижу и ощущаю: мы, русские, становимся всё более и более статистами истории. <...> Заискивать ни перед кем, тем более перед евреями, нельзя, они как нынешние дворняги: чем их больше гладишь и кормишь да заискиваешь перед ними, тем больше желания испытывают укусьить тебя. <...> Преданно твой Виктор»¹⁵.

«Дорогой Саша [Михайлов]! <...> Я не читал этой критики, не слышал о ней. Прочёл, пожал плечами — несерьёзно это, хотя и небеспричинно. Это ж мне за начальника политотдела Лазаря Исаковича Мусенка гонорар, разве ты не понял? Меня как-то за слово „еврейчата“ в «Печальном детективе» и за плюху Эйдельману доставали аж из Бостона, через „Континент“. Володя Максимов дальнюю критическую эпистолу не стал печатать, так криво сикающая Горбаневская, сама себя записавшая в известные и потому гонимые поэтессы, как только редактор надолго отлучился, тиснула статейку. И в ней было то же самое, жгучее, через слюнявый рот бьющее желание унижить во что бы то ни стало русского лапотника, смеющего чего-то ещё и писать. Громила жидовка мой лучший рассказ „Людочка“, заступаясь за русский народ, за русский язык, за нашу святую мораль, и в конце

15. Астафьев В. П. Собр. соч. в 15-ти томах. Красноярск, 1998. Т. 15. С. 225.

статейки уж без маскировки лепила: „Он и раньше не умел писать, а ныне и вовсе впал...“ Затем Агеев, ныне работающий в „Знамени“, в разовой ивановской газетёнке трепал ту же „Людочку“, как подворотный кобелишка штанину, и всё это с углублённой и сердечной заботой о русской культуре вообще и о литературе в частности. И нигде ни звука, ни хрюка о первопричине. Заметь, что худо написанное они у меня никогда не трогали. Стервятники! Хитрые и подлые. Меня, увы, это уже не бесит. Прочёл и прочёл. Газетёнка избыла честного русского мужика Третьякова и вот с чего начинается восстанавливаться. <...>

Что любопытно: нападают на меня жида именно в ту пору, когда мне тяжело, или я хвораю, или дома неладно. Лежачего-то и бьют. Но я ещё стою, и меня, как Суворов говорил, мало убить, надо ещё и повалить. Можешь это другу своему Ваншенкину не читать, он-то, как мне кажется, на жидовские штуки не способен и историческую, затаённую злобу в себе не несёт. <...> В. Астафьев»¹⁶.

Неласковое отношение к русофобствующему еврейству беспокоило русскоязычных писателей и либеральных читателей: «...Вы вроде и евреев не жалуете... Знаю я, что Вам недосуг и здоровье не очень. Но, может быть, ответите мне: неужели Вы и впрямь антисемит? <...> Жуковская Юлия Захаровна»¹⁷.

Станислав Куняев в упомянутом очерке «И пропал казак...» вспоминает, что Астафьев, будучи уже в либерально-буржуазном лагере, но помня о межнациональной схватке с Эйдельманом, ещё взбрыкивал и на предложение печататься в бульварно-руссофобском журнале «Огонёк» ответил: «Я в жёлтой прессе брезгую печататься»¹⁸. Виталий Коротич, главный редактор журнала, на сё лишь криво усмехнулся: «...Больно уж он кокетничает, увлекается игрой в правдолюбие. Он мог быть гораздо интереснее, если бы не слишком шовинистическая нотка. Недавно, например, мы получили от него письмо. „Из еврейства,— написал он,— вы скатываетесь в жидовство...“»¹⁹

Не жалея евреев, высмеивающих русский народ, не жалеет Астафьев и прочих, кто покушается на великорусскую честь: бранит правителей-хохлов, что, как и москаля, вышли из Киевской Руси, из восточных славян, но предали братьев по крови и вере; бранит хитромудрых грузин и чванливых прибалтов с их студёной рыбеёй кровью.

«...Правители-хохлы в ненависти к москалям превзошли даже мои самые мрачные предсказания о том, что, получив вожделенную самостоятельность, они превзойдут в кураже и дури даже трусливых грузин. <...> В. Астафьев»²⁰.

16. Там же. Т. 15. С. 311, 312.

17. Там же. Т. 15. С. 25.

18. Куняев С. Ю. «И пропал казак...». «Наш современник», №8, 1999.

19. Газета «Комсомольское знамя». Киев. 10 января 1990.

20. Астафьев В. П. Собр. соч. в 15-ти томах. Красноярск, 1998. С. 462, 463.

«... Нечего этим ливонцам куражиться над живыми и над мёртвыми русскими. Одно время прибалты выкапывали своих родичей в Сибири, четверых выкопали в Овсянке. Делали они это с вызовом, оскорбляя русских. Я же думал: а нам-то куда перемещать своих, невинно смерть принявших русских людей? Ведь вся Россия — сплошной погост! Им, прибалтам, выделяли бесплатно самолёты, ссуды давали, и не знаю, ведомо ли тебе, что всё время им 30% зарплаты — добавки к основной. <...> А вообще-то давно уже идёт скрытая от всех русско-турецкая война на Кавказе, и её умело направляют гвардейцы из-за океана, нашедшие способ справиться с Россией без войны. <...> В. Астафьев»²¹.

Не жалуя «рассеянный народ», жаждущий власти на Руси и на всей земле, не жалуя онемеченных ливонцев, Виктор Астафьев не жалует и *бывших русских*, даже из ныне родной либеральной стаи. В письме к Евгению Носову вспоминает, как гостил на юбилее покойного режиссёра Виктора Трегубовича, как познакомился с семьёй покойного — добрые, славные люди, и тут же со свойственной крутостью вспомнил бывшую жену Василия Шукшина...

«Дорогой Женя [Носов]! <...> Познакомился с его (Трегубовича.— А. Б.) сёстрами, братом, женой — все славные люди, не то что у Шукшина — там родню ближнего смерть не объединила, а сделала злыми, а жёнушка покойного Макарыча, как колхозная кобыла, под любого, даже выложенного мерина зад подставляет. Вот последняя её пылкая любовь — руководитель педерастов под названием „На-На“, даже на вид отвратный Алибасов. Она интервью налево и направо даёт, помолодела, повеселела, ни креста, ни совести у неё, одно бесстыдство и позор. <...> В. Астафьев»²².

Даже когда Астафьев, словно в странном и страшном сне, вдруг из воинственного русофила обратился в столь же воинственного критика русофилов, либералы не простили *деревенщине* былого национализма, а посему, своекорыстно используя мировую славу Астафьева, тайно ненавидели енисейского писателя. Но время ушло: у русофобов пропал политический интерес к Астафьеву, и тайная ненависть стала явной...

«В последние годы он (Астафьев.— А. Б.) стал „своим“ в чуждой и враждебной ему по сути среде, — писал Сергей Куняев в большой и основательной статье „И Свет и тьма“. — Обласканный демократическими сиренами, захваленный теми, кто ещё пятнадцать лет назад без зубовного скрежета не мог слышать его имени, — понимал ли он цену похвалам всей этой братии, люто ненавидящей традиционные русские ценности, без которых не мыслил Астафьев своего существования? Думаю, что понимал. И что самое интересное — эта компания также всё прекрасно понимала. Расчётливо поднимая Астафьева на щит,

21. Там же. Т. 15. С. 323, 324.

22. Там же. Т. 15. С. 323.

объявляя романы „Прокляты и убиты“ и „Весёлый солдат“ лучшими среди всего им написанного, восторгаясь его запальчивой и неумной публицистикой, они ждали своего часа. Непродолжительное время Астафьев был нужен им как знамя, которое потом, по истечении необходимости, можно превратить в половую тряпку... И вот час расчёта с писателем настал. В сентябрьском-октябрьском номере „Вопросов литературы“ за 2003 год появилась статья Константина Азадовского „Переписка из двух углов Империи“²³, полностью посвящённая приснопамятной расправе Виктора Астафьева и Натана Эйдельмана. Более десяти лет либералы, нося Астафьева на руках, расчётливо не вспоминали об этом эпизоде литературной жизни, в своё время всколыхнувшем весь читающий Советский Союз. Все проклинаявшие тогда Астафьева напрочь „забыли“ о своих проклятиях и включились в единый славословящий хор — бывший „патриот“ и „заединщик“ стал рьяным демократом. Ну как после этого не утереть нос „твердолобым консерваторам“? Вот, смотрите, даже „ваш“ Астафьев... Славили — и ненавидели...»²⁴

Азадовский — в ужасе перед мифическим *русским фашизмом*, хотя на заре нынешнего века русские лишь к национал-патриотизму приглядывались, ещё и не помышляя о национализме. Азадовский — в ужасе и перед мифическим *русским антисемитизмом*, может, втайне добрым словом поминая большевистское злолетье, когда за антисемитизм расстреливали. Сергей Куняев пишет: «Уж лучше бы он (Азадовский.— А. Б.) вспомнил расстрел на берегу Валдая на глазах жены и детей выдающегося русского публициста Михаила Осиповича Меньшикова, объявленного вне закона после известного декрета 1918 года об антисемитизме. Вспомнил бы расстрелянных и невесть где зарытых людях из „Союза русского народа“, вспомнил судьбы крестьянских поэтов, кстати, героев многочисленных публикаций нашего автора, также осуждённых в том числе по статье „антисемитизм“. Эти действия, причём доведённые до конечного результата, в корне отличались от мифических „погромов“, из которых наш автор

-
23. В поддержку Эйдельмана, в изощрённое уничтожение Астафьева выплеснулось на журнальные и газетные страницы изрядно статей, и среди них самая филологически основательная статья К. Азадовского. Напомним его судьбу... С 1981 года Константин Азадовский, филолог, диссидент (суть — враг России), является членом Международного общества Р. М. Рильке, швейцарского и западногерманского отделений Международного ПЕН-клуба. С 1992 года — член-корреспондент Германской академии языка и литературы (Дармштадт). С 1999 года — председатель Исполкома Санкт-Петербургского ПЕН-клуба. Награждён офицерским крестом ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2011).
24. Сергей Куняев. «И Свет и тьма» (К 80-летию писателя Виктора Астафьева). «Наш современник», №5, 2004.

только и смог вспомнить приснопамятный „черносотенный“ шабаш, устроенный 18 января 1990 года в ЦДЛ, когда погромщики пытались сорвать собрание „Апреля“ (движение писателей в поддержку перестройки), и возникшее вслед за этим „дело Осташвили“. И, кстати, не мог автор „Переписки из двух углов Империи“ не знать о том, что весь этот „шабаш“ был изначально спровоцирован публичным поведением самих „апрелевцев“ на сцене, как и то, что единственной настоящей жертвой сего „погрома“ стал Константин Осташвили, убиенный в тюрьме»²⁵.

ОВСЯНКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Уйма утекло енисейской воды, а чудится... в пору перекреститься... кажется, ещё вчера съезжались писатели, издатели, библиотекари России в город Дивногорск и село Овсянка на Всероссийские литературные чтения, где всё было: и душеполезное, и творчески азартное, и честолобиво-суетное, хмельное, и полынно-похмельное. Поклон Астафьеву за то, что в кои-то веки нищие писатели российской глухомани... для столицы и вовсе — тмутаракани... слетались для творческого, дружеского общения. Несмотря на то, что в России, уже поверженной Мировым Хамом, царили голод, холод, дьявольщина нравов, внешнее управление, хаос, отчаянье до отупения... уколоться и упасть на дно колодца... уровень литературных чтений был на диво богатый и начальственный; даже сам губернатор Лебедь с армейской хрипотцой и казарменными шутками-прибаутками, с генеральской важностью приветствовал писателей и жал руки тем, кто пробился к нему сквозь толпу журналистов, здешних и столичных. И всё лишь потому, как смекнули ушлые писатели, что ладилось событие под Виктора Астафьева, отчего оно и величалось то Овсянковскими, а то и Астафьевскими чтениями.

Отношение писателей к тем чтениям, ежели говорить как на духу, было разным: от восторженного до грустного и даже ироничного. Писательская восторженность — от редкостной возможности потолковать с братьями по ремеслу, обменяться книгами, губернскими журналами. Даже тем, кто не разделял поздних воззрений писателя, в радость и счастье было видеть Виктора Петровича, слушать его публичные и застольные речи, сдобренные потешными байками.

Что греха таить, были к овсянкинским литературным вечерам, да и к Астафьеву, верховоду чтений, и неприязненные отношения, когда, признавая культурную значимость события, иные писатели весьма и весьма скорбели, что и в эту осень на чтения не приехали... или не были приглашены?... бывшие товарищи Виктора Астафьева — писатели, коих Господь одарил не меньшим талантом, коих народ российский читал и любил не меньше, но которых тогдашняя прозападная власть

25. Там же.

и либеральные беллетристы зачислили в *русские фашисты* и, конечно же, на пушечный выстрел не подпускали к государевой казне и телевидению, что днём и ночью обращало народ в безродное колониальное быдло. Астафьева же подпустила, и не за красивые глаза...

Вот что писала по поводу чтений краевая «Красноярская газета», которую редактирует писатель Олег Пащенко, в добрые литературные времена горячий поклонник Виктора Астафьева:

«...Великолепная идея примирения писателей и поддержки библиотек, как было заявлено неоднократно, на практике уже вторично вырождается, простите, в некое небольшое культовое шоу писателя В. П. Астафьева. Очевидно, что памятники при жизни — это не христианское занятие. Невозможно себе представить Василия Макаровича Шукшина, вечная ему память, озабоченного при жизни „шукшинскими чтениями“. Трудно себе вообразить, что Василий Белов сегодня организовал бы под Вологдой „беловские чтения“, а Валентин Распутин в своей Аталанке — „распутинские чтения“.

Наши лукавые местные доброты столпились у ног Виктора Петровича и, заговорщицки подмигивая друг другу, твердят: „Классик наш, классик...“ Слушая безудержную хвалу, Виктор Петрович, светлая его душа, наверняка внутренне сжимается, протестует, человеческая порядочность удерживает его от резких слов по адресу льстецов. Памятники творятся с благословения Небесных сил, а не нашими муравьиными потугами. Шумиха, реклама, выпрашивание денег, спекуляция на именах заслуженных людей, которые якобы украсят Овсянковские чтения, — это тоже не христианское занятие.

Разумеется, не приехали, как было заявлено, ни Солженицын, ни Распутин, ни Искандер, ни Лихачёв, ни Габриэль Гарсиа Маркес, ни Папа Римский, наконец... Читатели „Красноярской газеты“ надеются, что в скором будущем в Овсянку станут непременно приезжать не только сочинители из демократов и экскурсантов, но также в этих литературных чтениях на берегах Енисея будут участвовать Белов, Распутин, Розов, Ганичев, Бондарев, Крупин и другие писатели-патриоты. Пока же из этой славной когорты лишь Валентин Курбатов да ещё двое-трое приезжают второй раз в надежде, вере и любви. Действительно, мир, пусть и худой, лучше доброй ссоры. (Верно, Курбатов — мудрёный миротворец, что умудрялся быть другом тогдашнего „либерального антифашиста“ Астафьева и „русского фашиста“ Распутина и быть знаменем в стане писателей-русофилов и в стае потаённых русскоязычных писателей, презирающих русофилов. — А. Б.) <...> Отвечаем на многочисленные вопросы: почему нынче опять не навестили Астафьева его бывшие товарищи Белов, Бондарев и Распутин? Вот мнение одного из этих трёх поистине русских писателей, не называем фамилию²⁶, думаем, он простит публикацию небольшой

26. Ныне уже мало смысла таить, что письмо было написано Распутиным.

цитаты из его частного письма от 28 июля 1998 года: „... призывают и меня прийти к Астафьеву, а для этого приехать в сентябре на Овсянковские чтения. Но я с Астафьевым не ссорился. Он со мной, кажется, тоже. Он даже не отказывал мне никогда в некотором писательском даре. Наши разногласия не личные. И личным братанием их не снять. Я мог бы, скрепя сердце, и обняться с Астафьевым, как сделал это, кажется, в декабре 91-го во время пулатовского писательского съезда, но через неделю-две мне снова пришлось бы писать своё несогласие с тем, что именно принимает он и что яро утверждает как народный язык и народную нравственность в литературе. Не считая главного — его отношения к истории на протяжении семидесяти пяти лет, в которые он жил, родившись в России. Астафьева уже не переделать, меня тоже. Я думаю, что ему и мне будет легче, если мы останемся каждый при себе. Я плохой христианин. Вполне возможно, что в скором времени мы окажемся отнюдь не в раю рядом с Астафьевым, но и там с нас будут спрашивать за разное...“»²⁷

АСТАФЬЕВ В БОРЬБЕ С РУССКИМ НАЦИОНАЛИЗМОМ

В письмах Астафьева, собранных в пятнадцатом томе собрания сочинений, в посланиях неожиданных-негаданных единомышленников ощущался демократический... вернее, демонический... воровской переполох перед тогдашним всплеском русского национализма, в коем русскоязычной интеллигенции блазился фашизм. Напомню, любовь к родной нации — вот суть русского национализма, вобравшего в себя национал-социалистические и православно-самодержавные (монархические, черносотенные) идеи.

Вчерашний пламенный подвижник русского национального возрождения Виктор Астафьев вышел на поле брани против русских националистов — против Белова, Распутина, Проханова, Куняева, Личутина и других писателей, что вчера были его друзьями, ныне прослыли его врагами, чумой красно-коричневой. Вспоминая Христову заповедь: мол, не судите, да судимы не будете, — упреждая редакцию журнала «Наш современник», чтобы не переходила на базарный ор и бабий визг, Виктор Петрович так волочит по кочкам братьев по литературному ремеслу, что пух и перья летят. Упаси Бог грядущим читателям судить о писателях девяностых годов прошлого века по астафьевским оценкам...

«Дорогой мой Женя [Носов]! <...> Фашисты наши во главе с недоноском нашим Пашенко за меня взялись, но я отбиваюсь... Виктор Астафьев»²⁸.

«Дорогой Женя [Носов]! <...> Взялись, Женя, и за меня товарищи коммунисты, руками крысиного зверолова Буйлова по наущению

27. «Красноярская газета», 1998.

28. Астафьев В. П. Собр. соч. в 15-ти томах. Красноярск, 1998. Т. 15. С. 267.

и под руководством писательского начальства и других защитников русского народа пишут всякую слякоть, но я не читаю, разумеется, ихних изданий и никогда не отвечаю, так домой звонят. <...> Этого Буйлова, защитника русского народа, по национальности мордвина, за сволочизм по существу выгнали из Хабаровска, а мы пригрели, и я прежде всех... <...> Виктор»²⁹.

После романа «Прокляты и убиты» Евгений Носов круто разошёлся со старинным другом, но поначалу мыслил в лад, тоже боролся с *красно-коричневой чумой*: «...Надо пробуждать человеческое, а не славянское. <...> Вот он (писатель Пётр Сальников.— А. Б.) и митингует, костерит демократию, пачкуется в какие-то заговорщические объединения, ездит на собрания каких-то спасателей русского народа, подобно Вале Распутину, которого как-то показали среди отчаянных головорезов вроде кагэбиста генерала Стерлигова, рядом с которым Валя сидел по правую руку. Впрочем, ты меня предупреждал, что ты сознательно не хочешь говорить ничего о политике, и ты, конечно, прав. Злоба — плохой спаситель для народа. Хватит уже крови и революций. Всё ведь просто: отдайте землю народу, отдайте. И народ напшет и насеет всем благополучия и сытости за пару лет. Кто бы к власти ни пришёл, кого бы мы ни тащили на престол — ничего не будет, если у народа не будет земли. Но Валя (писатель Валентин Распутин.— А. Б.), видно, этого понять не хочет, ему слепит глаза смертная ненависть к евреям, потому он оказался в самых чёрных рядах заступников, готовых развязать гражданскую войну и новое смертоубийство, которое так рьяно накаркивает Проханов, Валин сподвижник. <...> Не понимаю, как можно сидеть рядом с Прохановым — этим авантюристом, недавним воспевателем милитаризма, киплингского топота солдатских сапог по сопредельным странам, а ныне размахивающим православными хоругвями во имя даже не социализма, а оголтелого святошества»³⁰.

Виктора Астафьева неожиданно взбесил VII съезд писателей России, где звучали речи, подобные его нашумевшему письму Эйдельману, поскольку нынешний Астафьев в защиту Натана Яковлевича ответил бы вчерашнему Астафьеву похлеще изнеженного *пушкиниста*, круто посолив, крепко поперчив ответ лагерными матами.

«Дорогой Лёня! <...> Эмигранты на собрании держались хорошо, дружелюбно и как-то встречно расположено, гораздо дружнее и расположенней было, чем на российском съезде писателей, где и писателей-то было раз-два и обчёлся, а остальное — шпана, возомнившая себя интеллигенцией, склонной ко глубокомыслию и идейной борьбе. Вот только с кем — не сказывает, и какие идеи — не поймёшь, ибо орёт, бедолага, рубахи рвёт и криво завязанный пуп

29. Там же. Т. 15. С. 202, 203.

30. Там же. Т. 15. С. 237.

царапает, аль червивой бородёнкой трясёт, как некий Личутин из поморов, обалдевший оттого, что в „писатели вышел“. <...> Ваш Виктор Астафьев»³¹.

«Дорогой Саша [Михайлов]! <...> Если бы ты знал, как было противно на съезде писателей РСФСР, где, в отличие от тебя, Юра Бондарев умереть готов был, но в начальстве остаться, понимал ведь, что он главный раздражитель шпаны этой, ан не сдаётся, да и только, а там современный идеолог и мыслитель Глушкова бубнит за Россию, Личутин бородёшкой трясёт так, что из неё рыбы кости сыплются,— этот и вовсе не понимает, чего и зачем орёт, лишь бы заметну быть, лишь бы насладиться мстительно званием писателя, употребляя сие звание, в русской литературе почётное, на потеху и злобство шпане, которая и забыла, зачем она собралась на съезд. <...> В. Астафьев»³².

«Дорогой Женя [Носов]! <...> Съезд, или то, что было названо съездом, был последним позорищем, достойным нашего времени и писателей, которые это позорище устроили. Раньше как-то незаметней было. А тут сивые, облезлые, старые неврастеники, ещё более пьяные и дурные, чем прежде, дёргаются, орут кто во что горазд, видя впереди одну жалкую цель, чтобы им остаться хоть в каком-то Союзе, возле хоть какой-то кормушки. О-о, Господи! Более жалкого зрелища я, кажется, ещё не видел в своей жизни. Даже в пятидесятых годах, будучи на колхозном отчётно-выборном собрании, которое отчего-то проводилось весной и отчитывался одорукий председатель, а опившиеся поганой браги с „колобком“ и настоем табака колхозники орали что попало, блевали себе под ноги, и дело кончилось тем, что отчаявшийся председатель тоже напился до бесчувствия и ушёл в одной майке в родные поля, уснул на поле, и родной сын его, пахавший на тракторе, зарезал и запахал его плугом. (В письме бессострадательное обличение родного русского народа, когда случайное выдаётся за типичное.— А. Б.) Даже тогда я не испытал такого горя, беспросветности в душе и отчаяния от беспомощности. Наверное, молод ещё был и конца своего и нашего не видел и не ощущал... <...> Обнимаю — Виктор»³³.

С громогласного съезда, где делегаты принародно обвинили тогдашнюю власть в геноциде русского народа, Астафьев ополчился на патриотизм в писательском мире.

«Здравствуй, Валентин [Сорокин]! Очень хорошо написал ты об Иване Акулове! Вот бы тебе и заниматься делом, какое Бог определил, так нет, давно поражённый зудом вождизма, лезешь ты на все трибуны и трясёшь своими седыми патлами, брызгаешь слюной,

31. Там же. Т. 15. С. 54.

32. Там же. Т. 15. С. 58.

33. Там же. Т. 15. С. 139.

защищая какую-то мне неведомую Россию и какой-то совершенно мне неведомый народ. Уж не гостиницу ли одноимённую с её населением обороняешь ты? <...> Кланяюсь, Виктор Петрович»³⁴.

Добродушен ответ Валентина Сорокина, где преклонение перед астафьевским талантом, жалостливая любовь к народному писателю и ненависть к врагам православного Русского Царства.

С неизменным почтением пишет Астафьеву и Александр Михайлов, хотя и настойчиво критикует взгляды писателя на русский народ, державу, на патриотическое движение в России: «... Вот ты тоже про фашистов заговорил вслед за некоторыми писателями-демократами. Виктор, если бы они были главной опасностью — эти шуты гороховые со свастикой! Да это не в нашей природе, никогда на Руси фашизм не пройдёт, если демократы своим воровством повальным и продажностью, презрением к народу сами не приведут их к власти. Ты обратил внимание, как нынешние политиканы, которым, ради собственных амбиций и корысти, плевать на Россию, вдруг заговорили о патриотизме, прибавив к нему эпитет „просвещённый“? <...> Нет, Витя, не вижу я просвета для России, для народа, пока эти оборотни у власти. <...> Ал. Михайлов»³⁵.

Виктор Астафьев, браня державных писателей, порой, может, и заслуженно, смолкает, когда речь заходит о тогдашних властителях дум; о сём и напоминает Александр Михайлов, что долгие годы переписывался с Виктором Петровичем, даже и расходясь во взглядах на русский народ и российских писателей: «Дорогой Виктор! <...> Ты посмотри на писателей-царедворцев, которые шьются возле Ельцина и правят бал. Черниченко — любимый герой телеэкрана — на втором месте после Жириновского. Разве по лицу не видно, что это больной человек? Это он 3 октября 1993 года призывал по радио „раздавить гадину“! Нуйкин! Прозелит. Ястреб. Демократ №2 после Новодворской. Брызжет злобой и отравленной слюной. Он и Алла Гербер (лучше бы — Цербер) заседают в Думе? Стукач Савельев (знаешь такого поэта?) вместе с Оскоцким (знаешь такого критика?) руководят то ли Содружеством, то ли Союзом писателей-демократов... Визжит на встречах с Ельциным Мариэтта Чудакова, просит вернуть старухам „гробовые деньги“, тогда, мол, дорогой Б. Н., они проголосуют за вас на президентских выборах. Да до этого он в вытрезвитель попадёт! <...> Есть и среди нашего брата старики, которые легко приспособиваются. Вот „фронтная корреспондентка“ „ЛГ“ Ришина (это я так назвал её в печати, когда она писала злобные донесения с фронта борьбы за имущество между двумя Союдами писателей) „наводит“ тебя на Гранина, а я, после его вертуханий, уже не могу читать этого господина. Почему? Да потому, что видел, как он чуть ли не в обнимку

34. Там же. Т. 15. С. 142.

35. Там же. Т. 15. С. 256.

позировал на телевидении с последним секретарём Ленинградского обкома партии Гидасповым, через год, вместе с Г. Баклановым и Шатровым, тиснули в „Московских новостях“ верноподданническую статейку на тему „Руки прочь от Горбачёва“, а ещё через год написал холуйскую рецензию на антигорбачёвскую книгу Ельцина, за что был удостоен звания Героя Соцтруда и введён в Президентский совет. После этого — что он ни напиши, я уже ничему не поверю. Всё будет ложь. <...> Поначалу-то думал: напишу-ка я своему другу открытое письмо через „ЛГ“, конечно, постарался бы написать его иначе, в ином ключе, да потом рассудил, что меня туда и на порог с таким письмом не пустят. Я знаю, какую роль в редакции газеты играет Ришина (знаю по фактам) — самая яростная русофобка. <...> Ал. Михайлов»³⁶.

«НАШ СОВРЕМЕННОК» И «РИМСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ» ПИСАТЕЛЕЙ

Побег Астафьева из русофильского лагеря выразился в его публичном и шумном разрыве с журналом «Наш современник», некогда прославившим енисейского сочинителя на весь белый свет; впрочем, и Астафьев, как и другие деревенщики, в те лета творили славу журналу. Об этом подробно описано в ранее упомянутом очерке главного редактора журнала Станислава Куняева «И пропал казак...», а очерк двенадцатой главой вошёл в книгу «Поэзия. Судьба. Россия».

В первой части автор с любовным знанием живописует народный и природный мир, запечатлённый в произведениях Астафьева: «Вот так вошла в мою жизнь проза Виктора Астафьева. Было это аж тридцать лет тому назад. Много с той поры по таёжным вискам воды утекло. Пора подбивать бабки, пока мы ещё в здравом уме и в твёрдой памяти... Позже я почувствовал себя обязанным помочь Виктору Петровичу, когда свора еврейских журналистов набросилась на него, как шавки на медведя, после его разборки с Натаном Эйдельманом...»³⁷

Вспомнив дружеские встречи с Виктором Петровичем, вспомнив дружеские письма, Станислав Куняев пишет с горечью: «Однако на рубеже девяностых с Виктором Петровичем исподволь стали происходить поначалу необъяснимые перемены. Весной 1990 года, через несколько месяцев после своего прихода в „Наш современник“, я неожиданно получил из Красноярска неприятно поразившее меня письмо. „Дорогой Станислав! Ещё осенью узнав, что Евгений Иванович Носов, мой друг и брат, выходит из редколлегии «Нашего современника», решил выйти и я. <...> Я перехожу в журнал, более соответствующий моему возрасту, и к редактору, с которым меня

36. Там же. Т. 15. С. 256–258.

37. Куняев С. Ю. «И пропал казак...». «Наш современник», №8, 1999.

связывает давняя взаимная симпатия,— в «Новый мир»...“ Думаю, что дело здесь было не в Залыгине, а в том, что я ввёл в редколлегию журнала нескольких близких мне людей (В. Кожина, И. Шафаревича, Ю. Кузнецова, В. Бондаренко, А. Проханова), к творчеству и направлению мыслей которых Виктор Петрович, чувствующий, что „демократы“ одолевают, начал относиться с осторожностью. Вскоре в еженедельнике „Аргументы и факты“ Астафьев сказал нечто резкое и несправедливое по поводу „Нашего современника“: „Я всё время мягко и прямо говорю «Нашему современнику»: ребята, не делайте из второй половины журнала подворотню... Быть может, с этого и началось у меня охлаждение к журналу“»³⁸.

Станислав Куняев, будучи и редактором «Нашего современника», и поклонником астафьевской прозы, пытался образумить беглеца, вернуть в журнал: «Виктор Петрович... я тебя считаю и всегда считал самым значительным писателем со времён, как прочитал „Царь-рыбу“ и „Последний поклон“, я сам писал об этом, сам безо всякой дипломатии защищал твоё имя после яростной кампании против тебя, развязанной Эйдельманом и прочими... Так что забудем о всяких „подворотнях“ и сплотимся перед грядущими суровыми временами»³⁹.

В ответ на письмо Астафьев властно потребовал вывести его из редколлегии журнала «Наш современник»... Но и после сего Станислав Куняев ещё не терял надежды вернуть мятежного писателя в «Наш современник»: «В очередной раз мы встречались с Виктором Петровичем на VII съезде писателей России. „Виктор Петрович! — набросился я на него с места в карьер. — В этом году журнал опубликовал обращение к народу патриарха Тихона, несколько самых ярких речей Столыпина, главы из «Народной монархии» Ивана Солоневича, две прекрасных статьи Валентина Распутина, «Шестую монархию» Игоря Шафаревича о власти жёлтой прессы, изумительное исследование Юрия Бородея «Нужен ли православным протестантский капитализм?». А Ксения Мяло — размышления о немцах Поволжья — в защиту русских! Мы засыпаны благодарными письмами после этой статьи! Как же можно после этого говорить о том, что наша публицистика — «подворотня»?!»⁴⁰

Увы, беспроклыми оказались все попытки Куняева и писателей-деревенщиков вразумить вчерашнего черносотенца, ныне впавшего в лукавый либерализм; оставалось лишь гадать о причинах столь крутого идейного поворота: «Мои друзья по-разному разгадывали загадку Астафьева,— писал Станислав Куняев в очерке „И пропал казак...“.— Что случилось? Почему? Но на такие мои вопросы Василий Белов отворачивался, скрипел зубами, досадливо махал рукой.

38. Там же.

39. Там же.

40. Там же.

Валентин Курбатов размышлял о сложности и противоречивости писательского таланта. Кто-то из друзей бормотал: „Да нет, это всё случайное, наносное, он ещё опомнится, вернётся к нам“. И лишь помор Личутин, сверля собеседника маленькими глазками-буравчиками, был неизменно беспощаден: „Я ему, когда прочитал «Печальный детектив», однажды прямо сказал: «Виктор Петрович, а за что вы так не любите русский народ?»“ Валентин Распутин, для которого разрыв с Астафьевым был, наверное, куда мучительнее, чем для Личутина, однажды с трудом, как бы нехотя, высказал такую мысль: „Он же детдомовец, шпана, а в ихней среде жестокости много. Они слабого, как правило, добивают. Вот советская власть ослабела, и Астафьев, как бы обидевшийся на неё за то, что она его оставила, бросился добивать её по законам детдомовской стаи...“ <...> Обида отпрыска из раскулаченной семьи? Психология детдомовского люмпена? Соблазн Нобелевской премии? Застарелый комплекс неполноценности? <...> А может быть, всё обстоит куда проще и куда банальнее? При советской власти, увенчанный всеми мыслимыми орденами и премиями, трёх- и четырёхтомниками, баснословными гонорарами и обкомовскими квартирами, „кавалер Гертруды“, Виктор Петрович с удовлетворением держался за неё, родимую... <...> Как только советская власть закачалась, Виктор Петрович закручинился: на кого в случае её крушения надеяться, от кого получать ордена, премии и прочие льготы, к которым он так привык? И первую ставку Астафьев сделал на новую возникающую силу русских националистов. Отсюда и отчаянная храбрость в переписке с Эйдельманом, и перепалка с грузинами и, наконец, прямая поддержка „Памяти“, растущей тогда как на дрожжах. Но вскоре стало ясно писателю, что не на ту лошадку поставил, что никогда русским националистам не властвовать в России, и пришлось Виктору Петровичу давать задний ход и, начиная с 1989 года, постепенно разыгрывать еврейско-демократическую карту»⁴¹.

И в сем мудром решении Астафьев, как смекнули русские националисты, утвердился на встрече красных писателей с литераторами русского зарубежья, коя случилась в октябре 1990 года в Риме. В ходе встречи прошла конференция представителей советской и эмигрантской творческой интеллигенции «Национальные вопросы в СССР: обновление или гражданская война?». И хотя обозначены были затейщики и покровители конференции — газета «Комсомольская правда» и журнал «Континент», — в реальности же, как писалось в русских газетах, то была основательно продуманная дорогостоящая акция, разработанная в западных спецслужбах и в кабинете члена Политбюро ЦК КПСС Александра Яковлева, главного идеолога, *архитектора* сокрушения Красной Российской Империи. По завершении

41. Там же.

встречи творческая интеллигенция подписала документ, вошедший в мировую историю как «Римское обращение», где подписавшие заживо хоронили Российскую империю, впрочем, уже обречённую на мучительную, насильственную гибель. Интеллигенты повелевали вождям грядущего *россиянского* государства избавиться от пороков Империи зла: «от имперского тоталитарного мышления, от применения насилия, от угнетения национальных меньшинств». Среди подписавших «Римское обращение» рядом с Иосифом Бродским, Анатолием Стреляным, Эрнстом Неизвестным, Григорием Баклановым, Владимиром Буковским и прочими тогдашними прозападными либералами оказались... видимо, по недомыслию... и русофилы Солоухин и Крупин. Бог весть о чём думал Залыгин, подписывая «Римское обращение»; Астафьев же, похоже, вполне осознанно подмахнул бумагу, поскольку люто возненавидел горячо любившую его Красную Империю.

Смысл зловещего *римского* фарса разгадала писательница Татьяна Михайловна Глушкова, и её страстное, обличительное слово на VII съезде писателей России прозвучало как отповедь врагам государства Российского и покаянный поклон народу русскому: «„Римское обращение“ демонстрирует такое отношение к нашей стране, которое до сих пор было свойственно только её врагам, только клеветникам и злопыхателям России. <...> И да будет стыдно тем, кто клеветает на русский народ, намекая с прозрачностью на имперское господство русских над другими нациями в СССР!»⁴²

«ПИСЬМО К НАРОДУ», «ПИСЬМО 42-Х „РАЗДАВИТЕ ГАДИНУ!“» И РАССТРЕЛ НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ

Вскоре после громкого писательского съезда, а вернее, 23 июля 1991 года, в газете «Советская Россия» увидело свет знаменитое «Слово к народу», где русские политики и русские писатели Юрий Бондарев, Александр Проханов, Валентин Распутин выступили за сохранение государства, поскольку в случае его крушения под обломками погибнут миллионы соотечественников. Так оно и вышло потом...

«Родина, страна наша, государство великое, данное нам в сбережение историей, природой, славными предками, гибнет, ломается, погружается во тьму и небытие, — говорилось в „Письме к народу“.— Что с нами сделалось, братья? Почему лукавые и велеречивые властители, умные и хитрые отступники, жадные и богатые стяжатели, издеваясь над нами, глумясь над нашими верованиями, пользуясь нашей наивностью, захватили власть, растаскивают богатства, отнимают у народа дома, заводы и земли, режут на части страну, ссорят нас и морочат, отлучают от прошлого, отстраняют от будущего — обрекают на жалкое прозябание в рабстве и подчинении у всесильных соседей? <...> Братья, поздно мы просыпаемся, поздно замечаем беду, когда

42. Там же.

дом наш уже горит с четырёх углов, когда тушить его приходится не водой, а своими слезами и кровью. Неужели допустим вторично за этот век гражданский раздор и войну, снова кинем себя в жестокие, не нами запущенные жернова, где перетрутся кости народа, переломится становой хребет России?..»⁴³

Письмо в либеральной печати стали рассматривать как идейную основу августовского дворцового заговора, тем более среди подписавших оказались трое — Валентин Варенников, Василий Стародубцев и Александр Тизяков, которые потом проходили по делу Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). В лихие девяностые авторы «Письма к народу» обвиняли Бориса Ельцина, Михаила Горбачёва в том, что при их попустительстве, а вернее, тайном сговоре с враждебным Западом, страна превращается в сырьевую колонию Европы и Америки, что межнациональные и бандитские разборки, криминальный беспредел, пьянство и наркомания, голод и холод, тоска и отчаянье от беспросветной жизни уносят тысячи человеческих жизней.

«Письмо к народу» породило истерику среди властвующих либералов, проклинающих тех, кто подписал сие *имперское* послание. Виктор Астафьев немедленно дал интервью телевизионной программе «Вести»: «Лицемерие, которое в общем-то свет не видел... обращаются с грязными руками... они, вчерашние коммунисты, разоряли, унижали, расстреливали... старая коммунистическая демагогия... не верьте ни единому слову... это голый обман... коммунисты, компартия наша на ладан дышит... попытка защитить тонущий корабль... наглость от имени народа говорить. От имени народа может говорить избранный народом президент. Это „Слово“ рассчитано на тёмную силу, которая есть в любом государстве... я не хочу сейчас давать оценку поступку Бондарева и Распутина, пусть это останется на их совести... [Валентин Распутин] ставит подписи под самыми чёрными документами...» Напомним, ещё вчера Распутин и Бондарев были заветными друзьями Астафьева, а ныне стали врагами; и Виктор Петрович упрекал Ельцина в мягкотелости по отношению к врагам, пугая кровавым русским бунтом: «Если президент и его правительство будут и дальше действовать уговорами, увещеваниями, анкетами, восторжествует самая оголтелая, самая тёмная сила. И заговорит она пулемётами, танками, колючей проволокой».

Президент внял упрекам и, вдохновлённый «Письмом 42-х „Раздавите гадину!“», из танковых пушек расстрелял Белый дом, где помещался Верховный Совет России, — расправился с народными избранниками, а заодно и с русскими националистами. Так возжелали вдохновители жестокой расправы, ярые антисоветчики, при советской власти издаваемые многомиллионными тиражами, получающие великие

43. Википедия.ру.

гонорары и великие премии, а попутно ордена и медали. Вот они, великие гуманисты, возжаждавшие народной крови: Алесь Адамович, Анатолий Ананьев, Артём Анфиногенов, Виктор Астафьев, Белла Ахмадулина, Григорий Бакланов, Зорий Балаян, Татьяна Бек, Александр Борщаговский, Василь Быков, Борис Васильев, Александр Гельман, Даниил Гранин, Андрей Дементьев, Юрий Давыдов, Даниил Данин, Михаил Дудин, Александр Иванов, Эдмунд Иодковский, Римма Казакова, Сергей Каледин, Юрий Карякин, Яков Костюковский, Татьяна Кузовлёва, Александр Кушнер, Юрий Левитанский, Дмитрий Лихачёв, Юрий Нагибин, Андрей Нуйкин, Булат Окуджава, Валентин Оскоцкий, Григорий Поженян, Анатолий Приставкин, Лев Разгон, Александр Рекемчук, Роберт Рождественский, Владимир Савельев, Василий Селюнин, Юрий Черниченко, Андрей Чернов, Мариэтта Чудакова, Михаил Чулаки. Прости им, Господи, не ведали, что творили; да иные, может, и раскаялись, покаялись, а Бог милостив не по грехам нашим...

Противники политических насильий, призывающие казнить русских патриотов, писали в пламенном послании: «Эти тупые негодяи (Георгий Свиридов, Леонид Леонов, Василий Белов, Валентин Распутин, Владимир Личутин, Александр Проханов и другие русофилы.— А. Б.), уважают только силу. Так не пора ли её продемонстрировать нашей юной, но уже, как мы вновь с радостным удивлением убедились, достаточно окрепшей демократии?!»⁴⁴

Позже писатель Василий Аксёнов похвалялся: «Этих сволочей (русских националистов.— А. Б.) надо было стрелять. Если бы я был в Москве, то тоже подписал бы это письмо в „Известиях“». В связи с этим заместитель главного редактора «Независимой газеты» Виктория Шохина 3 октября 2003 года, осуждая роспуск парламента, выразила со страниц этого издания недоумение, как это «всем этим писателям-демократам, объявляющими себя противниками смертной казни», «гуманистам», «пришёлс по душе расстрел без суда и следствия». Она отметила, что «их собственное правосознание безнадёжно застряло на первобытном уровне»⁴⁵.

«Политик Сергей Глазьев, будучи министром внешнеэкономических связей России, в 1993 году в знак протеста против роспуска Верховного Совета подал в отставку с заявлением: „Нельзя обелить преступников и палачей... Даже те, опозорившие себя надолго, деятели нашей культуры, которые подписали это, как вы его назвали, расстрельное письмо 42-х, и они, я думаю, понимают, что перечеркнули всё доброе и светлое, что создано было ими раньше“»⁴⁶.

И верно, уже не хочется слушать слащаво-приторные песенки Окуджавы: чуешь подпольный смысл зова «возьмёмся за руки, друзья»,

44. «Известия», 5 октября 1993.

45. Википедия.ру.

46. Там же.

где друзья, похоже, — доморощенные русоненавистники из «рассеянного народа» и шустрые шабесгой⁴⁷ — Иваны, не помнящие родства, без Бога и царя в голове. «После подписания письма и интервью, в котором Булат Окуджава одобрил применение силы против Белого дома, на концерте поэта в Минске прекрасный артист Владимир Гостюхин — человек умеренно-патриотических убеждений — публично сломал и истоптал ногами пластинку его песен»⁴⁸. По словам социолога Бориса Кагарлицкого, «слушать песни Окуджавы про „комиссаров в пыльных шлемах“ после его заявлений о том, что ему не жалко безоружных людей, погибших в Белом доме, как-то не хочется»⁴⁹.

Диакон Владимир Василик в статье «Письмо 42-х, или о „мастерах культуры“» писал: «После расстрела законно избранного российского парламента было опубликовано письмо 42-х видных деятелей культуры с полным одобрением всего совершившегося. Знаменателен был сам заголовок письма — „Раздавить гадину!“ В своё время этот призыв, обращённый против католической церкви, провозгласил „дьявол во плоти“ Вольтер, и, вняв ему, революционная Франция в годы террора казнила тысячи католических священников и десятки тысяч мирян. Позднее этот лозунг звучал и в 1917 году, и в 1937-м, когда расстреливали „врагов народа“. <...> Как это было, вспоминал Александр Проханов: ворвавшиеся в редакцию газеты „День“ бойцы ОМОНа избивали журналистов, глумливо расклеивали портреты Гитлера и кричали „фашисты“. Всё в духе авторов письма, назвавших фашистами защитников законной конституционной власти, своих же соотечественников, среди которых были ветераны Великой Отечественной войны, проливавшие кровь в борьбе с фашизмом. <...> Даже бывшие диссиденты, такие как Андрей Синявский и Владимир Максимов, поступили совершенно неожиданно. Они публично призывали Ельцина после всего совершённого им уйти из власти, отправиться в монастырь и замаливать грехи»⁵⁰.

Среди вдохновителей расстрела народных избранников, а заодно и всех видных русских националистов, увы, оказался и недавний русофил Астафьев. Виктор Лихоносов, писатель лирический, чурался идейной брани, но и тот встревожился за Астафьева, когда почитал

47. Шабесгой, шабес-гой (*ивр.* שבת-גוי) шабес-гой — «субботный гой»), иначе гой шель шабат, шаббат-гой — нееврей, нанятый иудеями для работы в шаббат (субботу), когда сами ортодоксальные иудеи не могут делать определённые вещи. В нееврейском толковании: шабесгой — нееврей, купленный евреями, предавший Христа, родной народ и Отечество.

48. Договор с обманом. «Коммерсантъ», № 38 (4093), 4 марта 2009.

49. Кагарлицкий Б. Ю. Управляемая демократия: Россия, которую нам навязали. Екатеринбург, «Ультра.Культура», 2005. 576 с. (Klassenkampf). ISBN 5-9681-0066-4.

50. Православие.ру.

его роман о войне, когда узнал о сожалении писателя, что советская страна не сдала фашистам Ленинград, когда увидел астафьевскую подпись под «расстрельным» письмом «Раздавите гадину!», где гуманная русскоязычная интеллигенция в октябре девяносто третьего велела власти утопить в крови русское сопротивление. «Что с тобой случилось, Виктор Петрович? — вопрошал Виктор Лихоносков. — Прости, но я думаю, виновато твоё безбожие. Ты в Бога веришь литературно, как-то от ума, хотя ты в своей жизни страдал столько, что душа твоя только в Боге могла бы и успокоиться. Отсюда твоя постоянная остервенелость (да ещё у Б. Можаева), какая-то не свойственная русскому большому писателю страсть казнить всё по-большевистски и обрётённая под шумок славы привычка вещать, ничего уже не говорить в простоте. А только для народа, для переворота системы, мессиански»⁵¹.

«Когда сатанинский план ельцинского режима закончился кровопролитием 3–4 октября [1993 года], — вспоминал Станислав Куняев, — когда Василий Белов и я <...> укрывались от пуль спецназа в „Останкино“, когда на другой день танковые пушки наёмников, которым Гайдар заплатил фантастические гонорары за расстрел парламента, послали первые снаряды в окна Верховного Совета, наш детдомовец по телефону (!) из Красноярска передал в „Литгазету“ проклятия несчётным жертвам октябрьской бойни. „Большевистские стервятники все же пустили ещё раз кровь русскому народу...“ <...> Рвение его (Астафьева. — А. Б.) хорошо поощрялось новой властью. То и дело он возникал на телевидении, откуда совершенно исчезли Распутин, Белов, Бондарев, Алексеев, Проскурин. Всё чаще и чаще его фамилия мелькала в числе лауреатов, получивших государственные и президентские премии, и всевозможные „триумфы“, и „буккеры“, и „антибукеры“, и „Тэффи“, и ордена нового режима!.. <...> [К сему] наш неудавшийся нобелевский лауреат получил от президента аж целых два миллиарда рублей на издание 15-томного (!) собрания своих сочинений»⁵².

Эдуард Володин, давно уж почивший известный русский философ, публицист, проповедник православно-самодержавного, имперского устройства русской земли, писал в статье «Иудино время»: «Суета вокруг Виктора Астафьева заставила вспомнить его последние подвиги, искусства и достижения. Без всякого сомнения, талантливый писатель, автор „Царь-рыбы“, „Пастуха и пастушки“, „Оды русскому огороду“, ставших достоянием нашего национального самосознания, он вместе с горбачёвской перестройкой резко поменял позиции и применительно к подлости завершал о вечном пьянстве и рабской душе русского народа, о семидесятилетнем рабстве, о благой вести, возвещённой в августе 1991 года с танка Ельциным. <...> Такой

51. Википедия.ру.

52. Куняев С. Ю. «И пропал казак...». «Наш современник», №8, 1999.

кульбит, вполне ожидаемый людьми, близко знавшими В. Астафьева, не был сразу по достоинству оценён „демократами“ и их апрелевской литературной службой, и все старания старого человека показать себя своим среди своих „демократов“ воспринимались ими с прохладным недоверием. Но пришёл звёздный час к „прозревшему“ литератору! Перед кровавыми событиями 1993 года Б. Окуджава, Р. Казакова и ещё полсотни им подобных написали открытое письмо Ельцину с призывом потопить в крови „красно-коричневых“. Все фамилии были напечатаны в алфавитном порядке, но на последнем месте стояла фамилия В. Астафьева. Его приняли наконец в свои ряды, но и указали на место, где ему быть положено»⁵³.

Окончание следует

53. Интернет-сайт «Русское воскресение».

Валентин Курбатов

Жизнь назад

Дневник одной старой поездки

«Дни поздней осени бранят обыкновенно», как замечал Александр Сергеевич, а между тем и в ней есть неожиданное утешение. Полезешь в своей «поздней осени» в дальний угол антресолей, которые выполняют в наших домах роль пыльного чердака, а там завалится за старые папки какой-нибудь бедный блокнот, из тех канцелярских пустяков, которые рождались в советские дни из типографских отходов — крошечные, в ладонь, с самой бедной бумагой. На обложке окажется чей-то телефон из ушедших из памяти, а то и из жизни, какое-то уже ничего не говорящее имя.

Автоматически, почти со скукой, откроешь, готовясь тотчас в смущении захлопнуть и отправить обратно в забвение (ну что мы могли думать и писать в то выцветшее время?). А там окажется дневник твоей поездки к Астафьеву, когда он только только оставил Вологду (Марья Семёновна ещё оставалась там) и воротился в родную Овсянку, куда собирался сразу после войны, да обстоятельства и история смиряют наши желания, и собрался вот только в 1981 году. И значит, дневнику тридцать шесть лет.

Кинешься уже с интересом: ну, думаешь, что же это была за невозвратная жизнь? Ещё Советский Союз до небес, и никому в голову не придёт, что его не будет. А вот смотрю — записи бедны, повседневны, случайны. И будто не к великому писателю приехал, а так — к старшему товарищу, обманываясь тем, что я в отрочестве, а он в юности, едва после фронта, жили в одном городе и тем отчасти «уравнены». Тем более я уже писал о нём, был рекомендован им в Союз писателей и уже два года был в этом Союзе. Чего тут особенно-то пристально глядеть — командировка и есть командировка. Благо данная из щедрости — без обязательности отчёта (кажется, командировала «Аврора»). Материал я тогда написал, а вот этот позабытый дневник был сором повседневности, «обстоятельствами», в которых тогда складывался материал, просто жизнью рядом, случайной фотографией, какую мы стараемся сделать незаметно, чтобы удержать «воздух» дней. На него глядел и себя не забывал — жизнь ведь.

И пусть так и будет — всё грядущему биографу Виктора Петровича в копилку. Да и самому времени в напоминовение, что оно было не всякий день высоко, отчего однажды и повалилось...

16 ИЮНЯ 1981

Так и летел в неизвестный пока Красноярск сначала при полоске заката, а потом она перешла без ночи в половину рассвета, и в подвенадцатого стемнело, а в час ночи уже светило солнце. Летел бесконечно, ноги немеют; кажется, этот полёт никогда не кончится.

Вот он — Красноярск.

Скука, холод, и вот неожиданность: впечатление, даже после моего маленького Пскова, глухой провинции. Это в миллионном-то городе. Позвонил. Виктор Петрович дома. Вчера «гулял», но бодрится, смеётся, сыплет, как всегда, анекдотами.

То о мужике, который купается в Енисее, а тут вода девять-десять градусов, и вскрикивает от холода: «Ну, б..., евреи, чо делают!»

То о вологодской бабе, которая кричит соседке: «Манька, ты тринадцатую зарплату получила?» — «Х... я получила». — «А я, дура, деньгами взяла».

Весело рассказывает о своих чалдонах, которые вчера пластались под окнами ножами, пока всех не повязали.

Вечер у художника Андрея Геннадьевича Поздеева. «Лит. Россия» попросила меня написать о нём. Большой, тревожный, искренний. Живопись — чудо! Я сначала по стенкам-то поглядел, что висит, и заки: ну, думаю, что говорить буду, как выкручиваться? А как пошли портреты, как глянули «читающие», как увидел Аполлинера, «Портрет отца», сирени, пейзажи, войну, стрелков по птицам, так и онемел. Привыкли мы к беллетризму, а тут надо не говорить, а только глядеть. Говорить-то и не о чем, сюжета нет, привычной нашей психологии тоже — только цветные пятна да жирные линии, только пир мазков, намёки на фигуры. Хотя (если о портрете говорить) всегда видно сразу, кто и каков, — так верно схвачена цветовая интонация человека. — Я ведь беспризорник. Весь в наколках. Так бы и по лагерям и пропал.

Оказывается, выручил мужик, который возглавлял их лагерь (вроде Репнина у Астафьева в «Краже», только из кагебешников), краски нашёл, бумагу, дело научил делать. Но вообще спас мало кого — все под откос пошли, а потом и его пустили. Потом была война, Япония. — Не воевал, но трупы видел, видел, как человек делается падалью и разлагается, а людям хоть бы что, закидают землёй наспех, и всё. Вообще, война — это разрешение массового убийства, которое говорит, что человек безобразен.

Поэтому его «Женихи» — это бесцветные матиссовские мальчики, сражённые во время танца на лугу; поэтому его «Новорождённый» ещё, кажется, во чреве матери уже обречён в солдаты, а земля — чёрной ямой, набитой касками, лицами, месивом, летит во тьму. А пейзажи полны света, ритмы чистые, гармонии определённые, а всё вместе — полно жизни. В хорошем родстве с Минасом Аветисяном, Нариманбековым, Пикассо (как он был поражён его «Авиньонскими

девушками», бегом плоскостей, а потом и нежностью). Всё заглядывает в глаза, извиняется, глядит в себя ласково и робко, сосредоточенно и глубоко, всё про себя знает и тайну эту не скажет нигде, как в холсте.

Сидел и смотрел без конца, но надобно домой, потому что у меня был ключ, пока Астафьев выступал перед гастролирующим в Красноярске «Современником». Бежал, летел, а он вернулся в полтретьего ночи, пьяный и весёлый, счастливый вниманием к нему:

— Все играли будто одному мне и, кажется, злились если кто-нибудь кашлянет: ишь ты, кашлюн какой, я тебе покашляю.

Радовался игре, таланту ребят, их доброте и отчаянью:

— Девки ихние на меня поглядывали. Эх!

17 ИЮНЯ 1981

С утра прибежал Поздеев. Оказывается, с утра сидел под дверью — пока в восемь не позвонил.

— У вас был магнитофон. Вы, пожалуйста, сотрите всё. У меня пунктик: мне кажется, ко мне кто-то ходит. Я это вижу в мастерской. Я что-то врал вам вчера. Я обыкновенный человек и люблю обыкновенную жизнь. Я родился художником. Это моя единственная вина перед обществом. Я не умею делать чеканки, оформлять витрины, писать героев — я только художник. И вижу как вижу. Обо мне разное говорят. Даже придумали термин «большая живопись», а что это — я не знаю. И он не знает. Живопись есть живопись — не большая, не маленькая. Мне уже мало осталось жить. Пора немного обобщать. Я вам не показывал. У меня большие холсты на полках. Не надо ничего писать. Наше дело работать, успеть что-то сделать, а слова и слава — это помехи и зло.

Встал Виктор Петрович:

— Жаль Андрюшу, сбился с реалистического пути, чего-то выдумывает.

Похоже, В. П. не любит Андрея, несмотря на ласковые слова. Не любит, потому что не понимает, и не поддерживает разговора.

А днём знакомый Виктору Петровичу капитан милиции — китаец — везёт В. П. в город. Всю дорогу в рассказах скокари-домушники, молодечество (спустя пять лет я узнаю это в «Печальном детективе»). Расстались. Я — в картинную галерею. Темно, скучно. Отраднее других один Рязов (один холст) и Андрей (особенно — «Сирень»). Потом заехал в ВТО, поглядел целую выставку Андрея — почти не выставка, а живая жизнь холстов: висят хорошо — как тут и были. Очень хороши «Стрелки», «Стихи», «Натюрморт», «Беседа».

Заехал в дом-музей Сурикова — бедно, голо, безжизненно, неудобно. Да ещё дождь за окном — так мертво показалось: откуда тут удали вьзаться, где тут «Стрельцы», «Меншиков»?

Вечером в «Современнике» салтыковский «Балалайкин».

Гафт — мера и чудо.

Кваша — изоврался и извертелся.

Табаков — чистый Чичиков, «не без приятности».
А всё вместе вяло и, несмотря на дерзости, скучно.

18 ИЮНЯ 1981

С утра дома. Читал Гоголя, картинки разные смотрел, пытался выхлопотать билет, отбивался от радиожурналиста, который грозился приехать и ждать В. П. дома, боясь, что тот уклонится, а беднягу и без того обокрали. Так что если ещё и В. П. не примет, то хоть вешайся. Потом поехал в издательство, и как-то всё сразу и сделалось: и поговорили хорошо и с директором, и с главным редактором, и с редакторами, и тут же и договор на книжечку о Викторе Петровиче подписали. Вечером погулял над Енисеем, собрал букет, где оказалась и саранка — цветок действительно ненаглядной красоты и аристократизма, никак не дикий цветок.

Сыграли в шахматы, и я скоро просвистел партию В. П., потом слушали Ульянова, и В. П. всё приговаривал:
— Умница, молодец! Большой художник, он и гражданин большой — это уж как пить дать.

Немного хвалится дружбой Ульянова и рад, что тот помянул его в выступлении. Уже перед сном сунул мне почитать письмо какой-то несчастной, сутулой телом и душой молодой бабы, которая понесла ещё девочкой от пионера и теперь жалуется на утрату всех чувств и всякой веры.

19 ИЮНЯ 1981

Утром как раз и говорили об этом — о нелюбви и одиночестве. В. П. говорит, что почти нашёл ответ. Он в том, что народ поубежал из деревни, души не успел вырастить и попал под топор города, а что делать — не знает.

Раньше церковь была — можно было на людей поглядеть. Послужать службу — это ведь и душа растёт, и концерт хорошей музыки. Да и праздников было много — то Святки, то Масленица, каждый со своими ритуалами, игрой, театром. А тут хоть пять театров в Красноярске, так ведь от силы три тыщи сидят за вечер, ну хоть пять, если хочешь, да в ресторанах и кабаках десять, а остальные-то куда в миллионном городе? К телевизору! Телевизор — дело одинокое, разделяющее, вот и бесятся по подворотням. Вот и драки, ножи, дурацкое молодечество.

Потом приехали с радио корреспонденты, оба разговорчивые, показательные, умничающие, так что скоро В. П. смекнул, что надо куда-то их сбывать, а то жизни не будет. Поехали в Овсянку. Солнце вовсю жарит. Слизнево, Шалунин бык, с которого как на ладони — чудо Енисея и Овсянки вдали, по дороге — дом тётки Августы, дачи жлобов из рассказа «Пир после победы». Птичка вылетела: «Вить-вить», — как тогда («Узнала!»), и он опять сказал ей: «Привет».

В Овсянке сразу за стол — и гулянье сплошь. Купание в Енисее. Холод, спина дыбом, бабушкин дом, двор, иконы нет — переkreститься не на что.

Мужики на Енисее ловкие умом, хитроватые. Все как один сходятся к В. П.:

— Дядя Вить, дядя Вить...

А он посмеивается, советует, поглядывает. Сокрушается, а сосед, порезанный сыном с васильковыми глазами, всё сыну простил, а тот глаза прячет, но, кажется, не стыдится.

Мужики все ему рады.

20 ИЮНЯ 1981

Утром холод. Туман над Енисеем. Как на Чусовой, куда он с Марьей Семёновной явился с войны: брёвна плывут, бабы с вёдрами готовят баню с утра, мужики с похмелья вылезли на солнышко, глядят на реку, кашляют, мучаются, но глядят добро и спокойно.

Дома мебельная перестановка. Рассказ рижского гостя Хари Хейслера о том, как он поддельвал хлебные талоны в сорок седьмом году, и о доброте капитана, поглядевшего забытую на столе копирку на свет, всё понявшего и всё-таки скомандовавшего солдату прекратить обыск: видно, своих детей увидел капитан — одна была беда на всех и один голод. Уж очень видна была несчастная невольность подделки. А вообще Хари весёлый:

— Каждое утро «Голос Америки» сообщает, что Хари Хейслер задыхается в тоталитарном Союзе. Можно, я позадыхаюсь у тебя, Виктор? Пусть завтра скажут, что задыхаюсь в Овсянке. Прославишься.

Вечером баня у Кольчи-младшего, дяди из «Последнего поклона», и фотография баушки Катерины Петровны, строгой высокой старухи, и деда Ильи, покойного, как все деды, как мой дед. А старуха — строга, тут не пошутить, тут затрещина — первый и доходчивый урок.

Короткая прогулка вдоль Енисея с рассказом о смерти матери, «утонувшей вон там, зацепившейся косою за бону и выплывшей вон там, у Шалунина быка, на нашем берегу, а вон там, у Караульного, на той стороне, я ждал переезда в „Пире после победы“».

Зашли на кладбище, где кресты, подкрашенные подсинёнными белилами, как потолки в деревенских избах (да и остались белила-то от избы, так что всё родное там и тут), стоят тесной кучкой, и редкие ёлки уже теснят их: бедно, сорно, предсмертно... Кладбище скоро снесут, и В. П. хлопочет, чтобы хоть под огород не давали, а хоть сквер разбили.

Когда шли обратно, три пьяных парня пытались прокатиться на одном мотоцикле без коляски — верхом друг на друге, и их кидало из стороны в сторону, и след в пыли летел с боку на бок, и надо было жаться к забору, чтобы не снесли. У другого забора два мужика,

держа друг друга за руки, выясняли отношения; у реки кричат дети. Жизнь к вечеру расходилась. Смотрели футбол. В. П. выказывал обширную осведомлённость в предмете, орал над ухом Хари боевые комментарии.

Совсем уж в сумерках — день долгий, — как-то поневоле, от сумерек, что ли, я закинул удочку об одиночестве: как у него тут с ним, с односельчанами как в деревне после Вологды?

— А ну их, сук... Бандитов развелось — не унять. Крови жаждут, за топчут и зарежут. Дождутся войны, побьют друг друга, станут опять ненадолго сентиментальными и добрыми. Девочек жалко. Пляшут, прижмутся к своим каким-то пегим мужикам и покуривают — веселье изображают, а тоска так и торчит в глазах: куда денешься, баба-то скорее одумывается, ей не только мужика — ей ребятёнка надо, дом, а одной откуда взять?

— Светлого он пришёл искать! (Это всё не успокоится после разговора с корреспондентом.) А я где ему найду? Пришлось прогнать, наглый такой. Только искатели светлого обычно такие наглецы, они миром и правят.

— В деревне всё моё читают, и никто ещё не укорил в неправде, хотя тут как на ладони, сразу попадётся.

Бабка Апронья заглянула:

— А давеча ты на улке был, дак тут без тебя мужчина в телевизоре с женщиной пели. Он на гармошке играл, а она плясала — ещё вот эдак нога об ногу ударила! Ой, как хорошо! А ты не видал.

21 ИЮНЯ 1981

Весь день у Поздеева выбирал картинку для деревенской картинной галереи, придуманной очеркистом, лауреатом Горьковской премии Иваном Васильевым у нас на Псковщине, смотрел портреты (есть великие — ни перед Ван Гогом, ни перед Сезанном по цвету и психологической правде не потупятся, хотя пишет быстро, да до быстроты-то должен изглядеть всего).

— Цвет должен побеждать плоть.

(На это потом Астафьев, когда я пересказываю встречу: «Плоть-то уберёшь, а где духу помещаться? Он ведь во плоти живёт, а без — не душа в небесах, а на холсте труп», — почему и сердится на Андрея, потому что сам «плоть» очень знает.)

Гляжу, как пишет мой портрет, спиной ко мне, так непривычно — видно, высмотрел раньше, знает. Портрет испуганно тревожен, хотя трещу весело, передразниваю С. С. Гейченко. Рука в воздухе, рот полуоткрыт — видно, что персонаж только и живёт в беседе. Жест точен, хотя волосы зелены, глаза черны, лицо рыже, глаза круглые, испуганные. А потом я увижу его в альбоме: ничего от того, что я видел, — ни жеста, ни цвета. Всё переделал. Посадил, сунул книжку в руку, пустил в проповедники — ну, да так и есть.

Перед этим ходил по Красноярску, поднимался на смотровую башню, откуда А. С. Попов солнечное затмение наблюдал. Какой огромный и унылый город, не утешенный, кажется, ни одним памятником, ни одной церковью — не попались пока.

Был в Дивногорске — уютном, как какой-нибудь калининградский Светлогорск, — только опять хоть бы одно зданье не барачного свойства. Берег Енисея поднебесен, прекрасен, сама ГЭС эффектна, скучна, хоть и технически красива, — веет бухгалтерией. Любая живая, матушкой-природой «сложенная» гора рядом стократ «умнее» этой технической красоты. Видал бурундучка. Астафьев потом:

— Это тебе повезло. Теперь тут звери в редкость, угнали шумом вглубь.

На «Ракете» спустился до Красноярска — всё в блистающем закатном свете, ничего не снимешь, свет прямо в объектив, — «родные» быки Шалунин и Караульный с воды особенно мощны и хороши

22 ИЮНЯ 1981

С утра собирались в лес и днём наконец пошли. Цветы со всех сторон — кукушкины слёзы, марьины коренья, венерины башмачки, стародуб на увале. Глаза разбегаются. Не зря Евгений Иванович Носов отказывался от таких походов с Виктором Петровичем в лес. «Не могу, — говорит, — по цветам ходить, а тут ногу некуда поставить».

Комары на Фокинской речке усерднее парней, которые сломали скамейку, которую лесник ставит там, чтобы старухам посидеть, повспоминать детство и отдохнуть. Виктор Петрович темнеет:

— Сила-то играет, готовы весь лес повалить, а дома матери полена дров не принесут.

Вечером посидели на Енисее, потом посмотрели репортаж с Белорусского вокзала о «Священной войне», и В. П. рассказал, как впервые услышал эту песню в запасном полку, когда её наносило ветром с морозного плаца, и первый раз эта пропадающая на холоде и ветру песня дала почувствовать, что идёт война, что она надолго и что она тяжела и будет ещё тяжелее.

Потом рассказывал отдельные сюжетные ходы романа (весь будет листов в восемьдесят, в трёх частях). О Мулярчике и Софе (теперь уж читатели поймут, о ком он. — В. К.), о романтической любви, о подзуживании Булдакова (из лагерников, который может в голод свистнуть у немцев харч и жрать в окопе — ему что немец? он в лагере под проволоку с током мог пролезть и вологодского охранника — а это тебе не немец — мог обойти), чтобы Мулярчик переспал с Софой. И тот сделал это, к радости Булдакова, и потом погиб, а Софа осталась с сыном на Урале, а сын Феликс — пьяница и негодяй. Медсестра Нелька — из красавиц, лихих оторв, которых и солдаты боятся (может на переправе у Дона сорвать бинт с головы красавца и, увидев, что голова его цела, крикнуть ребятам: «Расстреляйте его!» — и его тотчас разорвут). И когда она видит плывущего солдата, который тащит

за собой какие-то комки внутренностей, и кровь толчками туманит воду при взмахе его рук, а подплыл, вцепился зубами за лодку — и не отцепишь, Нелька сказала: «Ну, если этот выживет, будет мужик!»

Они встретились после войны, а потом он её из ревности пырнёт ножом и сядет. Когда же она приедет в лагерь — он глядит на мир уже мёртвой душой: «Не беспокойся, Нелька, баба у меня тут есть за зоной, хожу — всё как следует. Что тебя пырнул — дурак был, но уже у нас не будет ничего — всё умерло. Вот тут ещё заделаю одного охранника, послужу Родине — и прощай».

Она тоже не жилища. Едет на юг к подруге, а там полковник её части торгует клубникой, и она нарочно не доплачивает ему пятак, так он чуть ей горло не перегрызает.

«Не узнал, полковник? Мы же те твои солдаты». — «Мало ли что...» И тут она ему всем стаканом клубники — по морде. А потом гуляла в дым при закрытых дверях и покончила с собой.

Много будет горя, как его и было много.

Вечером хорошо говорилось обо всём. Ругал Бондарева за «Выбор»: мельчит, копеечничает, суетится, под всех лазит, а писать умеет без пижонства одну войну. И из Союза ему бы уйти.

А днём о Белове: злой, того жди укусит. У него мать тоже маленькая, поживёт, ленивая.

— Это что у тебя, Маня?

— Картошка.

— Тьфу на неё! Чтобы я... Что, тебе Витька картошки не купит?

С Васей часто ругается.

23 ИЮНЯ 1981

С утра ездили на Ману.

— Здесь была наша заимка. А тут поля. И ещё сохранился ключ. И лес на этой горе неизменен. Глаза закрою — всё как в детстве. Тут стоял барак с прогнувшейся, как у старой лошади, спиной. Тут снимали «Перевал», жарили опят, чуть прожарив, дристали все. Я уже наварил им черёмуховой коры и перед началом съестного дня заставил выпить по кружке.

Вдоль Маны, как вдоль Усьвы в Чусовом, — сплав, быстрый бег реки, огромные скалы. Лез наверх по прямой, рискуя сломать себе шею, зато снял вид в обе стороны: и на Савельево, где снимали, и на Ману. Обрато — вдоль Енисея пешком через Усть-Ману.

Красиво, но как-то будто позабыто, словно всё тут ненадолго... Вечером увидел у него томик Такубуку. И чуть не засмеялся, прочитав ему:

Поля продают,
Дома продают,
Пьют вино беспробудно...
Так гибнут люди в деревне моей.
Что ж сердце тянется к ним?

— Во, б..., как про Овсянку и про меня, про моё сочинительство.

Не знаю, как своротили на «Пастуха и пастушку».

— Я мало там объяснил, когда рассказывал, как написал черновик в Быковке «Пастуха и пастушки», без сна, за сутки. Тут бы Фрейд больше рассказал о всех комплексах, которыми я был награждён. Любви я тогда (до войны) не знал — раз в кино сходил да раз с девкой посидел, и она сказала, что даже замужем была, но я тогда не понял, к чему это она. В войну вот переписывался с Шуркой, теперь на Мане её мужик палкой гоняет. А в детстве всё ходил по лесам и мечтал о принцессах...

— Теперь уже не смогу тянуть «Поклон», хотя и мог бы ещё кое-что туда насовать. Выдохся. Теперь надо писать о войне. Тут черта невольничья: пришёл срок — давай! И уж ничего другого не смогу.

Яростная беседа о христианстве — озлобленная, на внутреннем огне, сердит за Гоголя на отца Матвея, на какого-то Антонова, который и В. П. пытался православием искушить. Но, как всегда, когда «христианство» — злость, зажатость.

Вечером приехал Сергей Задереев и завёл нетерпеливый разговор о собеседнике Толстого Тимофее Бондареве, о котором пишет. Даже и фотографию захватил, с которой глядит совершенный Фёдоров, собиравшийся воскресить человечество. Последние годы Тимофей готовился к смерти: поставил на месте будущей могилы стол с ящиком для рукописей, обнёс могилу забором из листовенницы, чтобы подольше стояла. На плите из песчаника выгравировал своё учение о спасении крестьянским трудом и гневно укорил сограждан: «О люди, бесчеловечное племя», — с припиской губернатору-гонителю, что и он пусть не мнит себя властителем мысли, потому что тоже станет прахом, как последний бедняк. А уж тотчас после смерти мужики рукописи по ветру пустили, стол в распыл, плиты под коровник пустили. Теперь на могиле страшная свалка. Хорошо хоть деревня из Иудина, как он её называл, потому что принял иудаизм с именем Давид, стала теперь Бондаревом.

Вечером — у скульптора Зеленова с актёрами «Современника». Валентин Никулин с крупными, литыми, лошадиными крепкими зубами, посеянными как попало, улыбается, щурит глаза, закатывает, закрывает их, туманится.

— Мы же люди без кожи, и нам так приятно, что вокруг нас добрые люди, — и, прищёлкивая пальцами, улыбаясь обворожительно, туманясь, наклоняется ко всем: — Ну, вы меня понимаете?

И о пьяницах: вместо нашего «в стельку» предпочитает «вошёл в рондо» или «не вошёл». Так, покойный Олег Даль в Киеве у принимавшего его художника выпил, «не вошёл», но, прощаясь утром, на «пока» художника спятился обратно и сказал: «Что значит „пока“? Так не прощаются», — наклонился и поцеловал его. И остался. А потом,

уже в полвторого, его дверь взломали, хотя не отзывался он с десяти, и ему били в дверь и колотили в стену, а вскрыли — вместо дыхания был уже хрип, кругом разные лекарства из очень сильных, умер от сердечной недостаточности, которая вызвала отёк лёгких, а это необратимо.

— И как они все уходят, как мы все уходим — Вова вот Высоцкий, Лёша Эйбоженко, на место которого ввели в Малом Даля, и он вздрогнул, теперь вот сам Олег.

(О Табакове — Лёлик, о Кваше — Квашенок: «У него комплекс — какой голос, сколько регистров, а рост никакой, и у него на роду написаны характерные роли, а он норовит в герои и везде промахивается».)

Потом кто-то попросил Романа Солнцева прочитать стихи: «Нет любви, нет любви, нет», — и тот уклонился, а Никулин:

— Как это нет? Ну, милые, при дамах. А как без неё мог Николоз Бараташвили написать вот это в переводе Борис Леонидыча (как будто Николоз так и писал сразу «в переводе Борис Леонидыча» — блеснуть так блеснуть)?

Цвет небесный, синий цвет
Полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал
Синеву иных начал.

И теперь, когда достиг
Я вершины дней своих,
В жертву остальным цветам
Голубого не отдам...

— Необъяснимо, необъяснимо!

Прочитал рельефно, эффектно, почти скульптурно. И тут же «Юру» Левитанского и «Дезика раннего» — «идёт, не умолкая, память-дождь»:

— Я обычно читаю это в выступлениях, когда вспоминаю умерших Вову, Олега, Алёшу, и вот хочу спросить у В. П.: как это на этику и слух?

В. П. слушал вполуха и отчего-то вдруг зло отрезал:

— «Я помню чудное мгновенье!» А сам в кусты валит — вот и вся любовь...

Тут уж я не утерпел:

— А как же «Пастушка»?

— Ну, это так, выдумка, — и зло поглядел на меня.

Не пускает в своё. И разговоров «об этом» застольных не любит, сразу норовит «вниз» утащить и переменить тему. Слишком другим живёт — корневым, плотным, земным, так что половину «поэтических» тем считает баловством.

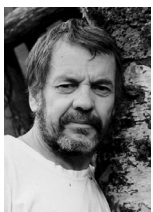
Тут и оборву. Хотя был ещё день, но он уже был полон беготнёй и прощанием. Не буду ничего достраивать. Скажу только, что это ранившее меня о «Пастушке»: «А-а, это выдумка...» — потом вспомнится, когда я увижу эту повесть в его сборнике «Плач о несбывшейся любви». И какой новой болью повернутся и «Звездопад», и «Пастушка», и «Ясным ли днём» — вот и любовь там «проклята и убита». И только милостью художника, его исповедной тоской и воображением её можно вернуть оставшимся там мальчикам и солдатам, вернуть им свет, отнятый тьмой войны...

Авторы



Антипин Андрей Александрович

Родился 19 августа 1984 года в селе Подымахино Усть-Кутского района Иркутской области. Окончил факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Прозаик. Повести и рассказы публиковались в альманахе «Сибирь», в журналах «Наш современник», «Москва», «Юность», в сетевом журнале «МолОКО», в коллективных сборниках. Автор книг «Капли марта» (Иркутск, 2012) и «Житейная история» (Иркутск, 2013). Член Союза писателей России. Живёт на Верхней Лене, в посёлке Казарки Усть-Кутского района Иркутской области.



Байбородин Анатолий Григорьевич

Родился в 1950 году в забайкальском селе Сосново-Озёрск, где и окончил среднюю школу. По окончании Иркутского государственного университета (филологический факультет) работал журналистом в сельских и областных газетах Восточной Сибири. Ныне — исполнительный редактор альманаха «Иркутский Кремль». Романы, повести, рассказы, художественно-публицистические и научно-популярные очерки печатались в московских и губернских журналах, коллективных сборниках, за рубежом, издавались отдельными книгами в Москве и Иркутске. Лауреат Большой литературной премии России (2007), областных премий — имени святителя Иннокентия Иркутского (1997), губернатора Иркутской области (2002).



Вдовин Николай Геннадьевич

Поэт, драматург. Родился в 1971 году в городе Темиртау (Казахстан). Несколько лет жил в Санкт-Петербурге, где учился в кораблестроительном институте. С 1994 года живёт на юге Красноярского края, в селе Качулька Каратузского района. Автор одного поэтического сборника. Публиковался в небольших газетах, журнале «Ното legend» (Москва), «День и ночь» (Красноярск). Лауреат премии Фонда имени В. П. Астафьева по итогам 2012 года.



ГОРОБЕЦ АНАСТАСИЯ

Родилась 11 февраля 2000 года. За отличное окончание девятого класса получила аттестат об основном общем образовании специального образца. Изучает японский и английский

языки, астрономию, участвует в олимпиадах по различным предметам, пишет рассказы. Живёт в Красноярске.



ГУЛЯЕВА ОЛЬГА

Родилась в 1972 году в городе Енисейске. Окончила психологический факультет Красноярского педагогического университета. В 2010 году заняла второе место в краевом литературном конкурсе «Король поэтов», по итогам конкурса издана книга стихов «Бабья песня». В 2013 году победила в поэтическом конкурсе «Канский лёд». Дипломант в номинации «Поэзия» премии имени И. Д. Рождественского (2013). Стихи публиковались в журнале «День и ночь», коллективных литературных сборниках.



ЗУЕВА ЕВГЕНИЯ

Родилась и живёт в Красноярске. Педагог, культуролог, журналист, путешественник. Прозу и стихи пишет с раннего детства, пробует себя в драматургии. Дипломант краевого литературного конкурса 2013 года на соискание премии имени Игнатия Рождественского в номинации «Малая проза». Готовит к изданию поэтический сборник.



ИОНИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

Родилась 22 марта 1979 года. Лауреат конкурсов «Золотое перо Руси» (2014), «Златая цепь» (2015). Участница фестиваля «Молодые писатели вокруг ДЕТГИЗа» (2015). Один из организаторов семинара «Детские писатели на берегах Енисея» (2016). Лауреат регионального конкурса имени Игнатия Рождественского (2017) за лучшее произведение для детей. Публиковалась в журнале «Чиж и Ёж», газете «Детский район», сборниках «Как хорошо-7», «Город моего детства», «Нужна летающая рыба» и других. Педагог, репетитор. Замужем, воспитывает двоих детей.



КАРАПЕТЬЯН РУСТАМ АНАТОЛЬЕВИЧ

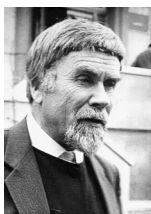
Родился в 1972 году в Красноярске. Работает программистом. Лауреат премий имени В. П. Астафьева, А. И. Куприна. Публикации в журналах «День и ночь», «Енисей», «Паровозъ», «Мурзилка», «Простоквашино», «Костёр», в различных российских и международных антологиях и сборниках. Автор двух книг лирики и семи книг для детей. Член Союза российских писателей.



КОСТРОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился в 1953 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский горный институт. Работал поверителем радиоэлектронной аппаратуры, грузчиком, почтальоном, рабочим сцены, журналистом... Основная профессия — геолог. С 2006 года работает в АО «Таймыргаз». Пишет стихи, песни, прозу. Печатался в коллективных сборниках Норильска и Санкт-Петербурга.

В 2012-м выпустил сборник «Точка росы. Отчёт о проделанной работе» в трёх книжках. Записал два аудиоальбома. Живёт в Норильске.



КУРБАТОВ ВАЛЕНТИН ЯКОВЛЕВИЧ

Родился в 1939 году в семье путевых рабочих. В начале войны отец был призван в трудовую армию на Урал, а мать, оставшись одна, стала путевым обходчиком на железной дороге. После войны семья переезжает в город Чусовой. По окончании школы в 1957 году Курбатов работает столяром на производственном комбинате. В 1959 году призван на Северный флот, где служит радиотелеграфистом, типографским наборщиком, библиотекарем корабельной библиотеки. В 1962 году приезжает в Псков, где живёт поныне. Работал корректором, литературным сотрудником газет. В 1972 году с отличием окончил факультет киноведения ВГИКа. С этого времени начинает писать рецензии и статьи, вести литературную деятельность и участвовать в литературных мероприятиях. В 1978 году принят в Союз писателей. Академик Академии российской словесности (с 1997 года). Секретарь Союза писателей России (1994–1999), член правления Союза писателей России (с 1999 года). Член редколлегии журналов «Литературная учёба», «День и ночь», «Русская провинция», «Роман-газета», редсовета журнала «Роман-газета XXI век», общественного совета журнала «Москва». Входил в жюри премии имени Аполлона Григорьева, большое жюри премии «Национальный бестселлер» (2001, 2002). Член жюри премии «Ясная Поляна».



ЛЫСЕНКО ДАРЬЯ

Родилась 9 сентября 1988 года в городе Абаза Республики Хакасия. С золотой медалью окончила школу, с красным дипломом — институт филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета. Работает в природоохранной сфере. Победительница межрегионального литературного конкурса на соискание премии имени Игнатия Рождественского в номинации «Поэтическая библиотека „Времени“» (2015). Дипломантка II международного литературного конкурса «Верлибр» (2015). Финалистка международного литературного фестиваля «Славянская лира» (2015). Публиковалась в ряде периодических изданий, журнале «Сельская новь», альманахе «Часовенка». Издано пять авторских поэтических сборников: «Дарья-птица» (2001), «Из-под ресниц твоих» (2002), «Две меня» (2006), «Графика тени и плоти» (2008), «В никуда» (2015). В 2008 году вышла первая книга прозы «Поймай мою душу».



МАЛИНОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА

В 2016 году окончила аспирантуру КГПУ имени В. П. Астафьева по филологическому направлению, получив статус преподавателя-исследователя. Лауреат премии главы города

Красноярска в номинации «Культура». Лауреат краевого литературного конкурса имени Игнатия Рождественского в номинации «Поэзия». В 2015 году стала полуфиналистом конкурса «Русские рифмы» (Москва) и вошла в двадцатку лучших молодых поэтов. Её стихи, посвящённые Сибири и родному городу, вошли в сборник «Русские рифмы. Родные города». Финалист конкурса «Король поэтов-2016». Постоянный участник городских литературных фестивалей, встреч, вечеров, семинаров, член жюри детских и молодёжных поэтических конкурсов.



МАМАЕВА АЛЬБИНА РОМАНОВНА

Родилась на Ангаре, в деревне Дворец Кежемского района Красноярского края. Долгое время работала в Туруханске. Живёт в Красноярске.



НОВОСЕЛЬЦЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Член нескольких творческих союзов: Союза писателей России, Союза писателей Сербии, Союза архитекторов России. Советник Российской академии архитектуры и строительных наук. Автор научных и научно-популярных книг и статей по истории и архитектуре Елецкого края, литературоведческих работ. По его проектам построены и отреставрированы храмы, жилые и общественные здания. Живёт в Ельце и деревне Польское, рядом с бунинскими Озёрками. Пишет прозу, в которой преобладает тема родной земли, уходящей русской деревни и её жителей. Первая же книга прозы «Пал» была отмечена высшей литературной наградой Союза писателей России за 2006 год — Большой литературной премией России. Успехи в области литературы отмечены также Всероссийской премией «Имперская культура», Шукшинской и Бунинской премиями, Патриаршей грамотой.



ОВЧАРЕНКО ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ

Поэт, бард. Родился в 1973 году в Красноярске. Учился в Красноярском государственном университете. С 1993 года работал журналистом в газетах Красноярска «Свой голос», «Городские новости», «Евразия», «Красноярский комсомолец», «Сибирская газета», «Новые времена», «Новый гудок», «Вечерний Красноярск». В настоящее время работает на телевидении. В 2012 году занял второе место в краевом поэтическом конкурсе «Король поэтов», по итогам конкурса издана книга «Бог на крыше». В этом же году стал лауреатом краевого поэтического конкурса на соискание премии имени И. Рождественского.



СМИРНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в Норильске в 1953 году. Семья деда репрессирована в 1930 году, жила в Казачинске, Тасеево, Стрелке, Галанино. Родители — ветераны Норильского ГМК. После норильской школы окончил МГУ имени М.В. Ломоносова (географический факультет), работал в университете, почти во всех крупных горных системах СССР от Средней Азии до Чукотки,

в морской геологии на Арктическом побережье и шельфе от Лены до Колымы и Чаунской губы, на островах Медвежьих и Новая Сибирь. Был грузчиком, костоловом, водителем, связистом, строителем, плотничал. Жил и работал в Игарке. Несколько лет назад вернулся в Норильск, где живёт и по сей день, работает в «Норильскгеологии». Прозу и стихи начал писать в 1980-х, публиковаться — в 2000-х в чукотских и норильских газетах и литературных альманахах, в красноярском журнале «День и ночь».



ТЮРИН ВЯЧЕСЛАВ ИГОРЕВИЧ (1967–2017)

Поэт. Родился в Якутии, жил и учился в Красноярске и посёлке Лесогорск Иркутской области. Обладатель Гран-при литературного конкурса «Илья-Премия» (2001). Автор двух поэтических сборников. Учился в пединституте и на ВЛК при Литературном институте имени А. М. Горького, но из-за болезни не закончил их. Печатался в журналах «Знамя», «Сибирские огни», «День и ночь», в различных газетах и альманахах.



ШУРЫГИНА МАРИЯ

Родилась и живёт в Красноярске. Окончила факультет русского языка и литературы Красноярского педагогического университета имени В. П. Астафьева. Работала редактором на радиостанциях, в рекламе, в настоящее время работа связана с развитием северных и арктических территорий края. Рассказы публиковались в журналах «Октябрь», «День и ночь», «Новый свет» (Торонто, Канада), сборниках издательства АСТ.



ЯНЖУЛА АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

Родился в 1947 году в Красноярске, в рабочей семье. Окончил железнодорожный техникум. Начал писать во время службы на Тихоокеанском флоте, будучи внештатным корреспондентом газеты «Боевая вахта». С 1995-го — постоянный автор журнала «День и ночь»: повести, рассказы о жизни и судьбах простых людей рабочих окраин. Иногда обращается к теме войны. В альманахе «Енисей» напечатана повесть «Миг войны» о лётчиках дальней авиации. Отдельными книжками вышли повесть «Дядька Фёдор», сборник рассказов «Обстоятельства жизни». В 1999 году принят в Союз писателей России. Один из авторов «Истории России в семейных преданиях», издаваемой в Красноярском филиале Центра национальной славы. Работает учителем в Красноярской средней школе.

В №1 2016 вместо фотографии *Ольги Николаевны Домрачевой* (Большеречье, Омская область) была напечатана фотография *Инны Борисовны Домрачевой* (Екатеринбург). Приносим извинения за ошибку.

Сказание о Красноярском крае

Чуть более года назад инициативная группа красноярцев, почитающих творчество талантливого сибирского писателя Алексея Черкасова, решила организовать конкурс «Моя родина — Сибирь» для учащихся детских художественных школ и школ искусств Красноярского края. Координатором проекта стал краевой научно-учебный центр кадров культуры. Участникам был предложен широкий выбор тем: художественные образы, созданные сибирским писателем А. Т. Черкасовым; сибирская литература, музыка, танцы; красота сибирской природы; сибиряки — мои современники, мои предки, история Сибири; духовные ценности сибиряков. В конкурсе приняли участие дети из разных городов и посёлков Красноярского края от девяти до семнадцати лет, всего более сорока юных художников. Победители конкурса живут в Большой Мурте, Назарове, Шарыпове, Иланском и других городах и районах края.

Экспертами конкурса, а впоследствии его руководителями стали искусствоведы, литераторы и авторы проекта — сотрудники Фонда общественного развития.

Александр Паценко, председатель Фонда, сказал:

— Особенно приятно, что юные художники прониклись духом произведений Алексея Черкасова, наполненных любовью к родной земле и людям, ведь все авторы работ родились в то время, когда изменился взгляд на исторические события, описанные Черкасовым, да и многие места событий давно исчезли с карты Красноярского края.

Работы нашли отклик и у специалистов, и у почитателей творчества писателя. С декабря 2016-го по февраль 2017 года лучшие работы экспонировались на передвижной выставке «Сказания о людях тайги», которая размещалась в Доме искусств, Доме учёных и МВДЦ «Сибирь». На сайте Фонда общественного развития была размещена виртуальная экскурсия.

Ряд работ выбран для публикации в проекте «Народная книга» (повести писателя Алексея Черкасова), над которым сейчас активно работает инициативная группа. 2 июня 2017 года исполняется 102 года со дня рождения Алексея Черкасова.



Софья Отставнова (14 лет) | *Гроза над Тубой* | Новосёлковская детская школа искусств



Анастасия Позднякова (9 лет) | *Рыболовы* | Иланская детская школа искусств



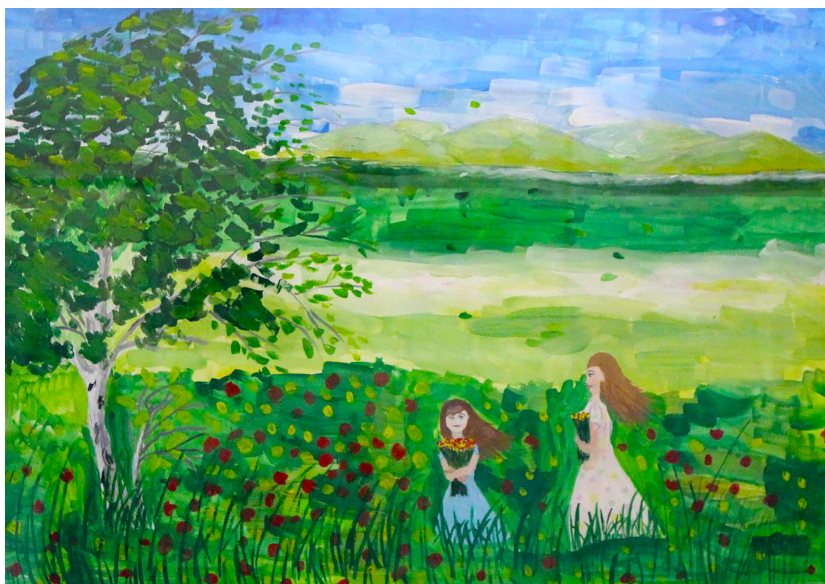
Андрей Семилетов (11 лет) | *Зимние приключения*
Детская художественная школа | Назарово



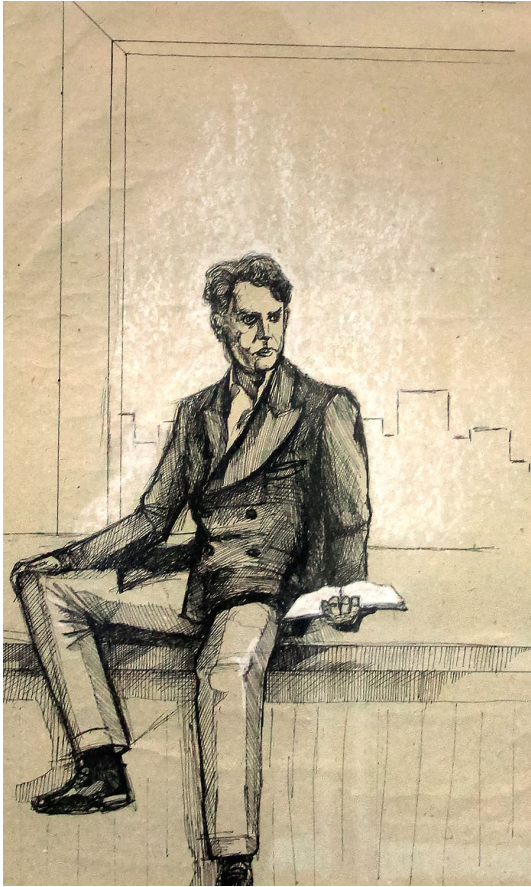
Мария Аева (11 лет) | *Зимний вечер* | Детская художественная школа | Назарово



Анастасия Шерстнева (12 лет) | *В ночь на Ивана Купалу*



Арина Русанова (12 лет) | *Летний ветерок* | Детская школа искусств | Шарыпово



Бегишев Руслан (17 лет)
Черкасов — студент
Детская школа искусств
Шарыпово



Лина Арнгольд | Сплавщики ужинают | Новосёловская детская школа искусств

